

СИБИРСКИЕ ОГНИ



**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

М.Н. АКимова (зав. отд. публицистики)

Н.М. АХПАШЕВА

Б.Л. АЮШЕЕВ

А.Г. БАЙБОРОДИН

Ц.-Х. БАЛДОРЖИЕВ

Б.Я. БЕДЮРОВ

В.А. БЕРЯЗЕВ

Б.В. БУРМИСТРОВ

В.В. ДВОРЦОВ

Б.С. ДУГАРОВ

А.И. ИВАНТЕР

В.Н. КАЗАКОВ

А.В. КИРИЛИН

Н.В. КОРНИЕНКО (член-корр. РАН)

В.Н. КОСТИН

М.В. КУДИМОВА

С.Г. МИХАЙЛОВ (зав. отд. поэзии)

А.М. РОДИОНОВ

Э.И. РУСАКОВ

В.Н. СЕРОКЛИНОВ (зав. отд. прозы)

В.И. ТИТОВ (отв. секретарь)

М.А. ЧВАНОВ

Т.Г. ЧЕТВЕРИКОВА

В.Н. ЯРАНЦЕВ (зав. отд. критики)

Главный редактор: В.А. БЕРЯЗЕВ

12 декабрь 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Елена СТЯЖКИНА. Два рассказа. Рассказы.	3
Виктор МЕДВЕДЕВ. Шомша — это по-нашему! Репортерские байки.	84
Дмитрий СИВКОВ. Два рассказа. Рассказы.	129

ПОЭЗИЯ

Василий КОСТРОМИН. Птичье утро. Стихи.	33
Владимир БЕРЯЗЕВ. Пепел над океаном. Стихи.	79
Лета ЮГАЙ. Ходит по небу пастух. Стихи.	125
Станислав МИХАЙЛОВ. «Он любовался их беспечной жизнью...» Стихи.	137

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Александр ЛЕЙФЕР. «Грибной суп» и другие новеллы.	144
Израэль ШАМИР. Повесть о принце Иошицунэ.	153
Елена ИГНАТОВА. «Духовка».	164
Николай БЕРЕЗОВСКИЙ. В Болгарии русский солдат.	168

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Владимир БОНДАРЕНКО. Подробности иного бытия.	174
Владимир ЯРАНЦЕВ. Всегда на «посту». К юбилею Александра Лейфера.	171

ЛИТЕРАТУРА НОВОСИБИРСКА

Евгений ВИШНЕВСКИЙ. Таймырский Робинзон. Главы из повести.	38
-------------------------------------------------------------------------	----

Книжная полка

Владимир ЯРАНЦЕВ. Не бояться быть большим.	181
---------------------------------------------------------	-----

<i>Коротко о книгах</i>	185
-------------------------------	-----

<i>Содержание журнала за 2013 год</i>	187
---------------------------------------------	-----

<i>Авторы номера</i>	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Главный редактор, руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни»» В.А. Берязев.

ДВА РАССКАЗА

ОДЕЯЛО

Считалось, что Свиридова его схарчила. Нет, в их кругу, который сами они стеснялись называть богемным, но видели и признавали именно таким, слово «схарчила» считалось неприличным, непроизносимым. Слово считалось таким же чужеродным, какой была Свиридова. Но именно поэтому для нее это *схарчила* использовали. С наслаждением. Говорили и за спиной, и в глаза.

Свиридова, погубившая поэта, была темой номер один. В те настолько далекие времена, что поверить в них теперь трудно, сюжеты чужих жизней обсуждались за щедро и не очень накрытыми столами, в дружеских компаниях, в долгих телефонных разговорах. Для людей попроще — на месткомках и партийных собраниях.

Но *эти* не позволяли себе быть простыми настолько.

Новости из чужой жизни не были трехминутным и тут же забытым сюжетом. Это была долго раскрывающаяся всеми оттенками пряность, как и сладость еще... И вино кьянти, и маслина в сухом мартини. Это был немножко Хемингуэй, немного Рембо и ярко-желтое кресло Ван Гога, которое они видели только на репродукциях. Но все же...

Чужая жизнь, особенно разрушенная или готовая к горькому, но томному разлону, была сродни чему-то невиданному, придуманному. Наверное, западному — тому, уже давно прошедшему, неиспробованному, но точно срифмованному, прописанному и сыгранному. Однако и наступившему, сытному западному, заманчиво изобильному и уже открыто эротичному — она была сродни тоже.

Придуманное «здесь и сейчас» настоящее, свое — пусть даже, как в дурной пьесе, с плохими актерами и известным сюжетом, представлялось чуточку чужим и запретным, потому ощущалось не подлым любопытством, а вдохновением, которое больше неоткуда было черпать

Жизнь без сериалов требовала длинной истории, в которую можно окунуться с головой, занимая место в партере темных коммунальных квартир, в мастерских полупризнанных художников, на кухнях или в самом сердце событий.

Свиридова сердца своего не давала. А ее муж соглашался. Он любил чужие сердца, тела, глаза. Он любил все, что временно назначал живым и для себя важным.

Муж Свиридовой был хорошим поэтом.

Не строчки, не слова, не образы... Нет. В том, что он писал, была грубость, доведенная до самой последней точки, где зло само превращается в нежность. А нежность — в такое острое обладание, после которого только и решаются прийти на свет дети.



Он не умничал, не подражал и никогда не «взвивал кострами синие ночи». Он писал так, как будто до него и после него никого не было и не будет. И рядом, конечно, тоже. В том веке он был, наверное, великим. И остался таким. Просто теперь это уже мало кому можно объяснить. Разве что потомкам, которые в свое новое Возрождение откроют его как Гомера или Пиндара.

А вот Свиридова...

О ней почему-то никому не хотелось думать. Ее история до поэта была темной — говорили, что семейно-ссылной, уральской. Где-то там, вне пределов цивилизации и приличных столичных людей, осели ее родители. И сил, чтобы вернуться и снова стать теми, кем они были здесь, в Москве, почему-то не осталось. Они вросли в предложенные обстоятельства, замерли, а может, просто завязли в них. Было неинтересно и непонятно, зачем приехала она.

Всегда и почти всех раздражал ее высокий рост и прямая спина. Если бы она еще была балериной или актрисой, или кем-то, кого можно было принять за свою... Но Свиридова работала в фотоателье и зачем-то заочно училась в историко-архивном институте.

Она хорошо готовила, мягко принимала гостей, тихо и вовремя выводила их, чувствуя, что у мужа начинается его жар. Не ад, а тихий еще огонь, в котором ангел-хранитель обнимает руками его напряженное, уходящее ото всех лицо, разглаживает морщины, вытирает пот и шепчет слова, которые нужно записать, потому что без этих слов муж Свиридовой совсем не мог жить.

Бесы приходили к нему тоже. Запойные, бабские, с дешевым вином, истериками и слабым его, мужа, желудком, который выворачивало наизнанку еще до всего. Часто на чужие чулки, снятые с непригодившихся ног. Ноги эти Свиридова терпела молча, а чулки выбрасывала. Хорошие чулки в те времена было куда труднее достать, чем ноги.

Никому не было интересно, зачем ему, поэту, Свиридова. Хотя в бытовой плоскости необходимость в ней признавалась.

Всем женщинам их круга мужа Свиридовой хотелось любить. Моглось тоже.

Он не был гигантом. И это обсуждалось — среди жен, мужей, друзей — как высшая божественная справедливость. Где-то у него должно было не очень получаться. Но он был щедрым, вдохновенным, глядящим на *голость* (и он ни за что не назвал бы ее *обнаженностью*), как Микеланджело на мрамор. Вдохновенному и часто пустому соитию он потом вытачивал бедра, прорисовывал артерии, линию шеи и рук, добавляя еще улицу, солнце или дождь, чтобы красота сделанного им могла быть живой.

Со Свиридовой муж был немногословен, но всегда честен. Из того сказанного, что она смогла потом носить в своем сердце, улыбаясь, было: «Убирай волосы назад. Твое лицо нуждается только в том, чтобы оно было», «Я знаю, что у нас будет дочь...» и «Ты — есть. Других нет».

Они почти не разговаривали — не потому, что *тошнили* друг от друга, а потому, что все было ясно и так. Это называлось словом *проросли*, но и оно считалось в их кругу таким же стыдным, пролетарским, как выплевываемое потом ей в спину *схарчила*.

Обещанная дочь родилась довольно поздно. Она сама пробилась к ним, предохранявшимся то усердно, а то безалаберно. Предохранявшимся не так от обещанной дочери, как от явственно надвигающейся бедности и перемен, которые ощущались как пустота. Подступало другое время — без слуха на слова и книги, но еще с какой-то музыкой, в которую можно было вписаться автором песни. Муж Свиридовой вписывался как мог. Но водки было больше, чем сил на то, чтобы стать продюсером или поэтом-песенником.

Если бы не Маруся... Если бы не Маруся, он тогда растворился бы в своей «менделеевке» совсем. Но с ней задышал, записал. С ней, с Марусей, нежность, не доставшаяся никому, кроме его стихов, оказалась похожей на игру, в которой Мару-



ся была сразу объявлена победительницей, королевишной и мечтой, ради которой отступали бесы. Ну... или почти отступали.

Ночами он вставал и слушал, как Маруся дышит. И его новые стихи писались на гладильной доске, к которой он пристрастился так же, как к пеленкам, молочным смесям, клизмам и стыдным, плохо, как ему казалось, написанным сорокам-воровкам, кашу варившим, и сереньким волчкам, кусающим за бочок. Он говорил Свиридовой, что в этом — народном, пустом, неэстетичном и грубо слепленном — есть сила земли. Или какая-то другая сила, уже нашептанная и тем укрепленная для всякой детской защиты.

Он был язычник. Или, может быть, просто не хотел говорить о боге. В любой компании разговоры эти пресекал сурово и грубо. Обижался даже на попытки втянуть его в споры об этом. Однажды послал издателя, нашедшего ему переводчика, английского, крупного и очень заинтересованного в том, чтобы стихи его вышли там. Там гарантировалось многое. Не просто гонорар, но поездки, может быть, лекции. Уходящее советское и приходящее русское вошло тогда в быструю, но кто знал, что настолько быструю, моду... Однако — послал. И от всего отказался.

У него тогда была Маруся, сорока-воровка и вдохновение, которое делало его таким красивым, что Свиридова не узнавала мужа совсем. Впрочем, с ее странностями, молчанием, профессией в каком-то занюханном фотоателье, где имел значение только размер фото на паспорт для челночного бега на базары Восточной Европы, в который азартно вступила страна... С этим всем ее неузнавание красоты никого не удивляло и не интересовало.

Свиридова стала тогда кормилицей. Добытчицей. Сделалась пионеркой кооперативного движения, с чьей-то подсказки зарегистрировала что-то, чему до того не знала названия. Какое-то общество с ответственностью или предприятие с лицензией.

Тогда, среди своих-наших, она уже точно считалась виноватой: навесила Марусю, пеленки, заставила разменять *дар* на рифмованные строчки про любовь, которые вписывались композиторами в бездарную музыку и бесконечно крутились по радио, унижая его, поэта. Уничтожая, если точно.

Всем сочувствующим и всем, кто знал и любил его — пил, спал, подносил снаряды, среди которых, кроме водки и презервативов, были теперь и молочные смеси — было видно, что он может кончиться. Что уже кончается. И что любая капля *неожидания* от него того чуда, которое было всегда легким... или момент растворения того, что даже нельзя было назвать шедевром, потому что шедевр — это случайность для простых... В общем, всем было очевидно, что если растворение и неожиданное наступят вместе, в один момент — он умрет. Сразу.

Свиридову предупреждали. Просили. Требовали уговориться, уйти со своей Марусей, освободить его. Впустить музу. Лучше нескольких. На нее кричали и топали ногами, увещевали, просили по-хорошему. И по-плохому тоже, предъявляя уже не чулки, а колготки, отсутствие свидетельства о браке (их браке), следы помады и даже фотографии

Но ответов от нее не ждали. А если бы спросили, то она, наверное, сказала бы, что не боится смерти. Ни его, ни своей. Потому что после смерти остается душа. И Свиридова всегда знала, что ее душа, оказавшись там, куда все так страшится попасть, будет всегда с ним. Даже если ей самой придется ради этого гореть в аду.

* * *

Гореть в аду пришлось раньше, чем думалось. В Новый год, когда Маруся ждала подарков и Деда Мороза, а Свиридова — гостей, и иностранных тоже, потому что ценители там, за бугром, еще были, да и ценить было еще что, — она вдруг увидела... Нет, не привычное возбуждение от красотки-телеведущей, которая уже полгода была лучшим другом их семьи. Она увидела, что муж посмотрел на нее безразлично. Не устало, как это бывало с ним раньше, и не с отвращением, чего не



было никогда. Он посмотрел на нее брезгливо. Так, как будто выбирал книгу и случайно наткнулся на дамский роман в яркой мягкой обложке. Он посмотрел на нее и даже слегка поморщился.

Она подумала, что до утра время еще есть. И что это просто желудок, не справившийся ни с бесом, ни со словом, которое тот, хвостатый, хитро отобрал в самую уже возможность появления на свет.

Но времени не было.

Муж сказал:

— Прости, Маруська, если сможешь. Но ты вырастешь и поймешь. У меня любовь. И я ждал ее всю жизнь. Мне сорок четыре года, Маруська. И мне она нужна. Нужнее всего на свете. Вам надо уйти...

— И Дед Мороз не принесет мне подарки? — спросила Маруська.

— Нет. Ты же знаешь, я никогда тебе не врул. Не вру и теперь.

Любовь, которую муж ждал всю жизнь, оказалась не телеведущей. Так что Свиридова грешила на нее напрасно. Она была литературным агентом, но рассмотреть ее Свиридова не успела.

Маруська закашлялась. И уже было видно, что сейчас может зайтись слезами. А значит, превратить его праздник, его остро желанное и заслуженное, наверное, обретение в чудовищную пошлость. Пошлость муж ненавидел больше всего.

На улице Маруська спросила:

— Может быть, я вернусь и поцелую его в коленку? Или в пятку... И он разрешит мне остаться...

Мне. Не нам.

Свиридова не стала спрашивать: «А как же я?» — потому что ее план в этом коленно-разрешенном случае читался легко и очевидно — не быть, не мешать, уйти тихо и интеллигентно, чтобы без нее, после нее, ни у кого не осталось чувства вины.

Поэтому Свиридова завязала Маруське шарф, поймала частника и поехала в аэропорт. Спросила у Маруськи:

— К бабе с дедом хочешь?

— А-а! — обрадовалась та. — Дед Мороз решил меня встречать там? Сюрприз, да?..

В везении Свиридовой того дня был самолет и легкий Маруський характер. И билеты были тоже. Дорогие. Поэтому никто еще особо не летал. Только те, у кого были деньги. У нее были.

Родители хотели спросить у Свиридовой, что случилось. Но в ее возможном ответе была только избитость и презируемая мужем книжность. Ей хотелось сказать маме: «Я совсем не могу дышать». Ей хотелось убежать, уехать в поле, в снежное, чистое или грязное — не суть. Просто в поле, где можно кричать бабьим, не стыдным здесь криком. Ей хотелось, чтобы там, на бело-сером уральском снегу, наступили бы ночь и тишина. И не кончились бы никогда.

Но это было нельзя. Ни для жены поэта, ни для дочери родителей, которые смогли вытерпеть значительно большее, родив ее совсем не для того, чтобы пережить. Это было невозможно и для самой Свиридовой, которая почти не умела говорить о себе.

Она сослалась на каникулы для Маруськи, острое желание их всех повидать и срочный заказ на большую выставку фотографий, который требует ее немедленно отъезда. Вернулась в Москву второго.

Ни комнаты, ни квартиры, ни прописки у нее не было. Зато в фотоателье стояла раскладушка. Еще там были яблоки — бутафорские и настоящие, магнитофон, вода, эмалированная кружка и кипятильник. Там была даже изразцовая печь, которая случилась в этом доме до революции, но пригодились только Свиридовой. Для съемок, которые она иногда делала для себя.

* * *

Ей совсем не было любопытно, как он там, ее муж. Она только боялась, что, перепив от счастья вдохновенного, заслуженного и нового, он неправильно заснет и захлебнется рвотными массами. Утром третьего января она открыла дверь квартиры своим ключом, помыла посуду, убрала остатки еды, вытерла его лицо мокрым теплым полотенцем. Укрыла его, как укрывала всегда. Из *не всегда* было только то, что Свиридова поправила одеяло и ей, но разглядывать не стала. Зачем?..

Вечером пришла снова. Увидела горящие в квартире огни и немного посидела на скамейке.

Четвертого хотела прийти и помыть полы. Но сил хватило только на то, чтобы дать родителям телеграмму: «Заберу Маруську десятого», — и найти фломастер. Красный. Засохший. Свиридова слюнявила его и мочила в теплой воде. В надписи «Переучет» большим и понятным получилось только «Переу...». «...чет» остался неясным, как будто ожидающим своей пары в игре в кости.

Она легла на раскладушку, смотрела в потолок и слушала радио.

Теперь в этом радио жил ее муж. В тогда еще сдержанных, почти интеллигентных новостях рассказывали, что он уезжает, все-таки уезжает, чтобы дать миру вдохновение и что-то там еще дать. Его называли гордостью нации. Не вторым, не первым, а просто единственным. И Свиридова была с этим согласна.

Думала, была почти уверена, что перед отъездом он придет попрощаться. Если не с ней, то с Маруськой. А Маруськи не будет. И это тревожило и заранее делало ее виноватой. И она собиралась менять билеты, лететь за ней раньше. Но сил хватало только на то, чтобы ждать.

Улица, жившая посленовогодними заботами, узнавалась ею по шагам. Люди шли мимо. Те, что знали ее, Свиридову, и те, что знать не хотели. И это было правильно. Смысл всегда был в нем. Или не так — смысл был только в том, в ком он был на самом деле.

* * *

— Лена! — какой-то человек, смутно узнаваемый ею то ли как гость, то ли как читатель, клиент или, может быть, сосед, собутыльник или чей-то муж, стоял в дверях ее фотоателье.

— Лена! Ты как?

Свиридова удивилась. Она давно забыла, как ее зовут. И даже заполняя бумаги на оформление своего кооператива, всегда на несколько минут напрягалась, чтобы вспомнить собственное имя.

Обращение по имени заставило ее ответить. Хотя по всем старым правилам и статусам ей то ли удобно, то ли положено было молчать.

Она сказала:

— Мне холодно...

— Я сейчас вернусь, — сказал так и не узнанный человек. И Свиридова подумала, что с ней от напряженного ожидания случилась галлюцинация.

Но тот, уже записанный в воображаемые, а потому не неожиданные, вернулся с обогревателем и толстым полосатым матрасом.

Он сказал:

— Раздевайся.

И Свиридова разделась, сняв с себя все, что считалось верхним и нижним, и стыдным, что было невозможно показать другим. Хотя когда-то давно Ив Монтан показывал это миру. И мир смеялся, а страна, в которой ниже не имело значения, обиделась на него. Хотя раньше, до обнародованных трусов и рейтузов, очень любила. И его, и Симону Сеньоре. Однако с нижним своим страна ничего сделать не захотела. Не собиралась даже. Ей тогда помогала братская Польша, подарившая вол-





шебное слово «пеньюар», которое Свиридовой приглождалось еще меньше, чем стран
н е .
И слово, и сам пеньюар. Впрочем, какое это теперь имело значение...

— На каком боку ты любишь спать? — спросил он.

Свиридова промолчала. Она не знала. Она не знала, что она любит есть и на каком боку спать, что носить и куда ходить. Если бы в ее фотоателье был телефон, она бы позвонила мужу и спросила. И тот наверняка дал бы ей какой-то правильный и почти гениальный ответ.

— Лена, — сказал тот, безмянный, — ложись, пожалуйста, там видно будет...

Он разделся. Или правильно — он *тоже* разделся?..

У Свиридовой не было никакого чувства, которое должно было быть. Правильно о ней говорили: ни стыда, ни совести, ни интереса. Ни даже страха. В конце концов, он мог быть маньяком, вором, наркоманом, он мог быть даже киллером, которые тогда входили в моду.

Она легла на матрас. Сначала на спину. Но потолок, в который она так много смотрела в эти дни, от нее отвернулся. Левый бок получился самым удобным. Он, этот безмянный и голый, лег справа. Погладил по лицу. Повернул чуть-чуть к себе. Умудрился — и она подумала: «Гимнаст, что ли?» — обнять ее всю, ногами, руками, носом, подбородком. И этим...

Этому в их компании никогда не придумывалось названия. Муж считал, что есть слова, которые должны быть понятны без букв. Как формула воздуха. Важно дышать, а не знать, какие молекулы и валентности определяют эту возможность. *Это* должно быть как ветер, как горячий чай, как снег, который ты видишь в окно и можешь поймать рукой и попробовать на язык.

Но живот Свиридовой, живот, а не она сама, почувствовал, как в него упирается рычаг переключения передачи скоростей. Такая большущая автомобильная штука. Только теплая и живая. Отец в детстве возил ее в грузовике, разрешал рулить, показывал, как дают заднюю, как поворачивают ключ зажигания. Ей было лет пять или шесть. И рычаг этот, который она упорно называла ручкой, показался ей огромным. А потом отец уже не работал на грузовике. Он вдруг стал профессором их областного университета. И Свиридова помнила, что это праздновалось в их доме и называлось полной реабилитацией. И еще почему-то *правдой*.

Он, этот безмянный гость, которого Свиридова по-прежнему принимала за горячую мечту о том, что желание ее сбылось, или за привидение старого московского дома, за всю эту ночь сделал единственное движение, которое ее удивило. Он положил ее руку на эту самую пресловутую ручку. И больше ничего.

В этом удивлении ей стало тепло. И она заснула, не пытаясь сопротивляться чужому, но ведь не настоящему же, потому что такое не может быть настоящим, телу.

Утром надо было что-то сказать, но Свиридова молчала.

— Надо снять квартиру. С телефоном, — сказал он, еще не отпуская ее. Но и не приближая, не проникая в тело, которого у Свиридовой не было. Не было ни с кем, кроме мужа. — Надо выкупить мастерскую и подвал. Я найду тебе кредитора, которого убьют до того, как ты вернешь ему деньги. Твоя совесть будет чиста.

— Ты кто? — спросила Свиридова.

— Телегин.

Женщины того круга, где она обязана была слушать и учиться, сказали бы какую-нибудь изысканную, пикантную фразу. Фразу на грани фола, чтобы доля интимности не опустилась ниже пупка, но только обозначила возможность этого сладкого и медленного движения вниз. Но Свиридова — совок и прачка, слепая и никому не бросающаяся в глаза, разве что со спины, с той стороны, где волосы были собраны в бабский серенький пучок, подумала о том, что Телегин — отличная фамилия для хождения по мукам. От этой ее мысли пахло школьной библиотекой. Или библиотекой вообще. Муж эти сборища книг в плохом расположении духа презирал, а в



хорошем — смеялся.

Дальше...

Дальше что-то было быстро, а что-то — медленно и привычно.

Свиридова сняла квартиру, забрала Маруську, которая предложила ей стать оптимисткой и научиться ждать. Не Нового года, конечно, потому что разве же это теперь праздник. Просто ждать.

Свиридова соглашалась. Она разговаривала с Маруской и училась разговаривать сама. Без привычки это было трудно. Фразы в ее голове рождались деревянные, их приходилось долго обстругивать, пока от полена не оставался только нос Буратино. Но нос этот выходил точный, резкий и иногда даже смешной.

Вечерами Свиридова ходила к своему дому. Глядела на окна. Слушала смех и сплетни старушек, которые с упоением рассказывали ей о новом мужнине счастье. И дарили ей книги, которые он теперь мог себе позволить издавать на собственные деньги.

Старушки Свиридову тоже не любили. Всем-всем, кроме нее самой, было видно, что она, мышца серая, великому поэту не пара. Старушки были интеллигентные, почти антикварные. И поэзия интересовала их столь же остро и проникновенно, как новая серия уже появившихся мексиканских сериалов.

Когда муж уехал за бугор — на этот раз с контрактом на лекции о русской поэзии, Свиридова почему-то не поверила. Приходила туда, где все еще как будто жила. Еще и еще. Но ключ больше не подходил к замку. Коммунальная квартира оказалась расселенной и превратилась в дом, где жила новая, нарядная, будто сфотографированная лично Свиридовой для глянцевого журнала, семья.

Свиридова тогда была уже модной. У нее вдруг обнаружился стиль, а фотографии ее, даже если она снимала кошек, мебель и коллекции вечерних платьев, называли «исполненными уместного катарсиса». Кошкам, впрочем, было на это наплевать. А Свиридова не понимала, как катарсис может быть уместным или не уместным. Но спросить ей об этом было не у кого.

Когда муж уехал, Свиридова купила квартиру и почти отдала долг кредитору, которого не убили. Не убили до такой степени, что он, по Марускиному выражению, умудрялся подбивать к ней клинья.

Чтобы не пугать Маруську пустой квартирой, где были только стены, печка, сантехника и телефон, она отправила ее на Мальту — учить английский язык. Маруська согласилась, с условием, что там, на Мальте, она должна потренироваться в кого-то влюбиться: «Этот опыт я потом передам тебе».

В новой пустой квартире Свиридова делала то же, что когда-то в ателье. Теперь уже, правда, ателье превратилось в галерею. Ненужную пока ни для чего, кроме новых модных презентаций, где принято было пить, есть и планировать проекты поворота политических рек, которые вообще никогда не воплощались в жизнь.

В новой квартире Свиридова снова слушала улицу. Теперь уже не шаги и троллейбусы, а такси, хлопающие дверцы, звуки домофона, остановки лифтов, шаги по коридорам верхних и нижних этажей.

Потом она сняла трубку и сказала в нее: «Лена». Про *холодно* уже ничего. К ней уже пришло тренированное светское, которое отвергало слабости и просьбы. Она не говорила «мне холодно» еще и потому, что могла купить себе мальчика по вызову. Но мальчикам по вызову она предпочитала транквилизаторы. У них были разные имена и способы действия. С кем-то хорошо работалось, с другими — спалось. Некоторые умудрялись нашептывать, что в жизни ее теперешней все есть. И все у нее как было. И даже лучше: муж, любовь, стихи, Маруська.

Таблетки ее были дружелюбными, не злоупотреблявшими ею, подконтрольными хорошему врачу. Они почти никогда не предавали. Только в крайних случаях. В тех крайних случаях, когда приходил озноб...

Она сказала: «Лена», — и назвала свой новый адрес. И он, уже не фантом, но



человек с фамилией, зато без имени, как сама Свиридова, снова приехал с матрасом и обогревателем, хотя на дворе, на той улице, что не приносила ей ожидаемых шагов, стояла страшная жара.

— На левом боку? — спросил Телегин. — Или уже на правом?

Она пожала плечами. Разделась и увидела красивое, а не стыдно-штопанное, что упало с нее на пол.

Он снова лег рядом. Повернул к себе. Целовал. Не в губы, а просто куда придется. Гладил по спине, спутал ей и себе ноги. Не спутал, конечно, но завязал своим странным волшебным узлом. Руку на рычаг переключения скоростей она положила сама.

Утром надо было что-то сказать. Свиридова знала — надо. Но разговаривать они начали только лет через пять.

Она уже умела — короткими, резкими фразами, всегда тихо и почти всегда не первой. У нее уже была не только студия, но и галерея, оказавшаяся модной. Старый круг, презиравший ее по-прежнему, шутил, что талант передался ей половым путем. И что *схарчила* она мужа именно затем, чтобы вырвать его божественную силу, приспособить, впустить в себя. Ее объявляли вампиром, потому что тема энергетики и астралов была такой же модной, как выставки черно-белых фотографий, которые сделали Свиридова знаменитой.

Муж ее по-прежнему писал. И по-прежнему был великим. Но Свиридовой было видно... вернее, слышно, что новые его слова уже были написаны раньше — им же самим. По-другому. Может быть, не так ярко, не так точно, как теперь, но были.

Она чувствовала, что муж пошел по кругу. И знала, конечно, что диаметр его огромен и равен длине экватора... или даже двух. А это означало, что идти ему еще было куда, еще было можно. И можно было подбирать случайно упавшее под ноги новое-старое. И даже, подбирая за самим собой, оставаться первым.

Читая его новые стихи, Свиридова подумала, что время смерти было бы для них справедливым как раз в этот момент. Его душа все еще оставалась честной, и ангелы, хоть и ссорились и сердились, не покидали его пока. А ее, Свиридовой, душа могла бы ему пригодиться. Пригодиться уже не серой и молчаливой, а какой-то другой, способной видеть то, чего не видели обычные люди.

Тогда уже были мобильные, и Свиридова позвонила Телегину без привычного припоминания собственного имени. Она сказала:

— Я хочу есть. Давай поедим...

Впервые за все это время (но разве десять лет — это вообще время?) к ней пришел аппетит. Он пришел почему-то вместо смерти.

Свиридова не знала модных мест и приличных ресторанов, она еще не изучила, где ей положено и не положено бывать. Бывала уже, да. Но не запоминала. В результате она могла предложить Телегину только Макдоналдс. Но это было бы глупо.

Телегин подобрал ее у метро «Кропоткинская» и привел в ресторан, названия которого она снова не запомнила. Но он точно, совершенно точно был итальянский.

— Ты с кем-нибудь спишь? — вдруг спросила Свиридова. Спросила, не поднимая глаз. Она рассматривала перетертый суп из чечевицы и грибов. И он казался ей похожим на стены Колизея. И она видела, что на фотографии это сочетание может быть очень необычным. Вряд ли красивым, но очень необычным. И она уже знала имя художника, который сделает это так, как она хочет.

— Сплю я только с тобой, — ответил он. — Но женщины есть, не волнуйся. Я — везунчик. Судьба меня балует. Поэтому жена разлюбила и ушла от меня сама. С сыном. Теперь они очень американцы. А я люблю Европу. А еще ты должна спросить, как меня зовут.

— Тебя зовут Иван...

— Интернет?..

Свиридова сначала кивнула, а потом покачала головой:



— Не я. Маруська...

Здесь можно и очень следовало бы захэппиэндить. Потому что жизнь, принятая такой, какая она есть, и такой, какой может быть, — вполне счастливый конец. Тем более что Телегин все время «доснимал» титры в своих документальных фильмах, на которые вдруг пошел европейский спрос. И еще баловался съемками клипов, но только тогда, когда ему хотелось попробовать техническое новшество на простых одноклеточных и не склонных к боли объектах.

В хэппи-энд еще вполне вписывалась Маруська — красивая, способная говорить, шуметь, кричать, рисовать, воспитывать очень рано рожденных сыновей-близнецов, которые, подкинутые Свиридовой, вводили ее в ступор. Из-за этого она всегда выдавала им краски, фотоаппараты, глину, холсты, горы всякого богатства — бусы, перья, блестящие шляпы, кринолины, бутафорские кинжалы — и разрешала делать с ними все, что угодно, и везде, где придется. У слегка чопорной и очень правильной Маруьски и ее мужа, директора крупной фирмы, все это баловство затевать было слегка (но чаще — строго-настроено) нельзя.

Из-за неспособности быть хорошей бабушкой, Свиридова оказалась как раз тем, кем нужно. Внуки называли ее «наша Лена» и не считали слишком взрослой. Когда к ней обращались «госпожа Свиридова», они переглядывались и начинали искать глазами постороннюю тетю, которая, наверное, пришла играть с ними в прятки. С ними и с нашей Леной.

В счастливый конец, который просился так сильно, что прежняя Свиридова уже сочла бы его дурным знаком, вписывалось и то, что муж продолжал писать. Да, реже. И уже совсем не для заграницы. Но имя его звучало, тем более что у Свиридовой была возможность организовывать ему вечера в больших и малых провинциальных городах, где он до сих пор считался памятником, классиком, светочем. Впрочем, он им и был.

И даже то, что он умер внезапно, но счастливо, в постели с молодой, умницей, потому понимающей, с кем ей довелось, пришлось, посчастливилось разделить последнюю строфу и последний вздох — это тоже вписывалось.

Свиридова поставила мужу памятник. И не злые уже, а честно горюющие и щедро заискивающие перед ней люди их прошлого сочли его приличным. После его смерти он сделался великим и всеобщим. Но Свиридова знала точно — теперь он стал только ее. Собственным. Личным. Поэтому можно было отключать часы. Потихоньку. Усилием воли, а не глупостей, которые приходили в голову ей прошлой — серой, глупой и недостойной.

Вместо того дома, где была их комната в коммунальной квартире, она ездила теперь на кладбище. Она улыбалась ему, а он — ей. С той самой фотографии, когда Маруська своим рождением сделала его вдохновенно красивым. Свиридова улыбалась всему тому, что у них было. Его успеху, его таланту, его словам, которые, она знала точно, еще будут, потому что все они были без времени, а значит, могли ждать столько, сколько нужно. Она радовалась, что круг, по которому пошел ее муж, не сделался очевидным для тех, кто его не любил. Он все-таки не повторился. Но даже если повторился, то все равно — превзошел то первое, юношеское, и сделал так, как мог только он.

А еще Свиридова, не стесняясь разрешенного себе самой и Маруьской бабьего, целовала холодный мрамор. Гладила фотографию по волосам и чувствовала тепло, которое было ему нужно. И ей нужно было тоже.

Но вместо этого хэппи-энда случилось *далее*. Маруьску бросил муж. Сказал, что жизнь их была не жизнь, а ад, что любовь его новая похожа на откровение и талант, что ему стыдно, конечно, перед детьми, а потому он постарается их отобрать или не бросить. Забирая свои вещи, сказал дежурно, но уже очень свободно и открыленно:

— Прости. Прости, если сможешь, — и взгляд его на Маруьску был пустым и брезгливым. А вечером прислал еще секретаршу, потому что забыл дома триммер.



В новую жизнь с волосами в носу муж Маруськи вступать не хотел.

Хорошо, что у Маруськи были слова. Плохо, но хорошо.

Свиридова вывозила ее в лес, чтобы там Маруська могла накричаться и навалиться в удивительно белом, не уральском, а подмосковном снегу.

— Я не могу дышать, — говорила Маруська. — Я не могу без него дышать.

Она говорила бабье, стыдное, но не для тех — уверенных, сильных и готовых мстить, создавая клубы первых жен и сногшибательные карьеры сенаторов, депутатов и членов наблюдательных советов. Она говорила пошлое, уже совсем сериальное и мягкообложечное. И муж Свиридовой, конечно, слушал этот кошмар, затыкая в своем аду (или все-таки — раю?) уши.

— Ничего, сочинишь, сочинишь другое... Правильное... Отдашь кому-то... А пока — так, — говорила ему Свиридова. — Терпи пока!

Ей было важно, чтобы Маруська говорила. Кричала, плакала, выла, делала что хотела и что могла. Свиридова прижимала ее к себе. Гладила, отпускала, трепала за плечи. Строго одергивала:

— Надо жить! Надо работать! У тебя дети! У тебя аспирантура, у тебя статья лежит в журнал. Сроки вышли, а писать надо...

И горько плакала вместе с ней, радуясь, что тоже может, что научилась. Знала, конечно, что эти слезы и слова — мимо. Но все равно — возила ее не только в лес, но в больницы. Туда, где горе настоящее, где есть с чем сравнивать, где доброе Маруськино сердце кровоточило сильнее, но и включалось сразу же в другое, в чужое, в правильное.

Но все это тоже было мимо. Маруська честно функционировала, доделывала обещанное до конца и выключалась, переставая дышать. Свиридова расписывала Маруське день по пунктам, но ни в дне этом, ни в детях, ни в помощи маленьким больным, куда дочь окуналась страстно и честно, ее все равно не было. Маруська просто уходила. Она перечитывала отцовские стихи. Застывала в них, как застывают в зыбучих песках, которые сами решают, как быстро стоит ее забрать.

И тогда... Тогда Свиридова, будучи уже совсем госпожой, сделала то, что делала.

Если читать дальнейшее как начало истории, то в ней ничего человеческого. Ничего от той Свиридовой, которая все еще собирала волосы в пучок, не стесняясь открывать уже тронутый морщинами лоб. И от той, что умела слышать, но все еще стеснялась своего необходимого, но очевидно (во всяком случае, для нее самой) пустого присутствия в разных ток-шоу. И от той, что научилась не бояться быть. Хотя бы изредка быть.

Свиридова отправила Маруськиных детей в зимний лагерь с группой своих маленьких художников, которых растила-привчала в галерее. Она отправила их в зиму, обещая, что снег имеет двести названий и тысячу вкусов. И не попробовать такой снег — грех.

Дети спросили:

— А что такое грех?

Свиридова как раз собиралась ответить на этот вопрос. Но не им.

Маруську Свиридова показала врачу. Она знала, что делиться с дочерью своим таблеточным опытом — преступно, потому что у каждой болезни свой доктор и свой рецепт. Маруське нельзя было отключить мозг, сердце и все системы ее ответственности, которые плохо, хорошо ли, но работали. Хотя она, Маруська, просила сделать ее овошем. Почему-то кабачком, полагая, что именно кабачкам не бывает больно.

— Притупить, но оставить сознание. Так можно? — спросила Свиридова у своего врача.

— Давайте я сама разберусь, ладно?

— Мне надо знать, как это будет действовать. Мне надо, чтобы ночью она спала, а не думала, — жестко отрезала Свиридова.

Потихоньку Маруська начала спать. Недолго, часов пять, просыпаясь еще до



рассвета, до чертового зимнего рассвета, которого надо было ждать два или три часа. Просыпалась, потому что в живот ее бил кулак, в котором был то забранный триммер, то угроза отобрать детей, то бегло-брезгливый взгляд, которым кончалась, как казалось Маруське, ее жизнь. И все-таки она спала. Но не закрывала, никогда не закрывала входную дверь.

Тогда Свиридова. . . Тогда госпожа Свиридова провела кастинг. Она просмотрела снимки, архив своих и чужих выставок; сначала работы любимых фотографов. Тех, что умели сочетать отстраненность и чувственность, снимая людей, как площади, фонтаны и развалины старых замков. Потом изучила лица и тела. Лица и тела мужчин, которых в ее студии часто фотографировали для журналов, улыбочных плакатов стоматологических клиник, социальной рекламы и прочей чуши. Впрочем, эта чушь приносила Свиридовой деньги. Это стоило уважать. Свиридова уважала.

Она искала. Она искала то, что когда-то помогло ей. Но метод поиска был неправильным. Ей нужен был не человек, не художник, не лицо, даже не тело. Ей нужен был фантом. То, что можно было бы принять за привидение. Или просто принять.

Госпожа Свиридова написала на бумаге список требований. На первом месте оказалось слово «молчание». Свиридовой было важно, чтобы Маруськина галлюцинация умела молчать. И вместе с ней, и после нее. Другой строки не получилось.

Товар, который хотела купить госпожа Свиридова, оказывался, как ни крути, штучным.

— Игорь, зайди ко мне, — она позвонила дизайнеру, который однажды удивил Маруську возможностью сделать компьютер живым. Не резиновым, ярким, функциональным, но тревожным и даже трепетным. Она сказала: «Живой, как Винни-Пух». Госпожа Свиридова взяла парня на работу. Пока не знала, как применить, но маленький стенд на брюссельской выставке, сделанный им, имел не громкий, но высоко оцененный профессионалами успех.

— Ты женат? Влюблен? Ты несешь ответственность за того, кто тебя любит?

— Родители считаются?..

Госпожа Свиридова качнула головой:

— Нет. Подойди ближе, мне надо тебя понюхать.

— Можно вопрос?

— Давай.

— Мои дела настолько плохи, что для раскрутки проектов меня нужно подложить кому-то в постель?

— Нет, — сказала Свиридова. — Твои — нет. Мои. У меня заболела Маруська. С ней нужно спать. Голым. — Муж никогда не сказал бы «обнаженным». Это Свиридова запомнила и усвоила навсегда. — С ней нужно спать голым. Обнимать всю. Целовать. Гладить. Греть. Ей холодно, Игорь. Но не лезть. Не трогать. Даже не пытаться. Только обнимать. Всю ночь, пока не наступит солнце. Двести долларов за ночь. Двадцать сеансов. Но каждый день. Если ты не согласен — забудь. Если ты не согласен и кому-то об этом расскажешь, я тебя уничтожу. Если ты расскажешь об этом Маруське, я уничтожу тебя как мыслящее и очень живое существо. Верить?

— Своим ушам — не очень. Но вам, госпожа Свиридова, конечно. Я всегда вам верю.

— И?..

— Маруся сказала, что мой проект живой. . . как Пятачок.

— Как Винни-Пух, — поправила Свиридова. — Вот деньги. И учти, что она ждет не тебя. Ты — врач.

— Смешить можно?

— Не видела людей, которым удастся рассмешить бетонную стену. . .

— Зато в Стену Плача многие верят. И многие ее даже видели.

— Я думаю, что этих денег тебе хватит для поездки в Израиль.

Свиридова не знала себя такой. С другой стороны, кто сказал, что она вообще



себя знала?..

Маруська ничего не рассказала Свиридовой о фантоме, который стал посещать ее по ночам. Свиридова видела — Маруське не лучше. Но — лучше. У хронических сумасшедших это называется моментами просветления.

Маруська начала фиксировать взгляд, стала меньше раскачиваться на стуле, ожидая, пока всосется-подействует таблетка. Она сдала статью в журнал. Не ахти, но вполне логичную, местами едкую. Хуже, чем обычно. Ну и что?..

Свиридова по-прежнему вывозила Маруську в лес. Но та уже не кричала. Просто ложилась на землю и смотрела на небо. А небо — это намного лучше, чем потолок. На небе у Маруськи был отец и никаких шагов, которые стоило бы ждать.

Через месяц Игорь написал заявление об уходе. Это было глупо и не вовремя, потому что как раз в апреле у него был запланирован стенд в Париже с брендом свиридовской галереи. Она уже показала его работы нескольким европейским художникам и критикам, и они были готовы взять его под свое крыло. Дизайнер из Нидерландов был даже готов предложить контракт. Госпоже Свиридовой и ее кампании или лично Игорю, если все они вместе договорятся о деньгах — отчислениях, гонорарах или роялти по мере продаж его, Игоря, безусловно блестящих, и не только потому, что иных и ни с чем не сравнимых, а просто — блестящих проектов.

Госпожа Свиридова вызвала его к себе в кабинет. Хотя, наверное, должна была звать в ресторан, поить, расслаблять, хвалить и уговаривать. Но в стенах кабинета она была госпожой. А в кафе могла бы оказаться провинциальной дурочкой, которая схарчила очередной талант.

— Это глупо, Игорь, — сказала госпожа Свиридова. — Это очень глупо, недальновидно, потому что такого шанса может больше не быть.

И он, этот Игорь, сопляк и гений, сказал ей: «Лена...»

— Знаете что, Лена, во-первых, вот деньги. Так что к Стене Плача я как-нибудь доберусь на свои. Во-вторых...

— Мне надо попросить прощения? — сухо спросила госпожа Свиридова. Сухо, строго и так отстраненно, чтобы ни в коем случае не откликнуться на Лену. Не поддаться.

Игорь качнул головой:

— Нет. Не за что.

— Я не буду с вами работать. А Маруське лучше.

— Спасибо, — сказала госпожа Свиридова. — Я подпишу заявление. Но на выставку надо поехать. Я переиграю. Не от моей галереи. Поедешь от Министерства культуры.

— Маруське лучше, — повторил он, уже стоя в дверях.

Свиридова смотрела на него внимательно. Раньше она его никогда не разглядывала, как не разглядывала своих сотрудников и коллег. Свиридова вообще умела и любила смотреть только на снимки, а не на людей. Но его, Игоря, почему-то захотелось увидеть.

Веснушки, на левой щеке ямочка, крупные руки, хорошие руки, руки скульптора, очки... Очки помешали ей понять, какого цвета у него глаза.

— Маруська сказала, что теперь, после всего, старой или молодой, замужней или влюбленной, плодоносящей или кормящей, с болезнью Паркинсона и вставной челюстью... Всегда и в любом состоянии она будет мне должна. Двадцать ознобов. С процентами, которые могут набежать к тому времени. Ей можно верить?

— Я не знаю, — честно сказала госпожа Свиридова.

— А еще — мне все-таки удалось ее рассмешить.

— Судя по обещанию и вставной челюсти — да.

Дома у Свиридовой не было ни одной фотографии мужа. Книг его не было тоже. Она отдала их Маруське. Потому что Свиридовой не надо было. Все стихи она



помнила наизусть. А листать страницы... Зачем?..

Чтобы увидеть его, пришлось ехать на кладбище. Через пробки, в сумерки. К счастью, они не успели опуститься стремительно, поэтому Свиридова смогла увидеть его лицо. Привычно потрогать мрамор.

— Маруське лучше. Этот муж-сволочь начал процесс возвращения. Я буду ненавидеть его... как обычная советская теща. Ничего?..

Наверное, ничего.

Муж не откликнулся, потому что знал — она приехала не за этим.

Тогда Свиридова сказала:

— Меня зовут Лена. А его — Иван... И наша Маруська оказалась в сто раз умнее меня. Она сказала, что будет должна. Твоя, как ни крути, твоя кровь.

Больше она не сказала ничего. Научившись говорить, командовать, организовывать, зарабатывать, разбираться в качестве жемчуга и даже, совсем недавно, и будь оно проклято это «недавно», плакать, лучше всего она умела молчать. В молчании ей все было ясно. И сколько ей лет, и кто она, и что она сделала для Марушки или против нее. И чего не сделала для себя.

Свиридовой не было холодно. И она знала, что не должна. И никогда не была должна. Но она не могла позвонить и сказать: «Лена...»

Потому что...

Потому что это могло быть поздно. Ни к чему. Не ко времени. Это могло уже относиться к прошедшему. Его — прошедшему.

Свиридова села за руль, прогрела машину. Но долго не трогалась с места, улыбаясь рычагу переключения скоростей, который она упорно называла «ручкой».

НИША

1.

...Если зажать жизнь между ресницами, она не изменится. Не открывать глаз — и все останется как было. Можно уже не бояться.

Время — круг. Даже если когда-то оно виделось вектором, направленным вверх.

Ничего не начинается, но ничего и не заканчивается. Теперь, когда я знаю конец истории, карусели, циферблаты и арены цирков кажутся мне воплощенным милосердием...

2.

Женщины здесь носят халаты. Не буду отвечать за зиму — мы рассчитываем к зиме закончить. Но летом и осенью женщины носят ситцевые халаты, цвет которых можно увидеть только на изнаночных швах. У моей бабушки тоже был такой халат. Но на улицу, «на выход», она переодевалась в приличное, городское.

Тут так не принято, да и не с чего. Поверх халата — кофта. На босу ногу или на шерстяной носок, по погоде, галоши «мужнина размера». Кроме галош от мужей здесь еще остаются треники, топоры, иногда колодцы и заборы, теперь заброшенные и завалившиеся.

А я в галстук. Летом всегда в рубашке и галстук. В ветреную погоду галстук лежит у меня на плече. Я выгляжу как клоун и жду похолодания. Для похолодания у меня темный пиджак, и я застегиваю его на все пуговицы. Осенью я отражаюсь в местных глазах так же глупо, но солидно.

Хозяйственные постройки широкого профиля — это наш бизнес. Отец Лёхи, дядя Витя, называет его нишевым. Он разбогател радостно, потом упал-отжался — и стал осторожным. Считает, что все на свете, особенно деньги и женщины, должно иметь вкус и запах. Принимая на грудь очень редко, в случае чего-то крайнего, после второй сотки он обычно утверждает, что правильные деньги имеют сладковатый привкус дерьма, а правильные женщины пахнут кипяченым молоком. После тре-



тёй сотки он говорит: «Бабки и бабы... Кака разница!»

Мы строим фермы, консервные заводы, ставим колбасные цеха, складские помещения, пункты оптовой сдачи продуктов. Иногда в комплект входят офисы и рекреационные сооружения, вроде бань и комнат для командировочных, иногда — многометровые бетонные заборы и гаражи.

Лёха называет нашу нишу дыркой или трещиной. Когда злится на отца, то трещиной геморройной.

Мы с Лёхой выросли вместе. Почти как братья.

Через десять минут я буду отпускать рабочих на обед.

Лёха пишет мне эсэмэску: «На пляже дачницы. 3, 2, 0. Тебе какую?»

3.

Хороший сезон — это когда снег сходит в марте, объекты — недалеко от областного или районного центра, когда бригадиры и мастера пьют умеренно, а местных можно позвать на разовые подряды. Удачный сезон — это пять-шесть переездов, отсутствие наступивших страховых обстоятельств и жизнь в гостиницах, а не в бывших Домах культуры или в школьных спортзалах.

Мы похожи на гусаров. Если сравнивать не выправку, а уровень побудки населения. Мы приезжаем и привозим с собой другую жизнь. Нас ненавидят, но это развеивает их скуку. До нашего появления местным событием года является украденная со штaketника трехлитровая бутылка, в пропаже которой удивительно все. Кому она могла понадобиться?.. Куда ее можно пристроить?.. Неужто — продать?.. И где найти новую, чем заменить?..

Мы приезжаем и сразу занимаем все пространство, огороженное с одной стороны их бдительностью, с другой — интересом. Если гостиница в райцентре есть, то мы вообще начинаем жить на две семьи, заставляя ревновать горничных к женщинам в халатах и особенно к их дочерям.

В каждом переезде Лёха обычно теряет и обретает имя. Может быть, потому, что он — как семечки, насыпанные из мешочка в свернутую газету с «походом», с лишней жменькой, а то и двумя. Может быть, потому, что слишком высокий, слишком смуглый, белозубый, как *цыганча*, смешливый, азартный, опасный, но без резкости. Он похож на большого кога. На пантеру, если пантера — кот. Он может прыгнуть в любую минуту. Но может зевнуть и заснуть. Имя Лёха, наверное, кажется людям меньшим, чем он сам.

Разные местные крестят его по своему вкусу. Лексей. Ляксей. Олесь. Олэкса. Леший.

Здесь он — Олесь. А я — Беспалыч.

Пишу ему, что не пойду, устал, надо ехать договариваться с водоканалом о подключении нас к сети.

Злось по привычке. У нас и так в каждом месте по невесте. Надо ж кому-то и работать.

«Бедная Золушка», — хихикает его послание.

«Заткнись, маленький принц», — огрызаюсь я.

4.

Место нашего детства теперь пишется через «ё» — *раён*, и это позволяет не рассказывать долго о его панельности, соседствующей с жидкой посадкой, заросшими железнодорожными путями, оборванными улицами частных — старых и брошенных, и живых вполне — домов.

Мы не знаем еще другого мира, поэтому наш кажется нам прекрасным. Лопухи на пустыре размером с японский зонтик. Одуванчики, из которых даже пацанам не грех сплести пару венков. Охота на зеленых жуков, так никогда и не представившихся нам по всей форме. Зброшенный пункт приема стеклотары — наша хижина,



блиндаж и казино. Ржавые крыши ничьих уже гаражей. На них и только на них можно как следует играть в латки. А зимой мы заливаем себе каток, и утром он часто встречает нас лужей. Любой, даже самый маленький снег — и мы тащим санки и старые, с ржавыми дырками тазы, которые хранятся на антресолях. И драки, в которых я научился побеждать, когда пришло время. А до того, я помню это очень хорошо, отец втолковывал мне: «Бей первым, беги последним. Это просто. Бей первым, беги последним». А Лёха, теряя в стычках молочные зубы, весело спасал то мою мелочь, то пакет молока, то калейдоскоп, то шапку, то что-нибудь еще, срочно понадобившееся нашим старшим, двенадцатилетним, а потому еще не сидевшим товарищам. Вытаскивая меня из сугроба, оврага или лужи, он целую жизнь говорил:

— Ты как, малой?

А потом перестал.

Когда сам у себя выхожу из-под контроля и напиваюсь сильнее, чем планировал, мои «невесты», все как одна, включают программу «я б для батюшки-царя родила богатыря». От этой программы я трезвею быстро и зло. Я не хочу детей, которых надо учить простому правилу, но в обратной последовательности. Чтобы мои дети были живы и здоровы, в нашем новом мире они должны первыми бежать и последними — бить.

Я не хочу детей. Но это никак не связано с моим собственным детством. С ковром, например, на стене и ковром на полу, которые были разного цвета и разного качества, никак не связано. Настенный — теплый, толстый, красный, с синими и белыми волнами-узорами. А напольный — тонкий, утоптаный до потери первоначального цвета. Бабушка называла его *паласом*.

Это не связано ни с чем из того мира, который я продолжаю любить.

— Я отъеду на пару дней. Смотаюсь на море. Ага? — Лёхин голос в трубке звучит нежно. Нежность — не мне, а третьему размеру, который сдался за какие-то сорок минут. — Если шеф будет искать, ты... это...

— Это, — соглашаюсь я.

В присутствии размеров, невест и лялек он всегда называет своего отца шефом и ищет море, потому что оно — законный повод видеть почти голой ту, которую ты сам все время хочешь раздеть.

«Не надо считать девушку шлюхой, если она тебе дала. Она дала тебе, а не кому-то другому. И это уже характеризует ее положительно», — говорит Лёха.

Еще он говорит, что задрался участвовать в путешествиях, топ-лист смыслов которых прибит к батиной поехавшей крыше.

— Крест на пузе, я всему научился, можно мне уже осесть в офисе? А?..

— Скажи ему сам, — обычно предлагаю я.

В простых отношениях Лёхи и дяди Вити есть много воспитательных моментов. Дядя Витя уже не может сказать ни мне, ни ему: «А ну дыхни!» — схватить за шкирку в баре и тащить, по одному в каждой руке, через детскую площадку, стоянку, мимо гаражей, домой. Он не может дать нам пенделя для ускорения мыслительных процессов, поэтому дает работу, в которой — «все жизненные примеры из энциклопедии русской и не русской тоже жизни». Он воспитывает нас работой. Лёху, если точнее. Он воспитывает его — и меня заодно — и не может остановиться, потому что боится времени, в котором хоть и король, но, получается, чужестранец. Старое время кажется ему понятным и правильным, но, я думаю, только потому, что дядя Витя знает о нем из книг. На работе я называю его Виктором Андреевичем. Сбиваюсь, краснею, смущаюсь. Он тоже.

Когда нам с Лёхой исполнилось четырнадцать, достойным жизненным примером был объявлен Лермонтов, уже сочинивший «Белеет парус одинокий». В шестнадцать нашим полком командовал Гайдар и еще — Блез Паскаль, который зачем-то вписал шестиугольник в коническое сечение. В двадцать три нам была предъявлена микеланджеловская «Пьета», а *четвертак* праздновался в компании Гнея Помпея,



как раз отметившего свой первый триумф. Сейчас мы приближались к двадцати семи — окончательной дате в жизни Сен-Жюста. Приближались без миссии, без силы духа, без веры и политического сумасшествия. Но и без гильотины, которая в логике дяди Вити была, наверное, суперпризом.

Иногда я хочу признаться дяде Вите в том, что в материалах к энциклопедии всякой жизни собралось слишком много статей о водке, без которой нельзя ни толком уложить кирпич, ни сдохнуть, ни увидеть плывущую над рекой дымку. Есть также страницы о радостях. Приличных из них мало. Я все собираюсь сообщить дяде Вите, что настоящая жизнь за передами асфальтов пахнет и выглядит точно так же, как на нашем... *раёне*. Мы не забыли. И Лёху уже можно пустить в офис. Это будет справедливо — и я, честное слово, не обижусь.

5.

В гостинице живут два китайца. Наверное, так же долго, как и мы. Но, может быть, даже дольше. Они всегда здороваются первыми, глубоким кивком, почти поклоном, а в глазах у них надменное удивление: «Надо же, вы все еще здесь...» Мы пока выигрываем у них по всем статьям. В очереди из сосисок, уборок, смены белья, невест они всегда вторые. Недавно швейцар сказал, что у китайцев глисты. Горничные нашли в их вещах глистогонный препарат «Стронгхолд». Я посмотрел в Интернете. Это препарат для животных. Он безопасен для щенков и котят даже с шестинедельного возраста при десятикратной передозировке. Хороший. «Значит, они едят собак!» — сказал швейцар. Искательницы китайского счастья объявили бессрочный карантин.

Тот, кто ест собак, перед этим изгнав из них глистов, вызывает законную брезгливость. А тот, кто ест ириску, запивая ее антифризом, жалость и понимание.

В последние дни китайцы перестали здороваться со мной. Что-то страшное, наверное, случилось и в моих вещах.

— Дачницу не отпустила мама, — говорит Лёха. Он висит на плече китайца. Помещается, хотя плечо китайца не кажется мне слишком большим.

— Спасибо, что принесли, — я улыбаюсь и думаю о том, что сухой закон в номере — не самое правильное мое решение.

Я стою в дверях — и мне нечем отблагодарить человека, не поленившегося подобрать Лёху где-то в темном коридоре или на лестнице. С улицы, я уверен, его забрал швейцар.

— Прости, брат, — бормочет Лёха. Икает.

— Может блевануть, — предупреждаю я. — Клади на пол. Быстро!

Китаец поднимает правую бровь и мотает головой. Конфуций, наверное, не разрешает благородным мужам соединять человека с тем, с чем его только что разъединили.

У нас полночь, а где-то в Китае может быть утро. Я говорю:

— Хочешь позавтракать?

Ставлю на стол *бичпакет*. Кажется, это «рамен». Китаец узнает своих, улыбается и аккуратно сгружает Лёху на кровать. Мыжимаем друг другу руки. Мне хочется заложить швейцара с его дезой про собак. Но линия обороны «свой-чужой» эшелонирована глубоко.

6.

Мне больше не нужны эти воспоминания. Но я не знаю, можно ли о чем-то вспомнить окончательно, в последний раз...

Самый большой эффект на слушателей пьяных баек производит рассказ о том, что у нас на *раёне* была библиотека. С книгами, читательскими билетами, столами, нетопленными батареями и библиотекарями, которые призывали всех не слюнявить пальцы. Не знаю, почему, но в любой компании это наша общая с Лёхой *real*



stogy включает ржач, похожий на истерику.

Подушка, на которой я сплю, не помещается в наволочке. Бывший розовый, теперь почти свекольный наперник выглядывает надпись: «Сделано в СССР. 1976 год». Она старше меня на десять лет, и я должен проявлять к ней уважение. Не бью, не взбиваю, не бросаю ее в пьяного Лёху, храп которого сотрясает стены.

Я знаю, что он сядет в офисе через год, когда окончательно отпадет армия. Дядя Витя отмазывает его, но на всякий случай прячет. У нас нет преемственности военкомов. Взятка, осевшая в одном кармане, не может оказывать воздействие на другой. Она «сгорает» при повышении, понижении и переходе на другую работу. Лёха может просто попасть под кампанию. И тогда за ним придут.

В тринадцать лет, сам того не понимая, я решил свои проблемы с армией раз и навсегда.

Ночью я пишу отчеты и планирую следующий день, понимая, что его проще предсказывать. Стройка — волшебная штука. Она может быть закрыта ударом молнии, визитом участкового, Ураза-байрамом, Успением Пресвятой Богородицы тоже — и часто. У нас все хрупко — ворованное электричество, незаконный отвод земли, рабочие без лицензии, дожди, финансовое или психическое здоровье заказчика, атаки санэпиднадзора. Иногда мы проскакиваем, но потом обязательно вязнем. Я не хочу спиться. Мне нельзя.

Ее зовут Мария. Она любит кислые яблоки. Когда ест их, жмурится и смеется. Разговаривая, размахивает руками. Похожа на худую итальянку. Печет пироги, чтобы их понюхать. Хранит кожаные штаны, а свадебное платье — нет. Коротко стрижет ногти и носит очки. Раз в три года бросает курить. По дому ходит босиком. Зимой тоже. Спотыкается только о слова, боится ударений. Радостно принимает помощь. И еще — роды. Работает теперь не за деньги, а потому что ей нравится быть акушеркой. Говорит о себе: «Была когда-то королевой района...» Я всегда отвечаю одинаково: «Почему — была?»

7.

Что останется после меня? Раньше я думал, что этот вопрос волнует всех. Лёха очень смеялся. Сказал, что моя проблема не по чину царская. Или поэтическая. Он сказал, что это заумь, а все, что за умом — дурь. Мы с ним живем в разных номерах, потому что имеем честно заработанное право на личные унитазы. В *переборах* мы ночуем там, где засыпаем. Утро после обычно проходит в вялых перебранках о том, куда делся второй носок, кто идет за минералкой, а лучше сразу за пивом. Наши морды, рубашки, мысли — мятые. Мы мало похожи на руководителей. В этих бесконечных утрах *после* мы — как дети. Для этого, наверное, и пьем.

Сегодня я трезвый, а он сидит на кровати и буровит. «Буровит» — бабушкино слово, в котором говорящий — сам себе помеха, поднимающая муть с нетвердого илистого дна.

— Не-е, Дрон, давай замнем... К вечеру буду на объекте, а?

— На море? — злюсь я.

— С морем — облом, я ж сказал вчера, нет?.. Облом полный. Маман прискакала, весь кайф сломала... Ее Отличница притащила, прикинь?!

Нашим женщинам не идут имена. Наши с Лёхой женщины функциональны и измерены. Некоторые привязаны к географии или к сезону, другие — к собственному цвету волос, походке, длине носа или к словам, серьезно сказанным, а потому особенно нелепым.

Их нет нужды запоминать, но мы готовы платить нехитрую дань — машиной угля, вскопанной картошкой, походом на танцы и даже собственным черепом, пару месяцев болтающемся на поясе очередной невесты. Это такая честность, в которой мы — гастрольный приз с пачкой презервативов, а они — скушающая дичь с глупыми несбывающимися надеждами. В каждом пункте прибытия мы объявляем себя женатыми и детными. Но ни нас, ни их это не останавливает. Нам кажется, что мы

играем по правилам.

Отличница — не дачница, она из местных. Мы познакомились с ней у колонки в один из первых дней. Мы были уставшими от работы из списка «снова-здоровая». Каждая новая стройка начиналась с того, что мужики, выбранные нашими бригадами из близлежащих поселений, дезертировали в *обмыть* или вовсе уходили прочь, проклиная нас за темп, наряды и контроль качества. В такие моменты обычно приезжали машины с песком и начинался дождь, привозилось кровельное железо или кирпичи, которые надо было разгружать, проседали ямы, вырытые под фундамент, проваливался в овраг взятый в аренду экскаватор. Обязательно случалась какая-нибудь хрень, в которой мы с Лёхой и пара наших мастеров оказывались единственными солдатами в еврейской армии. Физический труд брался нас облагораживать. Я снимал рубашку и галстук — и обычно они пропадали до того, как мы заканчивали работу. Лёхины футболки пропадали тоже.

У колонки мы были выдохшимися и привычно обворованными. Злость, правда, оставалась в лопатах песка, натянутом брезенте, в угрозах позвонить дяде Вите и попросить, чтобы он приехал и всех расстрелял. От нас воняло потом. Перед тем как сесть в машину, мы хотели помыться.

Она стояла с ведром. Три человека — это уже очередь, в которой туземка, черт с ней, была признана дамой. Мы вежливо посторонились, пропуская ее вперед.

— Ой, спасибо, но я не спешу.

— Ведро мы тебе домой не понесем. Наливай и иди, не мешай, — сказал я. Лёха ткнул меня локтем в бок. Я присмотрелся. Ну... не худая. Крупная даже. Не в моем вкусе.

— Че смотришь? Страх потерял вместе с пальцами?

— Ага. Во второй чеченской кампании, — буркнул я.

— Активная фаза боевых действий закончилась, когда ты пешком под стол ходил. Я отличница в школе была, с золотой медалью, между прочим.

Лёха сначала вежливо фыркнул, а потом заржал. Напахались мы в этот день до смешного. Только дай. А тут — золотая медаль, активная фаза... Я засмеялся тоже. Она бросила в нас ведром и ушла, покачивая немаленькими бедрами.

— Моя, — сказал Лёха удовлетворенно.

Я кивнул, подписываясь под сделкой, в которой Отличница принадлежала ему, а значит, ее план осады Трои с периодическими нападениями, ночевками под нашими стенами, жертвоприношениями в виде яблок или пирожков, с предательствами и ревностями меня не касался.

Она работала почтальоншей в соседнем селе. Ее парень служил в армии и должен был вот-вот вернуться. Впереди ее ожидало светлое будущее — свадьба и дети. До наступления всего этого счастья Отличнице хотелось бы попробовать себя в каком-нибудь шоу, но пока она еще не знала, в каком. А Лёха ей просто нравился. Нравился до жути. Что такого?.. Ничего. В списке ее жизненных побед мне все знакомо. У наших невест всегда все примерно одинаково — возраст, планы и повестка дня на текущий момент. Но место работы — поражает. Неужели кто-то еще шлет открытки к праздникам, получает газеты, заказывает телефонные переговоры? Зачем и кому теперь это нужно?..

Почта припечатывает меня на несколько дней. Наверное, потому, что я из тех, кто верит в письма. Особенно в неотправленные.

Вместо почты я использую «Живой Журнал», который в моем случае — абсолютно мертвый. Мои послания никто не комментирует, и я тоже не комментирую чужие. Я не набиваюсь ни к кому в друзья, не стараюсь быть в курсе. Я просто пишу в ящик, ключ от которого есть у пары человек. У Лёхи, например. Я почти уверен, что мои письма никто не читает. Поэтому я позволяю себе паузы и бессмысленные обиженные молчания. Но желтый мячик — я почему-то представляю его именно желтым — иногда начинает прыгать в моем животе, набивая на диафрагме слова «а вдруг», «а вдруг», «а вдруг»... И я начинаю писать как заведенный. Стараюсь, чтобы в моих словах не было ничего такого, чтобы они были похожи на простые путевые



заметки, чтобы не проскальзывало и не ныло. И чтоб я сам не ныл.

Лёха говорит, что нормальные люди бросили «Живой Журнал» и сидят в социальных сетях, потому что это тренд, драйв и куча фоток. Но, получается, я люблю почту.

Мы с Лёхой ездили к Отличнице на работу. Видели ее начальницу с лаковым начесом, сделанным впрок в советские времена. Еще видели порошок, мыло, губную помаду и средства от клещей. Понятно — сопутствующие товары. Жить-то надо. Я спросил:

— И люди тут бывают?

Начальница обиделась и поджала морковные губы. Отличница прошептала запальчиво:

— А телеграммы? На похороны по эсэмэске не отпустят, чтоб ты знал. Плюс денежные переводы... Газеты... А если выборы и всякая агитпродукция, то у нас тут вообще штаб!

— Какой партии? — спросил я.

Она посмотрела на меня как на человека, который в один момент потерял паспорт и чувство реальности. Они обе так посмотрели. А начальница прорычала:

— Провокаторы! Оппозиционеры сраные! Я сейчас в милицию позвоню!

Нам захотелось бежать. Мы часто попадали в милицию, но еще никогда — по политическим мотивам.

— Она меня ревнует, что ли... — говорит Лёха.

И я не пойму, он радуется или раздражается.

— Смешная. Тащит эту маман за руку и приговаривает: «Он — женатый мужчина, ваша дочь — несовершеннолетняя школьница. С этого момента вы — соучастница развратных действий. Вы же теперь в курсе?» Та отмахивается, хватается свою, отоваривает подсрачником, невеста в слезы. Отличница тоже ревет. Я трезвый, в трусах. Холодно... Выпили потом... чисто для сугреву...

— С маман?

— Зачетная шутка. Может, жениться на ней? А?..

Время от времени Лёха собирается взять в жены кого-то из местных. Он думает, что угроза эта — козырная, непобиваемая, потому может уменьшить срок, определенный нам дядей Витей. Лёха не верит в отцовский страх перед армией. Говорит:

— В гнилой системе можно *отпетлять* с любой точки. Примут меня — и что? На выходе денег не возьмут? Забреют в солдаты, запакуют в форму прямо в лифте?

Я не согласен с Лёхой и поддерживаю дядю Витю. У любого гнилого слабая крыша. Когда падают балки и потолочные перекрытия, им не сунешь денег. Мы вытаскивали из-под обломков деревенского дома одного пришлого городского бомжа. Его, кстати, предупреждали, что хата ветхая, шальная, ветер подует — и «сдается, Тотошка, мы уже не в Канзасе». Силы сгнивших деревяшек хватило на то, чтобы перебить ему позвоночник. Когда он пришел в себя в больнице и узнал диагноз, то расплакался от счастья. Койка, трехразовое питание, инвалидность... «С таким социальным пакетом я в зиму войду как генеральный директор». Он кем-то был в прошлой жизни. Почти все, кто встречался нам в переездах и стройках, имели прошлую жизнь, а потом превратились в кого-то другого. У одних прошлое длилось столетия, у других — пару счастливых лет. Я устал собирать эти истории.

8.

Мы останемся здесь до зимы. Стройка оказывается социальным проектом, на фоне которого нужно сделать много добрых и понятных фотографий. Лето и ранняя осень в качестве декораций не годятся. В декабре яркое солнце, высокое, расти не хочу, небо, трава, цветы — все это кажется ненастоящим или просроченным. Если



голосовать идут люди в шапках, то на плакатах шапки должны быть тоже. Иначе избиратель может себя не узнать. Зимой он не верит в лето и, высовывая на улицу нос, жалеет себя — сфотографированного раздетым, разомлевшим и не подозревающим, какая жопа ждет его в холода. Когда метут снега, лето кажется обидной китайской подделкой.

Заказчик хочет быть социальным политиком. Наш комплекс — путь к возрождению деревни, рабочие места и прочая перспектива. Заказчик наденет оранжевую строительную каску. На фоне грязи, коричневой, слегка поседевшей для пейзажности, он будет похож на огонек. Может быть, даже на факел. Это будет красиво и убедительно.

Надо снижать темпы, сокращать рабочих, пересматривать графики. Теперь главное — не спешить. Мы не можем законсервировать объект и уехать домой, потому что у нас нет знакомых инопланетян, которые взяли бы его сторожить. Все другие охранники войдут в долю или будут первыми, кто начнет растаскивать сначала инструмент, а потом, потихоньку, крепежи, кирпичи, плиты... Мы вернемся — и ничего не будет. Поэтому мы здесь.

У нас появляется время, с которым нужно что-то сделать. Других рецептов, кроме пропить-прогулять, кажется, нет. Пустое время я воспринимаю как опасную невидимую армию, которая напала на нас давно. Иногда мне кажется, что она победила, расставив везде своих генералов, смотрителей, зазывал. Где-то еще есть партизанские отряды. Но они никак не связаны между собой, потому ни масштабной рельсовой войны, ни рейдов. Армия пустого времени не преследует партизан. Она над ними смеется.

Исторический факультет. Мы с Лёхой учились на историческом факультете. Этот выбор был настоящим идиотизмом, в котором, как во всяком безумии, виделись серьезные рациональные смыслы. Мы не делились ими с дядей Витей. Типа просто любви к истории. Он сам же ее и привил.

На самом деле Лёха планировал милицейскую карьеру, а мне было все равно. Дядя Витя орал:

— Менты убивают людей! — и ставил жирные кресты на юридических факультетах и академиях внутренних дел. — Только через мой труп! — говорил он.

«Убей и начни карьеру с меня», — это звучало как хороший рекламный лозунг, мы смеялись, и Лёха не обижался. Менты нашего времени были общими тараканами для всех, кто пытался создавать бизнес. «Черные, серые, синие, жирные, проворные, с усамидубинками, на одно лицо и из всех щелей». Приговор был окончательным, никакой дядя Степа не мог переубедить дядю Витю. Несмотря на отмену классовой ненависти, Лёхин отец чувствовал к ментам то же самое, что пролетарий должен был ощущать при виде буржуев. Но пролетарию не надо было пить с буржуями в День эксплуататора, ездить с ними на охоту, рассуждать на тему, что есть такое — честь капиталиста, и делать вид. Буржуи не требовали дружбы.

Лёха же хотел милицейской карьеры из-за ее линейности и понятности. «Один раз попал — и уже не думаешь, что делать завтра». С истфака в милицию брали охотно. Считали историков выпускниками школы патриотов. Лёхин план дал сбой зимой после третьего курса, когда нас, бухих, счастливых и пустяком каким-то поймавших «ха-ха», взяли прямо на улице. Резкий запах спиртного стал прямым доказательством тому, что мы — наркоманы и наркодилеры. Тем более что у нас в карманах нашли то, что туда сами и положили. Выкупая нас, дядя Витя тщательно проверял, целы ли зубы и кости. Но сиял. Был счастлив.

Только мы все равно доучились. Не знаю, зачем.

9.

Я люблю женщину, рядом с которой не светит солнце. Это безнадежная, молчаливая, но очень счастливая история, в которой все нельзя и ничего не проходит. Она длится половину моей жизни. В самом начале это можно было бы считать детством.



Теперь хорошее объяснение отменилось. Я вырос.

Все вопросы будущего обозначены словом *нет*.

Я люблю женщину, которая счастлива.

Я люблю женщину, которая любит меня. Но лучше бы не любила. Потому что ее правильная человеческая любовь заняла те места, где могла бы быть другая. Та, которую я ищу.

Я пишу свои письма ей. И это ее руки держат нахальный желтый мячик, который бьется о мою диафрагму словами «а вдруг».

Но всякое «вдруг» может начаться только с ее несчастья: она постареет, она овдовеет, она обнищает, она заболит...

Я люблю и жду для нее несчастий.

«Правду говорить легко и приятно»... Не знаю. Не уверен. Даже самому себе. Мне трудно сказать это вслух, громко. Про себя, мысленно, как ни странно, тоже. Мне трудно об этом подумать. Слово «женщина» вообще не отсюда. Подбираясь к нему, я всегда спотыкаюсь, приваливаюсь спиной к неудобной «ю» и на вдохе цепляю «е». С «ё» все просто. Надежная буква. С ней всегда все просто.

Я люблю её.

Рецепт проговаривания: пол-литра водки, бутылка пива, пакет чипсов и Scivola Vai Via, прооравшая восемь раз.

10.

Китайцы победили. Они каждый день ходят на работу. А мы — нет. Сильно надеюсь, что видимость зимы, годная для фотоотчета, наступит уже в октябре. Слушаю улицу. Под окнами моего номера рынок. Дети играют в зомби.

— Ты меня кусаешь или шо?

— Я самоубился. Временно.

— Умереть можно только два раза. Ты жулишь!

— Тогда я вообще играть не буду...

Лень выглядывать, лень вставать, лень думать предметно. Пустое время делает меня похмельным — тревожным и мечтательным.

Я думаю, что если бы был евреем и случайно стал известным, то еврейский народ обязательно присвоил бы меня — вывесил на сайте, включил в календарную рассылку, раз в год бы гордился. Может быть, и чаще. Если бы я был поляком, хорватом, венгром, то меня бы тоже присвоили. Но я неожиданно русский среди многих других русских — великих и не очень. Это значит, что мы будем потеряны, потому что на нас не хватит никаких рассылок. Зато меня присвоил дядя Витя.

Горничная открывает дверь своим ключом. Напевая, проходит в ванную. Мне не виден ни коридор, ни дверь к рукомойнику. Но я слышу, как она включает воду. Мне неохота вставать из-за ее уборки. Я натягиваю на голову одеяло и пытаюсь заснуть. Вроде даже сплю. Минут через сорок она появляется в комнате — чистая, под косынкой бигуди, пахнет моим одеколоном. А подмышки наверняка побрила моей бритвой. Голая, кстати.

— Ты как здесь? — спрашивает она строго.

Я, честное слово, не знаю, что ответить.

У меня нет вопросов к вещам неизбежным. Постель, мужчина в трусах. Женщина без. Чувствительности, восторгов, удивлений, сомнений — тоже нет. Моя мать так долго была на заработках, что я успел ее забыть до того, как она погибла в автомобильной катастрофе где-то под Неаполем. К отцу, который устал жить с тещей, ни одной претензии. Я тоже быстро устаю от чужих женщин. Я знал, что бабушка умрет раньше меня. Когда она умерла, я подумал, что буду просыпать школу. И что можно вообще не ходить. Я злился. Я так злился на нее.

Один священник сказал мне: «Не казись. Горевание у всех разное... Этому же не учат».

Не уверен, что я горюю. Даже когда мне снится, что я плачу по ней, все равно —



не уверен...

Вставая с кровати, горничная говорит:

— Так убирать я, в общем, не буду, да? Чтоб самой не пачкаться и тебе не мешать.

— Я тут до зимы.

— Не... ну до зимы-то, конечно... До зимы раз несколько обязательно почистим...

Она игриво подмигивает и уходит, оставляя мне мой же запах. Есть какое-то странное чувство, что я переспал сам с собой.

Официально я числился за отцом. А неофициально у нас *на раёне* не принято было будить государство без крайней необходимости. Никто не стучал ни в опеку, ни в участок. Себе дороже. А сами служилые люди бывали здесь неохотно, потому что и страшно, и взять нечего. Державное око приезжало к нам поглядеть на трупы. А я был живой и, в принципе, беспроблемный. Только никак не мог понять, на какие шиши мы с бабушкой ели и пили. Запасов круп и вермишели хватило почти на два месяца. А мыла — почти на год. Росли долги за квартиру, но они росли у всех. И угроза отрезать нас от электричества и водопровода воспринималась как дежурная и несмешная шутка. Хотелось чипсов и мороженого. В отличие от Оливера Твиста, я готов был не только спарывать метки с носовых платков, но даже воровать их. Однако люди, пользующиеся носовыми платками, так до сих пор и не встретились мне в жизни.

Я думаю, что мы никогда не сможем стать другими, непохожими на себя. Шизофрения вроде. Но в любом раскладе, при любых бабках, потолках, люстрах и способах подачи еды мы будем искать и находить таких же, как мы. Только с ними мы будем знакомиться, тащить их к себе, помалу сближаться. Наши верхние и наши нижние будут похожи на нас. Не двойники, но точно — люди без носовых платков.

Я раздавал флаеры, мыл витрины, собирал тележки в супермаркете. Но для этого приходилось ехать или идти пешком туда, где реклама и магазины имеют смысл. Глупо зарабатывать деньги только на дорогу туда, чтобы все время возвращаться обратно. Я стал сторожить библиотеку. Но через несколько месяцев ее взяли на сигнализацию. Заведующая предложила мыть там полы. Тетки платили мне едой. Я по-прежнему хотел чипсов и думал, что могу пойти в бандиты. Я научился драться насмерть. Людей, которым не жалко жизни, теперь я узнаю легко. Стараюсь не брать их на работу.

Дядя Витя...

Дядя Витя *высочил* тогда окончательно. Из кризиса, из долгов, из панельной двушки. Съехав с *раёна*, он все-таки разрешил Лёхе доучиться «по месту» и догулять. Лёху привозили к первому уроку, а вечером, иногда вместе со мной, забирали домой. Дядя Витя построил дом, который казался ему красивым. В нем была моя спальня. И сейчас есть. Они все не знали, как ко мне подступиться, чтобы не задеть самолюбия. Они предполагали, что оно у меня есть. А я не знал, как им сказать, что больше всего на свете хочу чипсов, мороженого и остаться в доме, окна которого выпускали не только свет, но и лес, птиц и даже линию горизонта.

Мы мерились деликатностью и приличиями. И я возвращался к себе, груженный мясом, моющими, носками, кроссовками, штанами, дисками и Лёхой, который часто оставался у меня ночевать.

Если бы я был евреем, то в тот год уже считался бы взрослым.

11.

— А давай вместе на море, — Лёха стоит в дверях, невымытый, небритый, зато с гитарой.

— Тебя заклинило, — констатирую я.

— Охренеет тут сидеть.



Пожимаю плечами. Он прав, но что толку...

Из развлечений в райцентре две дискотеки, бар, ресторан при гостинице, рынок, музей флюсо-доломитного комбината, турник и старый автомат с газировкой. Еще можно в футбол с китайцами. Или в драку. Милиция есть, милиция примет нас любыми.

— У Отличницы скоро днюха, — говорит Лёха, позевывая. — Ща какую-нибудь полечку на родной язык перепру.

— Ты паспорт ее смотрел?

— Она там, че, на фотке голая? — ржет Лёха.

— Заманали они со своими днюхами. Ноль фантазии.

— Не, ну а что ты хочешь, чтобы мы отмечали? День рождения смайлика?..

Я улыбаюсь, поскольку только что тоже посмотрел в Интернете «праздники сентября». Мы оба считаем, что нажираться без повода — большое свинство.

Говорю:

— Может, на речку?

— Дачницы в школе. Понедельник, — ноет Лёха.

— Тогда поспим...

— А вечером же все равно нажремся. Так чего зря время терять?..

Мы притворяемся идиотами. Приседаем в словах и сутулимся в предложениях. Не соскочить в пафос. Не показаться слишком умными. Быть своими.

Лёха ищет невест по размеру и по возможности разговора. Отличницы попадают ему часто. Он обсуждает с ними непостижимости. Сейчас озабочен бозоном Хиггса и разнообразными кодексами чести. Багалии разворачиваются на фоне вселенной. И она, бедняжка, в этих беседах выглядит хитрой, но безобидной матрешкой. Потому что твердость честного слова все Лёхины героини проверяют шпагой, пулей, битвой или расстрелом. Незримый дядя Витя всегда с нами.

Мне достаются осколки этих разговоров. Разгоряченные и недосказанные хвосты. Размахивая ими, Лёха может орать на меня всю ночь. А я на него. Он монархист, а я — народник. Утром мы стесняемся смотреть друг другу в глаза. Споры и слова делают нас неприлично голыми, а постели и бабы — почему-то нет.

Зато мы убиваем время. Его теперь в избытке. А в детстве почему-то всегда не хватало. Уроки — на коленке. Жизнь — во дворе. Пока бабушка была жива, действовало правило «в десять — дома», и к полуночи я был как штык. Потом часами стал работать водитель дяди Вити.

Лёху во дворе недолюбливали — за легкость драки и за то, что он не умел держать зла. Если бились до первой крови, то стоило ей появиться, Лёха сразу отступал и спрашивал: «Ты как?» Протягивал руку. Чтобы побежденному было комфортно, к нему надо проявлять презрение, а не великодушие. Но кто тогда об этом думал...

Когда Лёха съехал, то сразу стал чужим. Гитара вообще всех добила. За прозвище Музыкант он бился на крыше гаража. Зима, скользко. Одна подножка — и ты труп. Лёха падал раза три, разбил башку, порвал куртку до майки. Но победил. Три шва на брови и два на затылке накладывали не ему. Дворовые затаили обиду. Старшие принялись раздевать Лёху в карты. Когда деньги кончались, он играл на все — на рюкзак, на шапку, на часы. Двор был моим и Лёха был моим. «Ты выбирай, пацан, — сказали старшие. — Лёха уедет-приедет, а тебе жить».

Играли в очко, крапленой колодой, в темноте, подсвечивая зажигалками.

— А давай на пальцы?!

— На ноге или на руке?

— На руке, слабо?

— А чем рубить — есть?

— А как же, — старшие достали топор. Двое из них подрабатывали рубщиками мяса. Топор таскали с собой: и в бою хорошо, а если что — с работы шли, начальник, никого не трогали.

— Три раза до пяти побед, — сказал Лёха.



Первую партию они дали ему выиграть. А потом: «Пальцы — сюда».

Можно было сбежать. Но нельзя. Я зарядил Лёхе в нос. Он выключился. Упал в сугроб. Старшие заржали. Я положил руку на стол.

— Нестандартно, — сказал один из них. Остальные кивнули.

Мы все знали, что это выход. За Лёху дядя Витя мог и пострелять. Трупы рубщиков мяса нашли бы нескоро... и не здесь. Но и Лёха бы не зассал, не отступился. Это тоже было ясно.

А так мы все сохраняли лицо. И когда я орал от боли, то народ уже дружно толкался задницами, пытаясь найти мой мизинец в снегу. Обделались все капитально, но переговаривались по-деловому: «Можно пришить... хорошо, что мороз... не попортятся... У нас в холодильниках мясо по полгода... как живое...»

Безымянный палец остался лежать на столе.

12.

Урчит телевизор. Я знаком с ним плохо. Но диалог внутри ящика всегда примерно один и тот же:

— Он просто не раскрылся, давайте дадим еще один шанс!

— Какой шанс? Ему явно не хватает позитива!

В телевизоре явно играют в зомби. Жулят, кусают и временно самоубиваются. Умереть при этом можно два раза. Мертвых спасают иммунитетом или голосованием. Кто раскрылся, тот и победил. Особенно если на позитиве. Сценарии этих шоу, наверное, пишет раскрашенный Мюллер.

Клацаю пультом. Бабушка говорила — «тыцаю». Оба слова неправильные. Натякаюсь на вопрос: «Теперь, после всего, ты жалеешь, что восемнадцать лет назад выбрал ее?» Умница Уилл Хантинг.

Тринадцать, почти четырнадцать.

Нет, не жалею.

Если бы у меня был личный психиатр, он выдал бы что-то про эдипов комплекс. Присвоить мать. Обладать ею. Ай-ай-ай, какая гадость. Пару сеансов — и все лежало бы на полках. Объясненное и понятное. Если бы мой психиатр был гештальтист, а не психоаналитик, то замес мог бы быть и помягче. «Благодарность, детка. Мы часто путаем благодарность и что-то другое... А может быть, это просто поиски комфорта? Личной безопасности? Безусловного принятия?..» В «безусловном принятии» они оба, психоаналитик и гештальтист, пожали бы друг другу руки. И ушли бы на перекур.

Чтобы покурить, надо выйти на улицу. Мы теперь европейцы. На дорогах — сплошные двойные, в номерах — сплошные здоровые. Механизм борьбы с курением запущен через систему «лень жопу оторвать». Своим побочным эффектом он победил уже не только сигареты.

Я завидую своим вымышленным врачам. Они сладко затягиваются и болтают от вольной масти.

— Кстати, это может быть страх. Страх длительных отношений. Вы не находите, коллега?

— Импотенция? — радостно откликается психоаналитик.

— Ну-у... не так сразу... — смущается второй. Я вижу его седым и иногда слышу картавым. — Культ Пйекгасной Дамы, мотив нестабильности, полезный для юношеских подвигов, я бы искал что-то в этом годе. — У моего гештальтиста бывают проблемы с мягкой и твердой «р». Он нравится мне больше.

— Анатомия — это судьба, — вздыхает психоаналитик. — Я бы сначала посмотрел на функциональные особенности организма...

Есть еще санитар. Он циник. Вставляет свои три копейки:

— Засаленный халат, морщины, пузо...

Санитар знает волшебное слово «целлюлит». Мои врачи его жалеют. Говорят: «Есть люди, которые живут с людьми. А есть невезучие особи. Они живут с жирами



и морщинами...»

Мне на эти переговоры — ровно. Я пробовал себя на «как не стыдно», на «бред», на «на хрена оно надо». На истерику и на «ах так». Пытался разобраться в этом, как в медицинской проблеме. Добился мастерства в сравнительных этюдах. Могу на разные голоса сообщить самому себе о том, *что скажут люди*.

Это ничего не меняет. Я больше не жую сопли. Где-то перещелкнулось в небесах — и мне отвалился подарок. Я его принял. Другого не надо. Не хочу.

Единственное, о чем я не могу думать — это реакция Лёхи. В мыслях я плотно закрываю лицо руками и опускаю голову. Если мне выписан стыд, то только перед ним.

В тринадцать лет некоторые народы уже отвечают за свои слова и чувства. Поэтому могут читать Тору и жениться. Может, мне где-то накапало. Хрен знает.

Если сказать об этом с разбега, с какого-то первого воспоминания, то получается, что и до тринадцати я не называл ее тетя Маша. Его дядей Витей — всегда. А ее... Вообще никак не называл.

13.

— До зимы тут сидеть... Рехнемся, Андрюха. А?..

Обедаем в ресторане. «Все свеженькое», но капуста в борще выглядит как жертва псовой охоты. На кухне сломался нож и листья порвали зубами? Мы пропустили что-то важное в моде на еду?..

— Давай по очереди, — предлагаю я. — Неделю ты, неделю я. Или по десять дней.

— Хороший отдых не потянем финансово.

Киваю. Согласен. Деньги не падают с неба. Хотя могли бы. Но дядя Витя суров, как наш закон. Он легко покупает Лёхе машину, но ни копейки не дает на бензин. Вообще ничего не дает. Ничего сверх условно заработанного, которое, кстати, жестко половинит, собирая нам *капитал*.

— Скинем один номер в гостинице. Съедемся...

— Может, хату снимем? Для оптимизации расходов...

Усмехаемся. Знаем, что переходим границу без паспортов и в неподобающем месте. Нам строго-настрого запрещены снятые квартиры и дома, будь они хоть дармовыми виллами, хоть пентахусами. Без администратора жизни нет. Дядя Витя снабжает нас модной техникой. Она поддерживает связь, создает видеокартинку, шлет фотографии и сообщает дурным голосом: «Через триста метров поверните налево!» Иногда мне кажется, что это не мы подключаемся к Интернету, а он сам находит нас, где бы мы ни были.

Есть одно «но», в котором дядя Витя — весь. Он верит в адреса и телефоны на проводе. Только в это.

Круглосуточный администратор не врет, бдит и при необходимости может постучать и во всем убедиться лично. Каждый раз, поселяясь в гостинице, мы знакомимся с персональным надсмотрщиком. Прикидываем, фанатик или возьмет деньги. С фанатиками обычно веселее. Они неумолимы, как система противодымной защиты. Верят в проклятие неиспользованного презерватива и конец света из-за пропущенного завтрака. Бедный дядя Витя...

Но мы все-таки можем снять квартиру. Если там будет телефон, а на нем — сосед.

Я спрашиваю у Лёхи:

— Хату с хозяйкой?

— С подружкой. У Отличницы здесь есть... Тридцатник, без детей. Маленькая. Ща фотку покажу, — он краснеет. А я не могу вспомнить, как это называется правильно — «сводник» или «сутенер».



Говорю:

— Тридцатник... Это где же они познакомились, чтобы так плотно подружиться?

— В школе, — смеется Лёха. — Завучиха.

Хочется закурить. Затянуться, сошуриться, выпустить дым. Сказать взрослым голосом: «Чувствую острый поколенческий разрыв. Мы все-таки не позволяли себе выставлять своих учительниц на панель...» Но Лёхе все понятно и без слов. Ржем вместе.

— Прикинь, заселить какого-нибудь хорька к нашей Вере Ивановне? Чисто по дружбе.

— Он бы сразу сбежал. С порога.

— А она за ним: «Простите, останьтесь. Согласна на краткое содержание... Даже в кратком изложении Толстой примирит нас с действительностью».

Она смешная такая была, наша Вера Ивановна. Всегда белый верх, темный низ. Но мужские ботинки, потому что косточка на ступне больше никуда не помещалась. Волосы красила в огненно-рыжий цвет и делала химическую завивку. Стриглась коротко, но редко. Когда волосы отрастали, голова становилась похожей на гнездо. Сколько ей было лет, она, наверное, не знала сама. Когда Веру Ивановну озаряло, она начинала задыхаться, хваталась рукой за мел и выводила на доске тему сочинения: «Анна Каренина — мерзавка русской литературы», «Что на самом деле стала бы говорить княгиня Марья Алексеевна»... У меня было ощущение, что мы все время строчили на себя доносы.

— «Может ли у моей жизни быть счастливый конец». Помнишь? — Лёха продолжает ржать.

Но мне уже не смешно. Злюсь. Хочу ему сказать, чтобы он перестал пристраивать ко мне телок. Потому что я как-нибудь сам. Потому что он мне ничего не должен и ни в чем не виноват. Он не убивал моих родственников и не разгонял их сраной метлой. Я хочу найти в гуляше мясо, но натыкаюсь на кости. Они, в отличие от капусты, порублены мелко.

Спрашиваю:

— Как думаешь, повараха готовит здесь или приносит обед из дома?

— Ты хочешь и с ней познакомиться? — радостно откликается Лёха.

— Ладно, — сдаюсь я. — Чего вату-то катать, Олесик? Дожуй — и пошли смотреть.

Квартира, которую мы будем снимать, состоит из двух смежных комнат. Холодная вода по часам. Холодильник. Телефон. В трубке гудок. Из аппарата — провод. Есть кухня. Стены до середины выкрашены синей масляной краской. На столе клеенка. Полы деревянные, коричневые. Из ценностей — пульт в целлофане и телевизор к нему. Оба они в «зале».

Хозяйка маленькая. Но не из таких, каким хочется сказать «маленькая моя». У нее длинные, узорчатые, как ковер, ногти, темные волосы, ярко красная помада, сладкие духи. Она знает, зачем я здесь.

Мы будем спать в проходной комнате, потому что дальняя — это ее спальня. Лёха усмехается. Если мы съедем из гостиницы, то выгадаем «на круг» почти тысячу долларов.

14.

С женщинами, как с революциями, нельзя договориться на берегу. Отличницу не пускают на море. Мамаша в позе. Требуется личного знакомства. Обещает накрыть стол. Стол — актуально. Разбалованные гостиничными сосисками, мы ленимся кормить себя утром. От залитой кипятком сухой вермишели изжога. Хочется супчика. Я присматриваюсь к местным курам. Собираюсь похитить. Но наша хозяйка не одобрит и не ошиплет. Ей вообще все не нравится. Наше с Лёхой спанье на диване.



Носки, грязные чашки. Храп. Смех. Не этого она хотела, не о том мечтала.

Вечерами Отличница рыдает на кухне. Лёха держится из последних. Провожать девушку в деревню не на чем. Часто спим вчетвером. Мы в зале, они — в дальней комнате. Все целомудренно, шведы бы удивились.

Через неделю удар наносит начальница почты:

— Я знала о женщинах, которые гуляли с фашистами. Но не думала, что доживу до вот такого.

— До какого? — плачет Лёхина невеста. — Ты скажи — до какого?..

«Взгляд этнографа, — говорила нам университетская преподаша, — сфокусирован на вещах для данного общества самоочевидных, но для исследователя — удивительных». Лёха делал у нее диплом. Поэтому на почту поехал как ученый, а не как ухажер.

Выяснилось, что в этой местности хуже фашистов были женатые мужчины с детьми. В запальчивости Лёха предъявил паспорт. И начальница почты пообещала разрулить вопрос с мамашей.

Мы легко прощаемся с легендой. Саморазоблачаемся перед партией. Точит мысль, что нас купили по дешевке. Потому что администратор в гостинице — не чужой районным женщинам человек. В итоге наш семейный статус давно не тайна, а вопрос принципа. Женщинам важно, чтобы мужчина признался сам. Они не верят слухам, звонкам, подметным эсэмэскам и собственным глазам. В признании — сила?..

С неженатым Лёхой ехать на море можно.

Жданным гостям — стол. Мне нравится дом Отличницы, а я нравлюсь ему. Сыто, спокойно, пахнет жареным луком и пирожками. Мамаша не сердится, но и не заискивает. Я отваливаюсь на стуле и глажу себя по животу. Счастлив. Она собирает тарелки и вдруг ерошит мне волосы. Ладонка маленькая, жесткая. Я накрываю ее рукой. Провожу по своему лицу. Целую.

— Меда хочешь? — спрашивает она.

Не хочу, но понимаю, что мед — это тайный знак самого вкусного. Киваю. Смакую его, набирая из чашки маленькими кофейными ложечками. Думаю, что мог бы вскопать огород и мог здесь родиться.

Ночевать нам не предлагают. Хороший нежный вечер мы с Лёхой завершаем в драке за одеяло. Он орет шепотом:

— Пойди, попроси у этой чем-нибудь укрыться...

Но мне неохота и не холодно. Уступаю.

В первый вечер после отъезда Лёхи хозяйка готовит ужин и приглашает меня к столу. Я ни в каком месте не голоден. Молчу. Слушаю, как тикают большие настенные часы. Когда-то они были с боем. Теперь — с попыткой, похожей на кашель. Каждые тридцать минут.

Пауза. Хозяйка держит ее легко. Тренирована уроками в школе. Я представляю себе, как она стоит у доски и ждет, чтобы все расселись, замолчали и превратились во внимание или лес рук. Мне ее не перемолчать. Спрашиваю:

— Можно выйти?

Она улыбается и выдает:

— Рано или поздно несбывшееся зовет нас.

Грина, кажется, не проходят в школе. Это означает, что я в надежных руках настоящей районной интеллигенции. У нее хорошая грудь, подгоревшая картошка и жестковатая курица.

Спать с ней на диване еще неудобнее, чем с Лёхой. Я ухожу на кухню и, пользуясь своим новым положением, нахально курю в форточку.



Желтый мячик бьется о диафрагму. Ни стыда у него, ни совести.

15.

Со стройки украли кирпичи. Спрятали или продали. По деревне пока не видно. Море у Лёхи теплое. Персики — перебор. Гниют в садах. Можно сделать бизнес. Продать персики я могу только китайцам. Чисто теоретически они могут купить весь урожай.

Приглашаю их на переговоры. Приходят с водкой. Хозяйка зовет подружек — учительницу физкультуры и биологиню. Они затеваются с пиццей. Чужому — чужое.

Китайца, который донес Лёху до номера, зовут Вей. Он предлагает называет его Ваней. Имя второго — Гуй. И мы с девчонками сами знаем, как его называть.

После третьей мы ищем имя-заменитель мне. На «а» у них ничего подходящего нет.

— Мы можем называть тебя Ю. Ю — означает *друг*, — говорит Вей.

— Ю обязывает. Два «ю» — и ты уже советская кошка, — отвечаю я.

Хозяйка смеется. Ее подруги не дают дупль и смущаются. В умножении «ю» им слышится вариант постельного языка.

Я пишу Лёхе эсмэску: «Сами жрите свои персики».

Хороший друг не поставит китайцев в ситуацию самовывоза. Я — китайский, но хороший.

Мою посуду. Выношу мусор. Сажусь на скамейку у подъезда. Достаточно пьян и не занят, чтобы разрешить себе думать.

В самозачете: я — бухой счастливчик, в школе хозяйки нет историков, а без Лёхи тоскливо, как без спины. Надо как-то сказать ему про рубку. Чтоб не маялся. Это только поверху расклад был дружеский. Пацанский. А в том месте, куда изредка добирается водка, нет. Потому что... ну как бы я смотрел *ей* в глаза?..

Весь фокус в том, что я хочу смотреть ей в глаза. И тут никто не при чем — ни Лёха, ни дворовые. Я просто купил себе право смотреть на нее когда захочу, сколько захочу и где захочу. Не считаю, что дорого.

Сижу и смотрю. Кайф... А она не ерошит мне волосы. С тех самых пор и не ерошит.

Потому что знает. И той частью, которой знает, она — моя.

16.

Здесь дождь как снег — не идет, а выпадает. А как выпадет весь — лежит лужами. Резиновые сапоги — первая по необходимости вещь. Но жизненно важные разливы — перед гастрономом, возле турника, около ратуши, где мэр и райсовет — снабжены дорожками. Бессапожные идут по ним гуськом. Я узнаю в дорожках свой кирпич. Не злюсь. Считаю, что он применен правильно.

Наша стройка хиреет. Зарастает травой. Деревни пропадают с лица земли естественно. Тонут себе в природе. Деревни — как мужики без определенного места жительства: до смерти еще исчезают в своих бородах. А городские спальники — латаные и шитые тетки. В какой-то момент они начинают выглядеть как Джоселин Вильденштайн. Косметикой их уже не спасешь.

Обедаю у матери Отличницы. Она показывает мне ее фотографии, похвальные листы и вымпел «Победителю соцсоревнования». Вымпел — материн. В нем нет и не было пользы. Но мне почему-то приятно.

Она спрашивает:

— А потом что?

В вопросе грусть и подвох. Говорю:

— Уедем.



Она кивает. Уезд — обычное дело. Отец Отличницы тоже когда-то уехал. Ничего...

— Жалко вас, — она качает головой. — Молодых всегда жалко. Еще есть чему болеть. Всякая малость — как ножом, как ножом...

Уезжаю с яблоками, виноградом, банкой сметаны и пятью «сегодняшними» яйцами. Моя квартирная хозяйка хмыкает и, кажется, ревнует.

Вечерами мы с ней гуляем по улицам. Местные елисейские поля не длинные и не широки. Триумфальной аркой здесь числится танк, а площадь согласия носит имя партизана Быкова.

Я никогда не был за границей. Ее и назначу целью жизни. Заграницу и фотографии о ней.

Хозяйка постоянно норовит взять меня под руку. Это локтевой захват, а не объятие. Со стороны мы похожи на двух лилипутов, один из которых недавно начал лысеть, потому бреет не только щеки, но и голову. А хозяйке нравится. Потому что *подручность* — это уже намерение, а не просто так. Мы зачем-то обманываем автохтонное население. Потому что на первом ужине после отъезда Лёхи я сказал:

— Не женимся. Детей не заводим.

Она согласилась. А теперь водит меня по городу, как трофей.

Жду Лёху, жду, когда с деревьев спадет зелень и желтизна, жду снега и законной календарной грязи. Не хочу прорастать в сумку с картошкой и телек по вечерам. А во что хочу?.. Универсальный ответ *хэээ* не устраивает меня как носителя «х». Если полагаться на его знание, то нет смысла дергаться. Ему везде хорошо.

17.

Лёха возвращается с лицом кавказской национальности — не просто смуглым, а очень черным. Черным, белозубым и с бородой. Он выглядит как абрек Казбич. А ведет себя как Печорин. Отличница ему надоела. Она невпопад смеется и мимо Лёхи плачет. В ней все теперь не так. Она неуклюжая, болтливая, под ней скрипит табуретка. Она под всеми скрипит, но противность получается только у Отличницы. Ее нелепости видны, как прыщи на носу. Только они и видны. Хочется, чтобы она заткнулась. За нее то стыдно, то грустно. Она не знает, как ей выбраться теперь из Лёхиной нелюбви. Она не верит, что это происходит с ней. Что это вообще происходит. Чтобы ее не жалеть, я думаю о том парне, который вот-вот должен вернуться из армии. И понимаю, что парня никакого нет. Нет и не было. Зато есть Лёха. Только срок его вышел. Наша стройка сильно затянулась.

Почти каждый вечер мы играем в карты. Китайцы, мы с Лёхой, хозяйка с Отличницей. Чаще всего в дурака. Если Вей приходит с биологиней, то режемся пара на пару. На раздевание. Интерес к тому, что в биологине нового-голового, вялый. Но все-таки — интерес. Еще мы всегда ждем Гуя. Потому что кого-то надо ждать и потому что он приходит с водкой, за которой всем лень идти. Дверь для Гуя всегда открыта.

Но взамен него на кухне появляется посторонний мужик. Хмурый и датый. Вместо «здрасьте» он говорит хозяйке:

— Радуетесь, сука?

Наверное, муж. В чужих семейных разборках правильно бы встать и уйти. Но уже не очень ясно, где тут чужие и где свои.

— Ты кто сюда звал, дядя? — спрашиваю я.

— Закрой пасть, обрубок недоделанный, — отвечает он. Дергается в мою сторону. Сейчас он мне покажет, если не упадет по дороге.

Лёха встает из-за стола, делает два шага и один резкий тычок мужику в живот. Цедит:

— Ты на кого ща выступил, мудрило?

Я у Лёхи за спиной. Я не вижу резких движений. Все плавно и медленно.

Лёха оседает на пол. Вей одним движением сбивает с ног мужика, вяжет его хозяйкиным фартуком. Хозяйка оттягивает Вея. И фартук и мужик ей — свои. А потому она спокойно и трезво моет и вытирает нож. Биологиня в лифчике и юбке дает звук:

— И-и-и...

Зверски изнасилованная скрипка.

В дверях, в коридоре — Гуй. Гуй с водкой. Он ставит бутылку на полку под зеркалом, опускается на колени и шепчет:

— Господи, помируй... Господи, помируй...

Отличница кричит:

— Искусственное дыхание. Рот в рот. Рот в рот...

— Какая дура, всё бы ей в рот, — морщится Лёха.

Я сажусь на пол и кладу его голову себе на колени. Он не сопротивляется. И еще пару секунд я не вижу, как красное пятно расплзается по его футболке, потому что Лёха закрывает рану рукой.

— Все нормально, малой. Все путем... Давай врача, что ли...

Правильный офицер сам будет командовать своим расстрелом. А я — снова малой. Потому что наползает детское — испуганное, с подрагивающей выпяченной губой. Я думаю о себе. Слова не собираются толком. Прыгают.

Лучше бы интернат... Там кормят... Училище — не страшно: профессия... Есть квартира... Надо было уйти. Понять дистанцию. На ней дружить. Не прорастать... А ее — видеть изредка... Жить по касательной, невидимкой, на чаевые... Официант может плюнуть в суп, но не может принести боль...

Как ей теперь со мной?..

Мне теперь как?..

— Я вызову скорую, — кричит Отличница и бросается к телефону, у которого, как и хотел дядя Витя, есть провод и диск.

Вей присаживается на пол, осторожно отводит Лехину руку. Говорит:

— Тут зажать. Держать. Ты. Тут держать я.

— Ты мне еще иголки вставь, — шутит Лёха.

Я улыбаюсь. Есть надежда, что биологиня прекратит орать, что в машине скорой будет бензин, а в больнице — хороший врач, из каких-нибудь ссыльных. И что православный китаец Гуй не перестанет молиться.

Я встраиваюсь в канал, который он держит. Говорю.

Может ли быть у жизни счастливый конец? Да, дорогая Вера Ивановна. Вполне. У меня, обещаю, он будет такой. Я останусь здесь. Женюсь на хозяйке или на Отличнице. Запомню их имена. Буду копать огород. И — историком в школе. Никакихстроек и переездов. Ждать урожая. Не открывать глаз. Между ресницами — мир, который не изменится никогда. Его хватит. А счастье — это траектория мимо жизненно важных...

И больше мне ничего не положено. Да и не надо.



Василий КОСТРОМИН

ПТИЧЬЕ УТРО

* * *

Как зверь, теряющий берлогу,
Встречаю солнце каждый день.
В созвездьях — пепел деревень.
В подъезде — крошево порога.
Над толщей каменной воды
Шумят реликтовые рощи...
О времени, где люди проще,
Расскажут листья лебеды.

* * *

От гальки рек, бегущих вдаль,
До искр, летящих к звездам,
Тропинку превращает в сталь
Мир, что когда-то создан.

За осенью зима пришла,
Весна вернула лето.
Береста душу обожгла,
А пальцы — сигарета.

* * *

остановлено время кровавой женой четверга
то что ты не попросишь у жизни ее городов
к полыхающим веткам приближена ночью ярга
непроглядная оземь прошла без собольих следов

у могилы огромной пока занимался закат
одинокие руки на гальку с глубокой водой
переставят деревья обреет береста снега
дверь захлопнута настезь зеленою злобой одной



* * *

Любое слово, сказанное вслух,
Вибрирует пред тем, как расколоться.
Язычество небесного колодца.
Мелькают цифры верстовых козлух.

Утрами ворон проверяет след...
Над сединою молодого снега
Темнеет полоса чужого неба,
Текут дома по склону долгих лет

И погружают дождевой навес,
Речную ртуть двуглавой черепицы,
В хрустальный звон, которого боится
За мной безмолвный уходящий лес.

* * *

Когда не закрыта
У печки чугунная дверца,
От пламени быта
В верхонку запрятано сердце.

На лестницах леса
Круглы легендарные лики,
Кроваво железо
На запонках черной брусники.

От камня до камня
Полоска земли плодородной...
Она велика мне,
Как сито на кухне голодной.

* * *

Раствор калитки после перебранки,
Сквозь изумруд заброшенной дороги,
На поводу невидимой огранки,
Привычный путь от радости к тревоге.

Но незнакомы с расторопной властью
Над этими лесами и полями
От грома потемневшие подглазья
И радуга дверей за тополями.

Слепое счастье жителей избушек
Проникло в измерение иное:
В стропилах неба, звездами набухших,
Луны качнется кресло ледяное.

Светилу хорошо остановиться
На медленном от холода восходе,
Под взглядом неподвижным, как у птицы,
Под запахи, которых нет в природе.



Камень помнит только лыжи,
Ослепительный полет.

Снег и небо,
снег у неба
Словно в прислугах теперь.
Золотою коркой хлеба,
Полосой открыта дверь.

* * *

Бродяге — отрада
Приветливый дом.
Душа как пичуга взлетает.
Колодец, отрада,
Водичка со льдом...
В ней плещется нить золотая.

В угрюмье бездомном
Погосту и тост:
Уйдем в никуда — как в спасенье!
Пусть ночью над склоном,
Как сказочный мост,
Кольшется стланик осенний.

* * *

Я, вынимая трубку, помню далекую речь,
А, выпуская дым, молю: не угробь...
Из утиной дробы получится волчья картечь,
А из волчьей картечи не выйдет утиная дробь.

Вы, великие, а где же ваши мечи?
Вы, ужасные, а где же щит со стрелой?
Пусть звенят перед доброй золою лучи
И вырастает дерево, распиливаемое пилой.

* * *

Здесь нету убитых, здесь без вести нету пропавших,
Здесь красная глина с зелёной травой — как нижний этаж.
Предав свои корни, потом по дешёвке продашь их...
Бесстрастен, как скальпель, гранённый судьбой карандаш.

Движение вспять начинается черным обрывом.
Движеньё в обход — новогодней от звёзд полыньёй.
Ветра, как и прежде, владеют сосною по гривам,
И снег под ногами скрипит, словно перед войной.

* * *

Разлетелись листья, словно дети.
В завтрашнем дожде не счесть каратов.
По стволам ружья гуляет ветер.
Годы — волчьи шкуры на оградах.

Дни — забытый запах каравая.
Жизнь — тоска осенняя по вёснам.
Ночь — уход со службы в звон трамвая.
Словно край земли под небом звёздным.

* * *

Для чего я жив? Чтобы услышать
Тихую вечернюю зарю.
Чтобы под травой шуршали мыши
От апреля ближе к октябрю.

Берегом от матушки-Анзёбы
Схоронился батя-Моргудон.
Для чего живу? Услышать чтобы
Зимним утром колокольный звон.

* * *

Ночью тепло у случайной печи.
Пламя гудит и клокочет,
Словно печник уложил кирпичи
На заполярные ночи.
Кануло в Лету моё бытие.
В косточках выросли травы.
Воздух — колючее наше питьё
У ледяной переправы.

* * *

Всё дальше быстрая река
И тени рыб на дне,
И грозовые облака
В распахнутом окне.

А здесь — есть снег и есть костры,
И русские, и Русь...
Но нравы здешние быстры
И навевают грусть,

Волною отраженье звёзд
Вдоль берега гоня,
Где тысячи безлюдных вёрст
До ближнего огня...

Жизнь уложив в один листок,
В безмолвных строчек бег,
Письмом отправил на восток
Встречь солнцу человек.

Неугомонная юла —
Жестокая земля.
Листва дорогу замела
В былинные края.

Евгений ВИШНЕВСКИЙ

ТАЙМЫРСКИЙ РОБИНЗОН

Главы из повести

*Светлой памяти моего друга, полярного геолога
Льва Васильевича Махлаева посвящаю.*

Глава 1

Иван Сергеевич, заместитель начальника рыбкоопа заполярного поселка Хатанга, расположенного на восточном Таймыре, на берегу большой реки с тем же названием, отправил семью в отпуск к теплому морю, а сам остался дома.

Отпуска у северян в ту пору, в шестидесятых, были огромными — до полугода, а то и больше. Существовала тогда в высокоширотной Арктике у штатных сотрудников такая льгота: если полярник улетал в отпуск на материк раз в два года (а уезжали северяне чаще всего в какой-нибудь крымский или кавказский санаторий), ему полностью оплачивалась за счет государства не только дорога в любую точку страны, но также выдавались бесплатные путевки туда, куда желала его душа. Страна ничего не жалела для своих героев. И касалось это не только самого северянина, но и всех членов его семьи. Но очень часто уже к середине отпуска бездельное лежание на песке под ласковым солнцем в Крыму или на Кавказе так надоедало, что человек, не догуляв положенные дни, бросал все и раньше времени возвращался в Арктику к снегам, льдам и морозам.

Поначалу Иван Сергеевич собирался лететь в Крым вместе с семьей и даже оформил отпуск, проведя его приказом. Но в тот год на Таймыре случилась небывало теплая и затяжная осень. Столь любимый местными рыбаками юго-западный (*рыбный*, как они называли его) ветер дул весь сентябрь, паковые льды отнесло далеко от берега, и корабли с Большой земли могли ходить по чистой воде через Хатангский залив моря Лаптевых до причалов поселка лишний месяц. Северный завоз, сроки которого по заведенному порядку давно уже истекли, закончился, а корабли на север все шли и шли. Хатангский речной порт работал с полной загрузкой. На целый год для предприятий и учреждений восточного Таймыра, его погранзастав, гидробаз, полярных станций, авиаотрядов, для всех жителей Крайнего Севера огромные склады под гофрированным алюминием под самую крышу набивались мешками с мукой, сахаром, крупами, консервами, бочками с бензином, соляровкой, машинным маслом и дизельным топливом, одеждой, обувью, а также всяческими товарами, необходимыми для жизни.

— Таскать — не перетаскать! — радостно потирали руки партийные и хозяйственные отцы поселка, глядя на разгрузку неожиданно свалившегося им на голову



изобилия. — Запас карман не трет — кто знает, какая ледовая обстановка будет в будущем году... А у нас теперь хороший запасец имеется. Да и зиму с весной проживем не впроголодь, поживуем.

Ивана Сергеевича попросили на месяц с отпуском повременить: товары, завезенные с Большой земли, надо было принять, разместить, оприходовать и, пока стоит такая благодатная погода, развезти на *гидрачах*, самолетах «Ан-2», поставленных на поплавки, рыбакам и промышленникам, работающих по договору с местным рыбокоопом. А заодно и проверить, как те готовы к долгой полярной ночи и зиме, поскольку потом месяцев семь, а то и восемь добраться до них будет совершенно невозможно. Начальник Хатангского рыбокоопа, находившийся в отпуске на Большой земле, хотя и слал одну за другой радиogramмы, что буквально через два-три дня будет на рабочем месте, в поселке пока что не появился. Так что фактически начальником пришлось побыть Ивану Сергеевичу. Чтобы не переделывать все документы, договорились, что вернуться из отпуска ему разрешат месяцем или даже двумя позже — все равно зимой всякая жизнь в поселке замирает, люди будто впадают в спячку.

Уже вечером того дня, когда улетела на Большую землю семья, в его осиротевшее жилище потянулись друзья. Все знали, что теперь он в своей шикарной двухкомнатной квартире остался на холостяцком положении, так что здесь может сам собой возникнуть мужской клуб. Заместитель начальника рыбокоопа с женой и двумя детьми блаженствовал на первом этаже единственного на весь поселок кирпичного трехэтажного дома с отоплением, канализацией, холодной и горячей водой и даже ванной (во дворе этого элитного дома круглый год топились углем собственная котельная). Остальной оседлый народ Хатанги проживал в деревянных бараках без удобств или в комнатах аэропортовской гостиницы. Эта гостиница по своему статусу предназначалась только для пассажиров местного аэропорта, который, кроме всего прочего, считался запасным аэропортом Норильска на случай нелетной погоды и неожиданных обстоятельств. Гостиница имела четыре этажа, была построена на средства Норильского горно-металлургического комбината и даже числилась на его балансе, но на трех этажах в ней жили летчики местного авиаотряда с семьями, в коридорах слонялись длинношерстные могучие ездовые псы, там же зимой играли дети — полярной ночью на улице в Арктике не очень-то поиграешь. Пассажиров же размещали в комнатах первого этажа, в красном уголке, столовой и даже в некоторых подсобках.

Но друзей Ивана Сергеевича, предвкушавших бесшабашное мужское веселье с загулом как минимум на неделю, ожидало разочарование. Разудалого застолья не получилось.

— По одной выпьем, — твердо сказал хозяин, — но не больше. По русскому обычаю — посошок на дорожку семье. И все — больше я сейчас не пью и вам не советую! Тут ведь только начни — я себя знаю, да и вас тоже. Мне на работу завтра с утра, а там дел — выше крыши.

Гости попробовали было протестовать, но хозяин оказался тверд — выпили только по одной стопке водки под оставленные супругой борщ и котлеты из оленины, после чего все посторонние были из дома безжалостно выдворены.

Впрочем, твердости хватило Ивану Сергеевичу только на неделю. Тем более что к этому времени с самыми срочными делами было уже покончено, оставались лишь кое-какие мелочи. А тут еще один знакомый рыбак с мыса Цветкова, которого стараниями сердобольного начальника рыбокоопа на три дня удалось вывезти в поселок с сильнейшей зубной болью, в знак благодарности преподнес ему здоровенного, в пуд весом, икрного муксуна.

— Спасибо тебе, хозяин, — со слезами на глазах сказал при этом благодетельствованный промышленник. — А то ведь я уж всерьез сам собирался себе этот распроклятый зуб пассатижами рвать. Боль такая — на стену готов был лезть. А теперь мне хоть бы что! — и он радостно щелкнул вылеченными зубами. —



У меня же ведь сезон добычи пушнины на носу. Я уж тут с геологами договорился: они сегодня в обед на вертолете полетят своих ребят из бухты Марии Прончищевой снимать, вот и меня с собой захватят. По дороге присядем ко мне на косу — и все дела!

От предложенной бутылки («Такого муксуна надо обмыть!») он наотрез отказался, заявив, что в тундре не пьет, а сейчас почти что на работе. После чего, низко кланяясь и слезно благодаря, отбыл.

Иван недолго ходил кругами вокруг своего кухонного стола, на котором, свесив на одну сторону голову, а на другую — гигантский хвост, лежал роскошный подарок. Первым делом он выпотрошил гигантскую рыбину, набив мусорное ведро жирными потрохами, жабрами и багрово-коричневыми сгустками. Потом нежнейшей бледно-розовой икрой доверху наполнил трехлитровую банку, предварительно убрав ястычную пленку, а затем аккуратно вырезал и рыбью печенку. Не откладывая дела в долгий ящик, вынес отходы производства на помойку и вывалил их в мусорный ящик.

Возвратившись, он начал священнодействовать. Достал большой кусок марли, сложил его в несколько слоев и засолил там икру, приготовив знаменитую таймырскую *пятиминутку*. Затем принес из кладовки большой эмалированный таз, вымыл его со щеткой и мылом, насухо протер, нарезал муксуна некрупными кусками, сначала отделив огромную, как у небольшого крокодила, голову, а также плавники и хвост — на уху. Потом приготовил смесь из соли и сахара, из расчета два к одному, и пересыпал ею нежное мясо муксуна. Затем достал из-за кухонного стола большую алюминиевую крышку, накрыл таз и начал изо всех сил трясти просаливающуюся таким образом рыбу. Куски муксуна прыгали у него в тазу, как поросята в мешке.

Вскоре он вспотел, но продолжал трудиться, несмотря на появившуюся дрожь в руках. Минут через десять, решив, что продукт готов, открыл таз, попробовал кусочек и остался доволен.

— Да-а, — задумчиво произнес он, — помнится, кто-то из советских писателей сказал, что такую рыбу грешно есть помимо водки... — И, немного подумав, добавил: — А икру — тем более!

После чего вынул из холодильника бутылку водки и поставил ее на стол рядом с большой глубокой миской малосольной рыбы и хрустальной вазой, полной икры. Остальную рыбу он сложил в большую эмалированную кастрюлю и поставил ее в холодильник. Туда же убрал и трехлитровую банку с остатками икры-пятиминутки.

Тем временем закадычные дружки Ивана, словно почувствовав перемену настроения, начали один за другим стекаться к нему домой. Первым явился уже хорошо подвыпивший дружок Сашка Пряников, диспетчер с гидробазы, голубоглазый гигант в сером пушистом свитере.

— Временно изгнан из семейного рая, — торжественно объявил он, доставая из большой клетчатой сумки бутылку «Столичной» и стеклянную полулитровую банку салата «Охотничий» из маринованных овощей. — Примешь на постой?

— Чего же с тобой делать? Приму. Опять с Лариской поцапался? — усмехнулся сердобольный хозяин. — Селись, не впервой...

Весь поселок знал, что Сашка и Лариса Пряниковы, жившие душа в душу, регулярно расходятся с жутким скандалом, сопровождающимся непременным боем посуды и горькими женскими слезами, с которыми Лариса выставяла своего обожаемого в промежутках между ссорами мужа на улицу. Через два-три дня, теперь уже со слезами раскаяния, она прибегала к ненаглядному мириться. После чего счастливая семейная жизнь у них продолжалась до следующего конфликта.

— Нет, ну рассуди сам, — срывая зубами колпачок с бутылки, говорил Сашка. — Ребята на «Гидрографе» уходят вниз по реке до моря Лаптевых, а потом вдоль берега на север и дальше — на запад, к мысу Челюскин. Дело серьезное: север, подвижки льдов, ветра — это тебе не шуточки! Должны мы были им отходную устроить?!

— Должны, — согласился хозяин, поставив на стол к миске с малосольным муксуном и вазе с икрой пару хрустальных стопок.

— Ну вот, — обрадовался гость, как будто ответ мог быть каким-то другим. — А эта курица в крик: «Опять нажрался на работе! А я большую стирку затеяла! Что же мне, беременной, самую воду таскать да помои выливать?! Аспид ты и враг рода человеческого! У нас же ни одной чистой простыни не осталось — срам смотреть, на чем дети спят!» Сам посуды, Сергеевич, при чем тут простыни...

— Э-э, а хлеба-то у меня ни крошки нету, — заметил вдруг хозяин, прерывая трогательный рассказ друга. — Рыбой-то можно и так закусить, а икрой-то как без хлеба закусывать будем?..

— Как это — нету хлеба?! — со смехом пророкотал сочный бас. — А это вам что, не хлеб? — В дверях стоял старший лейтенант пограничной службы Сергей Загоруйко, потрясая еще теплой буханкой.

— Здорово, Серега! — обрадовались новому гостю друзья.

— Шел мимо, — говорил между тем пограничник, усаживаясь за стол. — Дай, думаю, к Сергеевичу загляну. Как он там один...

— А как ты догадался, что у нас хлеба нет? — спросил удивленный Сашка.

— Да ни о чем таком я и не догадывался. Просто хлеба себе домой купил... Впрочем, теперь это все равно. Режь! — подал гость буханку хозяину. — И у меня тут еще кое-что есть... — Он достал красивый длинный граненый флакон, на красной этикетке которого был изображен симпатичный горький перчик и красовалась надпись: «Украинская горилка с перцем», а чуть ниже — «Здоровеньки буль».

— А эта благодать откуда? — удивился Иван Сергеевич. — Нам такой роскоши не завозили. Я точно знаю.

— Кому же и знать-то, как не тебе, — хохотнул Сашка.

— Вот яйца куриные в магазин самолетом завезли — это точно... — уточнил торговый начальник.

— Знаем-знаем, — подтвердил пограничник. — Позавчера пассажирским бортом на «Ил-18» они к нам прибыли трансарктическим маршрутом: Амдерма — Салехард — Диксон — Хатанга — Тикси, далее везде. И в каждом порту по здоровенному ящику их, милых, выгружали...

— Точно, — подтвердил начальник. — А вот про горилку с перцем мне ничего не известно.

— Да это нам у одного солдата из посылки конфисковать пришлось. Ко дню рождения домашние, видно, решили сынка порадовать, — смущенно сказал командир и потом поспешно добавил: — Рядовому составу спиртное в мирное время устав запрещает.

— Устав — дело святое, — согласился Сашка и любовно погладил этикетку на флаконе. — С нее, родимой, наверное, и начнем? Вмажем по первой! За все хорошее! А?..

— Да у нас уж по стопарю «Столичной» налито, — смущенно развел руками хозяин, — не выливать же ее теперь...

— Боже упаси! — испугался Сашка. — Начать можно и со «Столичной». А потом продолжим горилкой...

Выпили по стопке «Столичной», сосредоточенно понюхали по косому ломтю вкусно пахнущего хлеба и неторопливо закусили розовой икрой и малосольной рыбкой.

— Хороша икорка! — закатив к небу глаза, сказал Сашка, — гораздо лучше черной, не говоря уже о красной.

— Да и рыба-малосолка не хуже, — поддержал друга пограничник.

— Икра белорыбиц — кремлевский деликатес, — пояснил хозяин. — Правительственная закусь. Она пикантная, как красная, и бархатисто-нежная, как черная. Погодите, у меня же еще салат из муксуньей печени есть! — и он вышел на кухню.



— А про яйца эти в Амдерме, в местной многотиражке, даже появилась заметка под названием «Первый самолет с яйцами», — вновь завладел вниманием собутыльников пограничник. — Нам ребята с местной погранзаставы по ВЧ-связи передали. Сама-то заметка обычная, пустячок, можно сказать, ничего особенного, но название!.. «Первый самолет с яйцами»! Раньше, дескать, таких чудес в природе не было! — И друзья за столом разразились бурным хохотом, представив себе это чудо.

— Что за шум, а драки нету? — в раскрытом окне появилась вихрастая физиономия долговязого Олега Коваленко, второго пилота с единственного оставшегося на ходу в Хатангском авиаотряде вертолета «Ми-4».

— А нету — так будет! Заходи! — скомандовал основательно захмелевший Сашка.

— Зайти-то, конечно, можно, но только желательно через магазин, — засуетился Олег.

— Зачем? — удивился Сашка. — У нас тут все есть.

— Что же я, к дружескому столу с пустыми руками явлюсь? За кого же вы меня держите!

— Ладно, кончай из себя казанскую сироту строить! Как у нас горючка закончится, тогда и побежишь в магазин. А сейчас — валий к столу! — строго сказал хозяин, появившись из кухни с миской пикантного салата, на скорую руку изготовленного из муксуньей печенки, сваренной на пару.

— Ладно, — согласился Олег, — хозяин — барин. Тебе виднее.

Вскоре он уже утвердился за столом на своем излюбленном месте у окна и стал торопливо разливать украинский деликатес, гипнотизировавший всех.

— Чтоб наши дети не боялись паровоза! — провозгласил Олег, поднимая стопку горилки.

— Какого еще паровоза? — не понял Сергей. — Откуда тут взяться паровозам?

— Ну... чтобы они никогда подолгу не жили здесь, — пояснил Олег. — Паровозов, ты правильно заметил, тут нет и не предвидится. У ихних-то сверстников на Большой земле вся жизнь, считай, рядом с паровозами проходит. Вот они его и не боятся. — Он подцепил вилкой кусок малосольного муксуна и, распробовав его, восхитился. — Рыбка — класс!

— Передаю штормовое предупреждение, — значительно сказал Олег, подняв вверх указательный палец. — На той неделе Кольке, механику-дизелисту с рыбзавода, отцовскую гармонь по почте прислали. Говорят, отец его там, у себя на Тамбовщине, знатным гармонистом был. И перед смертью гармонь сыну завещал. «Передайте, — сказал, — гармонь Кольке моему. По себе знаю: шибко любят гармонистов девки. Пусть пользуется». И с тем помер.

— Ну и что? — не понял Сашка.

— А то, что Колька теперь с этой гармонью по всем компаниям ходит...

— Да он играть-то на ней умеет?

— В том-то и дело, что нет. Столько скандалов из-за этого в поселке уж было, не рассказать, — озабоченно махнул рукой Олег. — Как чуток выпьет, давай на своей гармонии пилить «Тына-тына, у Мартына»... Он ведь и сюда прийти с нею может.

— Ну и пусть приходит, — пожал плечами Сашка. — За стол посадим, стопку нальем, а гармонь отыдем. На время, конечно. Потом отдадим: отцовский подарок — святое дело.

— За родителей! — сурово сказал пограничник, который к тому времени успел наполнить всем стопки горилкой, опасаясь, чтобы она за длинными разговорами не согрелась. — У кого живые — дай бог здоровья, у кого нет — светлая память!

И все сосредоточенно выпили, а потом долго молчали, закусывая.

Тут раздался стук в дверь. Стучали ногой.

На пороге стоял грязный и улыбающийся коচেгар Витя в засаленном комбинезоне. Из накладного кармана у него торчало горлышко бутылки все той же «Столич-

ной». Кочегар протягивал навстречу друзьям, сидящим за столом, свои чудовищно грязные, огромные, как совковые лопаты, ладони, в каждой из которых уютно, словно в гнездышке, лежало по два куриных яйца.

— Плохо работают твои магазины, Ваня, — попрекнул новый гость хозяина квартиры, — совсем нету отпускной тары. Никакой! Рис и пшено людям продавцы прямо в карманы сыплот. И под яйца тоже ничего не дают. А я подумал, неплохо было бы нам к стопарику яишенку сварганить. Вот и пришлось мне...

— Марш в ванную, черт чумазый! И смотри у меня, грязнуля, чтобы руки и рожу вымыл с мылом, — сквозь смех скомандовал Иван, забирая подарок. — Как не стыдно приходиться в приличный дом в таком виде — ты же грязнее поповой собаки!

— Да я же прямо с работы, — оправдывался тот.

— Ну и что? Зашел бы сперва домой, вымылся, переоделся в чистое... — подержал хозяина Сергей, ловко выхватив у гостя бутылку «Столичной» из засаленного комбинезона.

— Ну да, выпустила бы меня потом Надька к вам из дому! Держи карман шире! — Кочегар отправился в ванную приводить себя в порядок, а хозяин вновь удалился на кухню, и гости уже скоро почувляли запах яичницы.

Украинскую горилку тем временем разлили по стопкам, а опустевший флакон отправили в дальний угол, чтобы не мозолил глаза. Вместо него на столе появилась двухлитровая банка мутного виноградного сока какого-то сомнительного Ура-Тюбинского винозавода Таджикской ССР, а следом за нею хозяин в центр стола водрузил раскаленную сковороду с хлюпающей там яичницей-глазуньей.

— Ну как там твой? — спросил Сергей хозяина, чтобы поддержать разговор. — Небось, уж в теплом море плещутся...

— А чего им еще-то в Крыму делать? — пожал плечами тот. — Телеграмму прислали, что долетели благополучно. В санатории устроились. Пишут, что кормят хорошо...

— Не думаю, что лучше, чем здесь, — кивнул головой на стол Олег.

— Это точно, — вздохнул отяжелевший Сашка. — Если где и можно пожрать от души, так это на севере...

— Особенно раньше, во времена «Арктикснаба», — с улыбкой вспомнил хозяин. — Тогда ведь сюда свои собственные полярные консервы везли, а не это говно... — он кивнул на банку с виноградным соком. — Я ведь те времена еще застал. Помню консервы «Вареники с вишнями по-полтавски». Выпускали их в специальной двойной жестяной рубашке. А сверху был такой узенький желобок с негашеной известью. Водички туда нальешь — известь гасится, выделяется тепло. Банка сама собой раскрывается, а внутри, за второй рубашкой, крошечные варенички на один глоток, и в каждом — по крупной спелой вишне, уже без косточки. При этом аромат такой, что голова кружится, и вареники горяченькие на любом морозе!

— Да-а, были времена, — задумчиво согласился Олег.

Тем временем из ванной появился кочегар, свежий и чистый, одетый в синие тренировочные штаны и пижамную рубашку хозяина. Свой комбинезон, компрометирующий его перед товарищами, он оставил в ванной.

— Вот это другое дело! — обрадовался Иван Сергеевич. — Другой человек! Валяй скорее за стол. У нас там уж все стынет и согревается.

— А за что пьем-то? — деловито осведомился кочегар. — Я ведь без тоста пить не буду. Не алкаш какой-нибудь.

— Ишь ты, интеллигент нашелся! — изумился Сашка, приподняв голову от стола.

— Но-но-но! — грозно помахал пальцем у него перед носом Витя. — Северных обычаев не знаешь?! Водку пить и баб любить — дело сугубо добровольное!

— Какие еще бабы? Откуда?.. — не понял уже мало что соображавший Сашка.

— Предлагаю тост — за крепкую мужскую дружбу! — выдал Сергей. — За взаимовыручку и надежность... В труде и в бою!



— Вот это другое дело. За это можно даже выпить стоя! — Витя торжественно встал и лихо ткнул стопку с украинской горилкой. Глаза его удивленно округлились, он на несколько мгновений задержал дыхание, потом выдохнул и, плюхнувшись на табуретку, заявил: — Хороша-а-а!..

Все сосредоточенно выпили и вновь потянулись к деликатесам хозяина. Опять повисла небольшая пауза.

— А что, может, споем? — неожиданно предложил Сашка, временно пришедший в себя.

— Музыка нету, — развел руками Витя.

— Колька с гармошкой еще не подошел, но непременно будет, — засмеялся Олег.

Между тем за окном уже была полная темнота. Ранние полярные сумерки сменились настоящей ночью. Небо покрылось крупными, какие бывают только на Крайнем Севере, искрящимися звездами, а на темно-синей тучке ломтиком дыни на тарелке лежал узкий серп ослепительно желтой луны.

— Что за погода нынче стоит? — удивился Витя. — Октябрь месяц на дворе, а ни одного заморозка еще не было. Может, в этом году зимы и вовсе не будет?

— Будет, будет, — успокоил товарища ненадолго проснувшийся Сашка.

— Здорово, войско польское! Что обмываем? — послушалось с улицы.

— Здравия желаем, Константиныч! — весело гаркнул в раскрытое окно нерастерявшийся Олег. — Милости просим к нашему столу. Мы тут за крепкую мужскую дружбу пьем...

— И за взаимовыручку, — добавил пограничник. — Так сказать, сам погибай, а товарища выручай!

— Знаю я вашу взаимовыручку. Смотри у меня, Олег. Если, как в прошлом году, опять на неделю отправишься в запой, спишу вчистую из авиации за пьянку, не посмотрю на заслуги! — Командир вертолета «Ми-4» Петр Константинович Ястребов направлялся в поселковую баню. В одной руке командир нес щеголеватый портфель с чистым бельишком, в другой — завернутый в газету березовый веник.

— Так у нас месячная саннорма вышла, Константиныч. Ты же сам знаешь, — начал оправдываться Олег. — Трое суток еще наших. По закону...

— Это я тебя просто предупредил, — строго сказал командир и отправился дальше.

— Петя, погоди! — крикнул ему вслед Иван. — Может, все-таки на пару минут заглянешь? Муксуна знатного мне Кеша с мыса Цветкова презентовал. Икрыного. Отведась?..

— Нет, Ваня, раз уж я собрался в баню, в баню и пойду. На обратном пути, может, загляну...

— Вот это верно, — поддержал командира Олег. — Александр Васильич Суворов говорил, что после бани хоть ружье заложу, а чарку водки — выпей!

— А может, и не Суворов это говорил, а Кутузов, — задумчиво сказал Сергей. — Или даже Барклай-де-Толли...

— А это кто такой? — изумился Сашка.

— Тоже полководец, — махнул рукой Олег. — Предлагаю всем налить и выпить за наших отцов-командиров.

— Кто-то там, помнится, в магазин собирался, — встряхивая последнюю бутылку «Столичной», на дне которой плескались жалкие остатки драгоценной влаги, сказал хозяин. — Если идти в магазин, то надо прямо сейчас, иначе он через полчаса закроется.

— Тебе-то уж откроют и отпустят, — заплетающимся языком сказал Сашка.

— Кто? — спросил Иван Сергеевич. — Сторож? Или, может, мне домой к продавщице Клаве идти? Уговаривать ее открыть магазин для того, чтобы продать мне пару пузырей водки? Как я буду выглядеть потом в ее глазах, представляешь?..

Тут в дверь квартиры позвонили.

— Заходите! Открыто! — гаркнул Сашка. — Принимаем всех!

Дверь робко приотворили. На пороге стояли, переминаясь с ноги на ногу, двое. Один — маленький, широкоплечий, почти квадратный, в неопрятном растянутом свитере и полусползших с живота брезентовых штанах; другой — высокий, худой, в меховой кацавейке и шапке-ушанке. С плеча у маленького свисала на ремне гармонь.

— Здравствуйте, гости дорогие! Вот они, легки на помине! Явились — не запылились! — саркастически заметил Олег. — А уж мы вас ждем, ждем...

— Сергеевич! — не обращая внимания на издевательский тон второго пилота, обратился к хозяину тот, что был меньше ростом. — Тут вот какое дело... Друг мой Витя, мы вместе с ним два сезона на мысе Эклипс зимовали, товарища в больницу привез. Тот днями под медведя попал — и, похоже, серьезно попал. Врачи очень сомневаются в исходе дела... Ему бы у тебя всего одну ночь переночевать. Или две...

— Какой может быть разговор? — развел руками сердобольный хозяин. — Целая комната пустая, — он кивнул в сторону спальни. — Можешь поселиться на Ксюшкиной кушетке. Сама-то она с матерью и братом теперь в Крыму, в море хлопается.

— Ой, спасибо! — обрадовался гармонист, а его друг достал из карманов кацавейки две бутылки «Столичной».

— Вот и никуда бежать и не надо! — воскликнул Витя. — Они, голубушки, — он кивнул на бутылки, — сами к нам прилетели.

— И нате еще... — повеселевший гармонист выгреб из кармана огромную горсть конфет-карамельек.

— А это еще зачем? — удивился хозяин.

— Закусить, — пожал плечами Коля.

За столом весело хохотнули.

— Закуска тут найдется, — солидно сказал Олег. — А гармонь... дай-ка сюда...

— Зачем? — встревожился Коля.

— Мы ее к Сергеевичу в спальню положим. Там ей лучше будет. Надежней...

— Ну... за скорую поправку твоего друга, Вова! — сказал кочегар, который к тому времени уже успел откупорить первую бутылку и разлить половину содержимого по стопкам...

После очередного тоста сознание Ивана Сергеевича начал окутывать легкий приятный туман, который сгущался все сильнее и сильнее. Бутылки друзей-дизелистов допили быстро, и Олегу все-таки пришлось бежать в магазин за продолжением. Успел он к самому закрытию и вернулся с двумя «Столичными». Надо ли говорить, что и с этой добычей они быстро расправились.

Далее, когда время уже вообще потеряло всякий смысл, пришел командир «Ми-4» с бутылкой марочного коньяка. После коньяка, как горох из дырявого мешка, посыпались всяческие истории из жизни, как собственные, так и услышанные когда-то от друзей, касающиеся выпивки и баб. Смутно и обрывками вспоминался потом Ивану возникший скандал — Коля все порывался сыграть на своей гармонии, ему этого не позволили, он обиделся и ушел прочь, заявив, что ноги его в этом доме больше не будет, но друга Вову с собой почему-то не взял. Далее все окружающее вообще провалилось для хозяина в какую-то бездонную черную яму и перестало существовать...

Косые лучи полуденного полярного солнца, отражаясь от двухлитровой банки с лежащими на ее дне мерзкими на вид бурыми остатками Ура-Тюбинского виноградного сока, пускали по стенам веселых зайчиков. Солнце, недавно взошедшее над горизонтом и скоро вновь собиравшееся на покой, заливало мягким и приятным светом комнату.

Хозяин с трудом разлепил слезящиеся глаза, сел на диване, где спал одетым, но с подушкой и под шерстяным пледом, и осмотрелся. Все было аккуратно прибрано,



полы вымыты, никаких следов вчерашнего загула заметно не было. Покрытый клеенкой обеденный стол сиял чистотой. На нем, кроме упомянутой банки, никакой посуды не обнаружилось. Лишь под банкой лежал косо оторванный лист бумаги, на котором красным карандашом было написано: «Спасибо за приют и приятную компанию. Желаю удач во всех ваших делах. Дизелист Витя с Эклипса». Из соседней комнаты слышался переливистый храп, перемежавшийся всхлипами и сладким чмоканием.

Иван Сергеевич босиком прошел на кухню, заглянув в спальню, где увидел Сашку, спящего поперек двуспальной семейной кровати в пушистом свитере и начищенных до блеска полуботинках, но без штанов. К груди он нежно прижимал большой школьный глобус.

На кухне была та же сияющая чистота, что и в зале. Только в дальнем углу в безразмерной авоське было собрано множество пустых бутылок, оставшихся после вчерашней попойки. Иван Сергеевич насчитал десять горлышек из-под «Столичной», граненый флакон из-под украинской «Горилки с перцем», а также красивую пузатую бутылку с этикеткой марочного армянского коньяка и толстостенный «огнетушитель» из-под портвейна «Агдам».

— А это-то чудо откуда? — удивился он вслух. — Не помню я никакого «Агдама». Откуда он мог взяться? И кто, интересно, эту мерзость осмелился принести в приличный дом?!

Он уселся на табурет возле кухонного стола, закрыл глаза и сжал голову руками. В голове у него гудел колокол, перед глазами мелькали оранжевые круги с зеленой бахромой, откуда-то снизу равномерно поднимались толчками спазмы тошноты. Ему было очень, очень плохо.

— Так жить нельзя, — сказал он себе и полез в холодильник, надеясь найти там какое-нибудь лекарство.

Но лекарства в холодильнике не оказалось. Там стояла большая кастрюля со вчерашним малосольным муксуном, трехлитровая банка, заполненная на треть нежно-розовой икрой, нераспечатанная двухлитровая банка с маринованными красными помидорами Тираспольского консервного завода, а также аккуратно завернутая в полиэтиленовый мешок краюха хлеба. Всю нижнюю полку занимала большая миска с муксуньей головой, плавниками и хвостом. В морозильном отделении он нашел здоровенный кусок прекрасной оленьей грудинки и две пачки сливочного масла. В дверце холодильника стояла начатая бутылка с подсолнечным маслом, а в ячейках лежали три яйца. И больше ничего не было.

Конечно, можно было бы сейчас быстро приготовить крепчайшую муксунью уху — опытные люди говорили, что наваристый рыбный бульон прогоняет похмелье почти так же хорошо, как стопка ледяной водки, однако сама мысль о еде показалась Ивану чудовищной. Тяжко вздохнув, он достал банку с помидорами, вскрыл ее, налил полстакана рассола и залпом выпил. Но рассол не помог, а идти в магазин за быстродействующим лекарством не было сил. Он добрел до дивана, улегся на него, вновь закрывшись пледом, и постарался уснуть. Но тут раздался звонок в дверь.

— Входите! — слабым голосом крикнул хозяин. — Там открыто.

Дверь широко распахнулась, на пороге стоял Олег. Вид его был довольно-таки помятым, всклокоченные волосы стояли дыбом. Через равные промежутки времени гость икал.

— Ну что, болезный, — вместо приветствия весело сказал визитер, — головка вава, во рту кака, жизнь — бяка? Так, что ли?

Иван Сергеевич грустно кивнул.

— Ничего, сейчас поправимся, — засуетился Олег, достав из кармана бутылку «Столичной».

— Нет-нет, — сказал Иван Сергеевич, замотав головой, — и видеть ее, проклятую, не могу.

— А ты на нее и не смотри... Закрыв глаза, тяпнул стопку — и дело с концом! Поверь моему гигантскому опыту — сразу станет легче.

Не слушая возражений хозяина, Олег направился на кухню, откуда принес миску с малосольным муксуном, банку с маринованными помидорами, краюху хлеба в полиэтиленовом мешке, пачку замороженного сливочного масла, а также чистую посуду: тарелки, вилки, шумовочную ложку с дырками, чтобы вылавливать помидоры, и две хрустальные стопки, покрытые морозным узором.

— Ты специально стопки для опохмелки в морозильнике держишь? — уважительно спросил Олег и, не дожидаясь ответа, похвалил хозяина: — Молодец! Грамотные люди только так и поступают. Похмеляться надо теплой водкой, но налитой в замороженную посуду. Эффект получается поразительный.

— Да нет, я и не знал... — попробовал возразить Иван Сергеевич, но Олег уже наполнял стопки коварной влагой.

На звук льющейся жидкости из спальни на ватных ногах явился Сашка Пряников в мохнатом свитере и длинных семейных трусах в цветочек. Он все так же нежно обнимал глобус.

— Здорово, страдалец! — крикнул ему Олег. — Что же ты к столу в трусах выходишь, срамник?

— Так ведь я в постели спал, — неуверенно оправдывался Сашка, — а кто же в постели в штанах-то спит... Вот я и снял их. — И он вновь отправился в спальню, откуда вскоре явился уже в штанах, по-прежнему обнимая глобус.

— Ладно. Так и быть, валяй к нашему шалашу, — смилостивился Олег и побегал на кухню за третьей стопкой.

— Ты с глобусом-то расстанься... Зачем он тебе? — участливо спросил хозяин — и гость послушно поставил учебное пособие на этажерку.

Тем временем Олег принес еще одну стопку и наполнил ее водкой до самых краев, разломив затем сиротливую краюшку хлеба на три небольших кусочка.

— Будем здоровы! — с надеждой сказал Сашка, выпил водку и вытер рот тыльной стороной руки.

Друзья поддержали его и тоже сосредоточенно выпили. Было отчетливо видно, что всем им для этого акта понадобилось большое мужество. Каждый понюхал выделенный ему кусочек хлебца и выпил по основательному глотку помидорного рассола. После этого за столом возникла продолжительная пауза. Все сосредоточенно закусывали, прислушиваясь к переменам, происходящим в организме. Минут через десять Олег удовлетворенно улыбнулся и блаженно произнес:

— Ну вот, совсем другое дело! Жизнь вновь приобрела осмысленные очертания. «Был поленом — стал мальчишкой, замечательным парнишкой!..» — запел он и вновь потянулся к заветной бутылке, намереваясь налить всем по второй.

Однако осуществить это намерение ему не удалось — безо всякого звонка и стука дверь квартиры широко распахнулась, и на пороге появилась Лариса, жена Сашки.

— О! — обрадовался Олег. — Чего нам не хватало за столом, так это женского общества! Второй тост предлагаю гусарский: «За дам-с!» Пьем стоя! Сашка, стопку даме, живо!

— Какую еще стопку?! — изумилась Лариса. — С ума сошел?! Ты что, не видишь, что я беременная?! Тоже мне, гусар нашелся!.. Ну-ка, чего это вы тут пьете? — она ловко выхватила из нетвердых рук Олега бутылку «Столичной» и вылила ее содержимое в унитаз.

— Это насилие! — неуверенно сказал Сашка.

— Но-но, поговори у меня! — грозно сказала Лариса мужу. — Пошли домой, буян! Хватит, нагулялся! — Но прежде чем увести мужа из дружеской компании, она подошла к столу, взяла банку с сомнительной ура-тюбинской жижей, понюхала ее и, безразлично сморщившись, отправила эту мерзость туда же, куда и водку — в унитаз.

— Вот и опохмелились, — хотнул Иван Сергеевич, когда за примирившимися супругами закрылась дверь.

— Придется в магазин за новой бутылкой бежать, — пожав плечами, уныло



сказал Олег, поглядев на дверь. — Делать нечего...

— Тем более что у нас и хлеба теперь нет, — озабоченно добавил Иван. — Что за дом такой — всегда нету хлеба... А уж так никуда не хочется сейчас идти...

— Не хочется, — согласился Олег и решительно встал. — Но придется.

— Погоди, — сказал хозяин. — Может, мы лучше сейчас уху из муксуньей головы быстренько заварим, а?.. У меня все для ухи есть...

— Сам же сказал, что хлеба нету. И потом, как известно, уха без водки — просто рыбный суп...

В этот момент раздался звонок в дверь, и в прихожую безо всякого приглашения шагнул Петр Ястребов.

— Так я и думал, что ты здесь, голубь сизокрылый! — грозно сказал он Олегу. — Поправляетесь после вчерашнего? — Не дождавшись ответа на свой вопрос, он решительно скомандовал: — Подъем! Мы с тобой, — он кивнул Олегу, — идем в авиаотряд, нас там с самого утра Козловский ждет.

— А мы тут уху варить собрались... — задумчиво сказал Иван Сергеевич.

— Только у нас хлеб кончился, — развел руками Олег и добавил: — И у меня еще двое суток отдыха в запасе есть... Месячная саннорма полетов вся вышла. Так что двое суток мне никто не указ.

— Вот что, Ваня, — сказал командир «Ми-4», подсев к столу. — У тебя на работе дел много еще осталось?

— Да нет, — ответил тот. — Завтра к обеду думаю все завершить. А что?

— Предлагаю вариант. Через два дня мы опять летать начнем. Начальник сказал, что будем геологов с их имуществом с озера Энгельгардта вывозить в Косистый. Вот я по старой дружбе и предлагаю тебе прекрасный отдых. Причем, отметь, безо всякой водки. По дороге на это озеро я заброшу тебя поохотиться куда-нибудь на Тулай денька на три-четыре. Говорят, нынче там полярных куропаток больше, чем комаров летом. А потом, последним рейсом, когда уже в Хатангу возвращаться будем, заберу тебя оттуда с добычей. Два дня тебе здесь, в Хатанге, думаю, хватит на то, чтобы завершить все дела и собраться. Ну что, по рукам?..

— Очень заманчиво... — задумался Иван. — Тем более что я сейчас в отпуске. А тут, в поселке, мне житья все равно не дадут. Да и пара-тройка мешков куропаток моему семейству совсем не повредят. Да и погода какая стоит!..

— Я был в метеослужбе, — продолжал искушать приятеля командир вертолета, — долгосрочный прогноз погоды читал. Дней пять-шесть еще такая благодать простоят, а уж потом север свое возьмет, отыграется с лихвой! Вот этой пятидневки тебе как раз и хватит.

— Уговорил! — решительно хлопнул ладонью по столу хозяин. — Летим на охоту! Теперь быстро варю крепчайшую уху — и за дело! — после чего он встал, давая понять Олегу, что их похмельная аудиенция окончена.

Глава 2

Иван Сергеевич, как человек опытный и основательный, к подготовке своего четырехдневного выезда на охоту в таймырскую тундру отнесся со всей серьезностью. Прежде всего он составил подробный список оружия, припасов, одежды, обуви и снаряжения. Список был составлен с большим запасом — мало ли какие непредвиденные обстоятельства могут приключиться на охоте. Много разного охотничьего и рыбацкого припаса было у него своего, а остальное, если и понадобится, он надеялся раздобыть у знакомых геологов, геодезистов или профессиональных охотников.

Как и у большинства старожилов Хатанги, на берегу реки на местной контейнерной площадке стоял у Ивана Сергеевича среди множества перевозочных амбаров персональный грузовой палубный контейнер, закрытый на кодовый замок, где он хранил охотничье и рыбацкое имущество. Здесь в те времена еще не воровали, но

береженого бог бережет.

На следующий же день, еще затемно, Иван Сергеевич отправился к своей кладовой. Первым делом проверил наличие охотничьего припаса и остался доволен им. Патронов с самой мелкой дробью, *бекасинником*, было у него около сотни штук. Именно эти патроны при охоте на куропадок были нужнее всего. Нашлись в контейнере также патроны с картечью: пять штук — с круглой пулей, один — с жаканом.

Из специального ящика охотник достал свою гордость — знаменитую бельгийскую «вертикалку» двенадцатого калибра, двухкольтцовый «Зауэр», из которого не стрелял целый год. Это роскошное ружье три года назад он уговорил продать одного ленинградского геолога. Тогда в Хатангском аэропорту ремонтировали взлетную полосу, и большие самолеты, прежде всего грузовые, все лето не принимали, а принимали только колесные бипланы «Ан-2» да гидрачи (эти сажали на воду реки Хатанги). И именно в тот год густо пошла в сети рыба. Все подземные склады местного рыбзавода, целый город с улицами и переулками, пробитый в вечной мерзлоте, наполнили под завязку уже к середине сезона. Больших предприятий по переработке рыбы в поселке не было. Местным жителям покупать рыбу в магазине не пришлось бы в голову, у всех ее хватало — и мороженой, и соленой, и копченой, и вяленой. Поэтому в порядке исключения местному рыбооопу краевое начальство на один сезон специальным приказом разрешило продавать рыбу по безналичному расчету кому угодно. Тогда-то Иван Сергеевич и предложил купить в рыбооопе несколько центнеров деликатесной рыбы по чековой книжке заезжим геологам, решившим, что он оказывает им большую любезность. Потому они и не смогли отказать в ответной любезности, когда их попросили продать шикарное ружье...

Далее он достал из висевших на гвозде кожаных ножен охотничий нож японской стали с прихотливым рисунком по металлу, полученный в подарок к сорокалетнему юбилею, еще один предмет постоянной зависти охотников поселка, любовно отер широкое лезвие рукавом и полюбовался переливами света на гранях клинка, после чего вновь спрятал в ножны.

Из дальнего угла контейнера Иван Сергеевич извлек завернутый в рогожу спальный мешок из выделанных шкур полярного волка, который в свое время выменял у местных ненцев за три бутылки водки. Те как раз маялись с тяжелейшего похмелья и за бутылку готовы были отдать всю свою семью и самих себя в придачу. Частенько через несколько дней, придя в себя после запоя, ненцы бежали в райком партии с криком: «Белый человек нас спаивает! За бесценнок шкуры скупает!» После этого обычно приходилось им их пропитое имущество возвращать. Но тут они то ли побоялись связываться с начальником, от которого материально зависели, то ли так и не протрезвели, но спальный мешок верой и правдой служил Ивану Сергеевичу в командировках, на рыбалке и охоте. Ах, что это был за мешок! Легкий, теплый, удобный — не мешок, а дом родной. В нем можно было спать в палатке гольшом в любой мороз или пургу. Если в мешке из оленьих шкур (это тоже хороший мешок, не чета верблюжьему или ватному) ты сперва часа два ворочаешься с боку на бок, пытаешься согреться, а потом в нем жарко, как в доменной печи, то в волчьем мешке, как в колыбели, ты засыпаешь почти мгновенно, и сон твой будет легок и приятен.

Охотничьи одежда и обувь тоже были в полной сохранности и соответствовали своему высокому предназначению. Путешественник придирчиво осмотрел старые заслуженные торбаза, меховые сапоги из зимнего оленьего камуса, высотой почти до самого паха, легкие, теплые, удобные в ходу, и не нашел в них никакого изъяна. То же касалось и его потрепанной, но еще крепкой охотничьей куртки с меховой подстежкой, и брезентовых штанов с помочами.

— Теперь — дом! — командовал себе Иван Сергеевич. Как и многие полярники, часто проводившие по несколько дней в полном одиночестве, имел он привычку разговаривать сам с собой. — Без дома в тундре человек все равно что голый. — Он достал легкую и крепкую ярко-оранжевую двухместную альпинистскую палатку польского производства в чехле, издавала заметную на снегу. Конечно, неплохо было



бы для такого случая иметь собственную каркасную арктическую палатку Шапошникова, но чего нет, того нет... Впрочем, этот дом тоже неплох, серьезную пургу держал не раз и не два. Можно, конечно, поклянчить КАПШ у литовских озероведов. Они работают на озере Таймыр по заданию ЮНЕСКО, Европа их хорошо экипирует. Но идти на поклон к высокомерным европейцам ради четырех дней... Тем более что Константиныч обещал на все эти дни отменную погоду.

Он окинул свою кладовку долгим внимательным взглядом.

— Так... что еще?.. Примус, конечно. В тундре он — отец родной. Но примус у меня дома есть. Еще новенький, в заводском солидоле. На той неделе купил. Вечером распакую его, уберу солидол, проверю помпу, горелки, засеку время и вскипачу кружку воды. В примусе я должен быть абсолютно уверен. Хотя бы на четыре дня.

Примус, длиннопламенный король коммунальной кухни, воспетый сатирической музой Ильи Ильфа и Евгения Петрова, заслуживает отдельного разговора. В безбрежной тундре никакого топлива нет, особенно в высоких широтах, где, кроме мхов и лишайников, ничего не растет. На морском побережье, конечно, валяется много «плавника» — бревен от разбитых штормом плотов, досок и обломков разрушенных непогодой деревянных строений, выброшенных свирепыми ветрами и подвижками льдов на берег, раздавленных льдами лодок и много чего другого. Один рыбак рассказывал даже, что нашел на побережье моря Лаптевых выброшенное на берег переходящее Красное знамя «победителя социалистического соревнования» с бордовым бархатным полотнищем, кистями и крепким дубовым древком. Но в континентальной тундре, куда как раз и собирался Иван Сергеевич, надеяться на это не приходилось, только примус мог обеспечить горячую пищу, обогрев дома и даже возможность просушить обувь и одежду. Впрочем, забота об этом важнейшем предмете с самого начала Ивана Сергеевича не волновала: подчиненный ему магазин хозтоваров как раз недавно получил партию альпинистских примусов системы «Шмель», один из которых он предусмотрительно и приобрел на прошлой неделе.

— Ну вот, собственно, и все, — задумчиво сказал Иван Сергеевич, — больше, пожалуй, из снаряжения мне ничего и не потребуется. Сетей брать не буду. Никаких, совсем. Во-первых, тогда понадобится и резиновая лодка с веслами, а насчет нее мы с Константинычем не договаривались. Во-вторых, я даже не знаю, есть ли в тех местах приличные реки или озера для рыбалки. А в-третьих, давно замечено, что рыбалку с охотой смешивать никак нельзя. Уж что-нибудь одно в чашке — или кофе, или какао. Со дня на день встанет лед, что тогда мне делать с рыбацким снаряжением — большой вопрос. А вот это мне, пожалуй, может и пригодиться, — он поднял с пола маленькую саперную лопатку. — Места она много не займет, а при постановке палатки может понадобиться.

После этого он аккуратно сложил все отобранные для путешествия вещи посреди кладовки на большой кусок брезента, завязал его узлом, запер контейнер на замок и отправился на работу, где быстро завершил все свои отложенные дела и уже к вечеру того же дня был свободен.

Перед самым закрытием магазина Иван Сергеевич принес продавщице список необходимых ему продуктов. В списке были указаны: четыре буханки хлеба, по килограмму соли и сахара, большая пачка индийского чая (со слонем), пара банок сгущенки, банка клубничного конфитюра, пакет перловой крупы, полиэтиленовая упаковка макарон, полкилограмма сухофруктов, пачка печенья «Ореховое», бутылка подсолнечного масла, килограммовый пакет муки, десять коробков спичек, десять пачек «Беломора», большая стеариновая свеча, а также по большой банке свиной и говяжьей тушенки. Решил было взять и бутылку «Столичной», но потом, вспомнив наставления Константиныча, вычеркнул ее. При этом строго наказал продавщицу, чтобы сторож, как сменится после ночи, занес все это ему домой.

На другой день рано утром сторож разбудил начальника и вручил ему большой

пакет, перевязанный сиреневой ленточкой. К заказу была добавлена большая плитка шоколада «Бабаевский» с записочкой: «Ни пуха ни пера вам на охоте!»

Вечером следующего дня пришел Константиныч, который принес с собою двух-согграммовую стеклянную фляжку дагестанского коньяка «Кизляр».

— Посошок на дорожку, — пояснил он, поставив тару на стол. — Но только уговор — безо всякого продолжения. Иначе завтра медики меня в полет не выпустят. Да и тебе лучше в этом деле сейчас не усердствовать.

— Согласен! — подтвердил свои намерения хозяин, и они дружно выпили.

— Теперь слушай меня внимательно, — сказал гость, сделав себе бутерброд с розовой икрой. — Послезавтра к девяти ноль-ноль приказываю с вещами быть на летном поле возле нашего вертолета.

— А чего так поздно?

— Если хочешь, приходи раньше. Но раньше лететь все равно нельзя — темень кромешная. В полетный лист я тебя вносить не стану, а то завхоз геологической экспедиции потом платить за полет заставит. Да и в вертолет, груженный горючкой — а нам надо к геологам забросить бочек пять-шесть — пассажиров брать категорически воспрещается. Так что полетишь «зайцем», по старой дружбе. А на озере Энгельгардта...

— Что это за озеро такое? Почему я раньше про него ничего не слышал? Про Тулай-Кирыку-Тас слышал, а про это озеро — нет... — перебил командира будущий путешественник.

— А это, вообще говоря, и не озеро даже... Просто река Нижняя Таймыра, вытекающая из озера того же названия, в одном месте широко разливается, а потом опять собирается в свое каменистое русло и течет к морю. И это место разлива называется озером Энгельгардта. Впрочем, это не имеет ровно никакого значения, потому что я тебя высажу по дороге, на благословенных холмах предгорий Тулай-Кирыки-Тас. А уж там совершенно непуганая природа — птицы, рыбы, зверье всякое!.. — Пилот махнул рукой и налил по второй стопке, опорожнив стеклянную фляжку.

— За крепкую мужскую дружбу! — провозгласил хозяин, и они снова выпили.

— Дня два-три... край — четыре... я буду вывозить оттуда геологов с их имуществом и образцами в поселок Косистый. Командировка выписана на целую неделю, с запасом... Ты в Косистом-то бывал?

— Бывал... и не один раз, — махнул рукой Иван Сергеевич. — И в Косистом, и у вояк в бухте Кожевникова. Там ведь, в Косистом, большой аэропорт, посадочная полоса на берегу залива шикарная. Туда даже большие самолеты садятся.

— Ну вот, — обрадовался пилот вертолета. — Грузоподъемность у моей машины маленькая, тонны полторы, не больше. За световой день я смогу делать только один рейс... в лучшем случае — два. А у них восемь человек, три собаки, с тонну обиходного барахла, камней тонны три. Вот и считай...

— Говорят, они там золото нашли и валун самородного серебра. Ты что-нибудь об этом слышал?

— Ничего не слышал, но начальство их крепко опекает... Но мы отвлеклись, — озабоченно сказал пилот. — Три дня можешь охотиться в свое удовольствие. Только не заблудись, а то потом тебя искать придется, время и горючку тратить. У тебя компас с картой есть?..

— Есть. Я подробную карту у геодезистов раздобыл. Вся Тулай-Кирыка там до самого озера, даже до гор Бырранга на север и до Хатангского залива на юг...

— Вот это хорошо. А четвертый день и все последующие, если они случатся, за пределы видимости своей палатки не выходи. И главное, заранее собери все свои вещички, чтобы мне долго возле тебя куковать не пришлось.

— Обижает, начальник, — засмеялся хозяин. — Порядок знаем. Все исполним как положено. И каждому члену экипажа в подарок по самому жирному куропачу.

— Карабин-то берешь с собой?



— Зачем он там мне? Я же на куропаток еду охотиться. У меня гладкостволка знатная. Стреляет она хорошо, кучно, я уже сегодня проверял. Я вообще гладкоствольное оружие больше люблю. Конечно, нарезное прицельно бьет на большие расстояния, до километра. Но ты же сам говорил, что на Тулай-Киряке вся живность непуганая, подпускает до выстрела в упор. Так что мне там карабин ни к чему. Да и хлопот с ним... — Иван Сергеевич махнул рукой. — А вот ракетницу на всякий случай я возьму: и знак о себе в случае чего подать можно, и медведя отпугнуть, если с побережья набежит. Для всего пригодится, — сменил тему разговора будущий путешественник.

— А чего медведю в тундре-то делать? Никакой еды для него там нет. А ведь он всегда голодный... все живое считает своей добычей. Но ракетницу взять не помещает.

— И то верно.

— На этом, пожалуй, все, — сказал Константиныч и встал из-за стола. — А вот этого, — он кивнул на порожнюю стеклянную фляжечку, — сегодня более продолжать не рекомендую.

— Может, чайку напоследок, — приподнялся хозяин.

— Нет, пойду, — пилот надел командирскую фуражку с гербом. — Мне ведь тоже собраться надо. Считай, что на неделю из дому уезжаем...

Когда на следующее утро в Хатангу из длительного отпуска вернулся начальник рыбокоопы, в это же самое время на вертолетной площадке аэродрома Иван Сергеевич погрузил свои вещички в винтокрылую машину, и она, косо набирая высоту, пошла над серыми водами великой реки Хатанги строго на север.

Глава 3

Первую остановку для дозаправки вертолет сделал в аэропорту Косистом. Пока пилоты с заправщиком закатывали бочки с горючим в машину, Иван Сергеевич вышел на летное поле размять ноги, направившись вверх по косоюру к большой деревянной избе, где помещалась столовая.

— Иван, ты там не очень-то задерживайся, — крикнул ему вслед командир, — мы заправимся, сразу полетим дальше.

— Да я только в столовую загляну. Столовая тут наша, рыбокооповская.

Однако попасть в храм общественного питания ему не удалось — дверь оказалась закрытой на крюк изнутри, хотя, если верить расписанию, столовая должна была работать. Иван Сергеевич изо всех сил постучал кулаком в дверь, но ему ее никто не открыл. Он заглянул в большое немытое окно и через стекла увидел какие-то неясные тени баб в белых халатах и колпаках, которые тревожно метались по кухне. Махнув рукой, непрощенный гость снова направился на вертолетную площадку.

Густые фиолетовые сумерки тем временем начали выцветать, на востоке заметно посветлело, даже появилась розовая полоса.

К вертолету подошел небритый мужик с молодым здоровенным ездовым псом на поводке. От мужика заметно несло перегаром.

— Земляк, — сказал он тусклым голосом, — к себе на участок летишь?

— Вроде того, — усмехнулся пассажир.

— Возьми пса? За бутылку отдаю!

— Зачем он мне? — пожал плечами Иван Сергеевич.

— Да ты посмотри, какой пес. Гляди — грудь — как две совковых лопаты, а лапы какие!.. Из него, может, даже вожак выйдет. Совсем молодой еще, а силы немереной. Тебе ведь все равно упряжку собирать... И всего за бутылку отдам!

Механик с заправщиком закончили свои дела, командир пустил винты машины в холостом режиме.

— Все! Летим! — крикнул он, перекрывая шум. — Садись! Поехали!

Иван Сергеевич запрыгнул в машину, дверца за ним с грохотом задвинулась.

Вертолет вначале задрожал с заметным дребезгом, потом, подпрыгнув, оторвался от земли и, слегка накренившись в сторону, стал набирать высоту, а небритый мужик с собакой на поводке уныло побрел в сторону поселка, бормоча себе под нос:

— Что же мне теперь, свою бабу за бутылку отдавать?..

Они летели над здоровенной песчаной косой, которая дала имя поселку и аэропорту, потом, заложив крутой вираж, резко ушли на северо-запад, в сторону Хатангского залива моря Лаптевых. Иван Сергеевич, не отрываясь, смотрел в иллюминатор: осенняя тундра и бесконечная даль спокойного и грозного полярного моря завораживали его. Сплошное ледяное поле было далеко, вне пределов видимости, а под ними в тяжелых водах залива мирно лежали большие разноцветные льдины. На одной из них он усмотрел какую-то крупную движущуюся точку — должно быть, шныряющего по льдам голодного белого медведя. Наблюдать окружающие красоты было ему довольно затруднительно: слева иллюминатор закрывала широченная спина бортрадиста, а перед правым иллюминатором болтались унты бортмеханика Вити — он помогал пилотам, сидящим на втором этаже, а ноги его выписывали перед лицом пассажира замысловатые фигуры. Вскоре бортрадист выключил радию, зевнул во весь рот, улегся на сиденье и уткнулся в толстенный расстрепанный детектив — окружающие красоты его давно уже не интересовали. Так что гость получил левый иллюминатор в свое полное распоряжение.

Через час полета посреди совершенно ровной, как стол, тундры вдруг вырос огромный и совершенно круглый каменный «торт». Вначале, издали, он казался абсолютно правильным и не таким уж и большим. Но по мере приближения кулинарное изделие все росло и росло, пока не превратилось в каменную страну, обильно изрезанную долинами, которые проложили в горной толще ручьи, речушки и речки. В одну из таких долин вскоре и нырнул вертолет. Минуты через три он завис над неширокой галечной площадкой, зажатой с трех сторон крутыми горными склонами, на которых можно было заметить снег, так и не растаявший за лето. Без симпатичной речушки и тут не обошлось.

Бортмеханик спустился с пилотского этажа в кабину и что-то крикнул на ухо Ивану Сергеевичу, но что — тот разобрать так и не сумел, сильно шумел мотор. Сообразив, что его просят покинуть вертолет, поскольку командир опасается, что тяжело груженная бочками с горючим машина увязнет в болотистой тундре, он пригнул голову, взял в охапку рюкзак и кинулся прочь по галечной косе. За ним последовали и бортмеханик с радистом, только после этого Константиныч аккуратно посадил свою машину. Тотчас после приземления прямо из-под колес вспорхнула большая, в полусотню голов, стая куропаток и, пролетев немного, уселась на близлежащем склоне.

— Видал? — спросил приятеля пилот. — Куропаток здесь гораздо больше, чем комаров... Сгружай свои вещички, ребята помогут.

Иван Сергеевич вместе с радистом, бортмехаником и вторым пилотом начали выносить вещи и складывать их подальше от машины на галечную косу, укрывая большим брезентом, чтобы при взлете имущество не раскидало по долине ветром.

— Ты, Сергеич, собрался на охоту... как вор на ярмарку, — шутил при этом второй пилот. — Тут у тебя не на четыре дня, а на целый месяц всякого припасу.

— Запас карман не трет...

— Витя, — крикнул командир своему механику, — оставь у него одну бочку с горючкой. Кто знает, может, когда будем забирать его отсюда с добычей, дозавариться придется... Ну вот, Сергеич, отдыхай тут, размышляй о несовершенствах мира, охоться на куропаток и зайцев — в общем, живи в свое удовольствие. Долина тут укромная, от здешних ураганных ветров защитит надежно. И вода под боком — речушка чистая, бойкая, замрзнет не раньше чем через неделю. Кстати, глянь в



свою карту, как она называется?..

Иван Сергеевич развернул подарок геодезистов:

— Никак не называется. Безымянная.

— Вот на досуге заодно и название ей придумаешь. До равнинной тундры тут километра три-четыре, не больше. Договоримся так: на север и восток ты не ходи — Тулай-Кирыка там в огромную горную страну превращается, тебя в тамошних урочищах и распадках не найти будет, случись что. Ходи только на юг и на запад. Тут уж не заблудишься — всегда вверх по ручью к лагерю выйдешь. Лады?

— Лады! — согласился охотник.

— Бывай здоров! Жди нас дня через три-четыре, — Константиныч пожал протянутую ему руку и протянул путешественнику все ту же стеклянную фляжку с «Кизляром».

— А это тебе от меня, — сказал второй пилот, вручая заправленную зажигалку. — Я проверял — работает... как зверь. Импортная... Не скучай тут без нас!

Вертолет заложил прощальный круг и вдоль речной долины ушел на восток, вон из каменной гряды Тулай-Кирыки-Тас, после чего двинулся строго на север, к озеру Энгельгардта.

Уже порядочно рассвело, и на востоке, там, где заканчивалась горная страна и простиралась за горизонт безбрежная равнинная тундра, можно было заметить краешек солнца. Первым делом Иван Сергеевич достал из деревянного футляра ружье и зарядил оба ствола патронами с мелкой дробью. Потом, не таясь, во весь рост пошел по снежнику к стае куропаток, которая по-прежнему сидела и кормилась неподалеку. Подойдя метров на десять, охотник дал залп дуплетом. Восемь птиц остались лежать на месте, остальная стая с шумом поднялась и, пролетев все ту же полусотню метров, вновь уселась на вершину невысокой грядки. Охотник перезарядил ружье, вновь во весь рост подошел к стае и дал еще один выстрел дуплетом. Результат был схожим, только теперь на коричневатом мху тундры осталось уже не восемь, а пять птиц.

— Так, — сказал охотник сам себе, — на этом охоту пока прекращаем, техника ее приблизительно понятна. — После чего собрал еще теплую добычу и отправился на галечную косу, чтобы заняться устройством лагеря.

Первым делом он поставил оранжевую палатку, заколотив обухом топорика в хорошо спрессованный галечник косы металлические штыри крепежа. Потом до звона натянул растяжки и, натаскав побольше круглых крупных гольшей, сделал из них надежный бордюро по периметру, основательно придавивший крылья палатки. Потом в два слоя настелил в палатке брезент, которым были накрыты вещи, лежавшие неподалеку на косе.

— Вот так-то оно будет лучше, — похвалил он себя. — Хоть тут и затишье, но ветры все равно могут быть такими, что не приведи господь.

Затем он занялся постелью, вытащив надувной резиновый матрас и уложив на него возле окошка, занавешенного москитной сеткой, спальник мешок с слеπίтельно белым вкладышем.

Перетаскав вещи в палатку, он решил заняться еще одним важным делом — устройством очага. Возле входа в палатку с помощью набранных неподалеку плоских камешков он устроил очаг для своего примуса, огородив его бордюром из камней таким образом, чтобы ветер, дующий в проем палатки, не задувал огонь.

Часа через три, почувствовав голод (завтракал-то он еще дома), Иван решил заварить себе чаю, а заодно и еще раз проверить примус. Набрав в чайник воды из речушки, поставил его на сердито гудящий «Шмель», а сам занялся своей охотничьей добычей. Выпотрошив трех самых крупных и жирных птиц, щипать их он не стал, сняв кожу вместе с перьями, чулком. Добыв из тушек самые вкусные и мясистые части, грудки, остальное он, широко размахнувшись, выбросил в воды речушки. Бойкая вода потащила птичьих трупки вниз, в сторону равнинной тундры, и вскоре с вершины горы с противным клекотом поднялись два канюка и стали пикировать за

неожиданным подарком.

Заварив в кружке крепкий чай, он вскрыл банку с конфитюром и освободил от обертки пачку печенья. Сначала хотел выбросить расписную бумажку туда же, в воды речушки, но, поразмыслив, решил этого не делать: в тундре всякий горючий материал нужно по возможности запастись.

Попив чаю, он с удовольствием закурил, растянувшись на своей мягкой постели, и предался приятным размышлениям относительно будущей охоты, минут через десять все же поднявшись на ноги — светлое время следовало экономить, не так уж его и много будет.

Он взял ружье, набил карманы патронами с «бекасинником», разыскал в рюкзаке большой мешок и отправился за добычей. Поднявшись по крутому склону на невысое плато, прошел немного на юго-запад, в ту самую сторону, куда улетела недобитая им стая, стараясь не упускать из виду оранжевое пятно палатки. Минут через пятнадцать обнаружил первую большую стаю куропаток и начал помаленьку набивать мешок птичьими тушками, а когда стая после каждого выстрела стала улетать от его долины все дальше и дальше, решил бросить преследование, боясь заблудиться. Тем более что карту и компас в этот раз он не захватил с собой.

Возвращаясь к своему тундровому дому, Иван увидел в маленькой лощинке двух здоровенных зайцев, торопливо пережевывавших тонкие веточки карликовой березки с почти полностью опавшими листиками. Он перезарядил ружье патронами с крупной дробью, прячась за большими камнями, подобрался к зайцам метров на пятьдесят, выстрелил дуплетом и свалил одного зайца наповал; другой при этом задал такого стрекача, что добыть его нечего было и мечтать.

Тем временем начало смеркаться. Но оранжевая палатка с перевала была отчетливо видна. Большой мешок был полон битыми птицами; поверх них лежал жирный полярный заяц. «Надо же, — думал Иван, торопливо шагая к палатке по неширокой лощине, — в этом звере едва ли не полпуда будет! Как же зайцы умудряются в таких скудных условиях набрать столько жира? Впрочем, у них, наверное, нет другого выхода, когда впереди длинная голодная зима. Зато зимой полярные волки уйдут за оленьими стадами на юг. Так и живут зайцы: летом сытно, да в оба гляди, чтобы тебя самого не сожрали... а зимой — голодней, да безопасней».

Возвратившись в лагерь, первым делом Иван помылся в ледяных водах речушки. Получив заряд бодрости, взялся за приготовление ужина. Черпая воду из речушки котелком, он заметил, что речка обмелела, а все лужицы вокруг нее покрылись стеклянными корочками льда.

— Ну что же, будем надеяться, что дня на два-три воды мне тут еще хватит. А там уже все равно...

Он раскопегарил примус и поставил вариться похлебку из куропачьих грудок, а сам достал пачку с солью и коробку с макаронами. Вокруг уже была темень, на небе появились яркие северные звезды. Он посмотрел на часы со светящимся циферблатом — было четыре часа пополудни.

Поужинав, попив чаю и вымыв посуду, Иван с папиросой в зубах уселся на большой плоский камень в проеме палатки. Из-за соседней горы со скальными кривыми зубцами взошла огромная желтая луна, залившая все вокруг серебряным светом. Стояла пронзительная тишина, которую нарушали лишь звуки скачущей по камням речушки.

— Да, — напомнил он сам себе, — мне же Константиныч задание дал: придумать имя для этой речушки.

Он забрался в палатку, отыскал под изголовьем матраса карту, упакованную в полиэтиленовый мешок, в бездонных карманах своих штанов обнаружил огрызок чернильного карандаша и приготовился к географическому творчеству.

— Кого же более всего напоминает мне эта веселая и немного безалаберная речушка? Пожалуй, трехмесячного щенка, который носится среди цветов и бабочек по солнечной поляне. Поэтому назовем-ка мы эту водную артерию... *Фрамкой*.

Был у них на острове Каторжном веселый безалаберный щенок, всеобщий лю-



бимец по имени Фрам, названный в честь знаменитого корабля Фритьофа Нансена. Впоследствии из этого щенка, наверное, мог бы вырасти прекрасный ездовой пес или даже вожак. Но увез его с собой в Ленинград один геолог, работавший в то лето на острове, и следы обаятельного шалопаю там совершенно затерялись. И прожил пес в городской квартире ленивую, пустую и ничемную жизнь...

Иван расстелил у себя на коленях карту и попытался при свете луны отыскать на ней место своей стоянки. Но оказалось, что сделать это невозможно — разобрать что-либо при таком освещении было нельзя. Тогда он вернулся в палатку, нашел толстую стеариновую свечу, захваченную специально для таких случаев, и при ее свете нашел вначале горный массив, а затем и место своего обитания. Очинив охотничьим ножом до игольной остроты огрызок чернильного карандаша, он крохотными буквами написал вдоль речной паутины: «Фрамка», — после чего посчитал свою миссию выполненной. Затем наполнил котелок и чайник до самых краев водой из Фрамки, отнес в палатку и поставил рядом с примусом: вода — продукт жизненно важный, и если завтра поутру случится какой-нибудь природный катаклизм, он должен быть от него застрахован.

Далее делать было совершенно нечего. Пришлось достать мешок с трофеями и пересчитать их. Сорок восемь куропаток — начало неплохое. Но главным охотничьим днем будет завтрашний. А уж послезавтра к вечеру Константиныч заберет его отсюда.

Следом он вытряхнул на галечную косу полярного зайца и стал размышлять, чего с ним делать. Свежевать такого красавца прямо сейчас было довольно глупо. В темноте делать это опасно и даже бессмысленно — и сам может пораниться, и тушу изуродовать. А тратить завтра драгоценное время на такую ерунду — еще глупее. Лучше отложить свежевание и потрошение до возвращения домой. При той температуре, что стоит здесь, зверю ничего не делается — будет лежать, как в морозильнике. Да и куропатки тоже.

Приняв такое решение, он упаковал добычу в мешки и засунул их в самый угол своего брезентового дома. Затем он несколько раз прогулялся по галечной косе вдоль Фрамки от самого основания долины до того поворота, который упирался в здоровенную скалу, с которой пикировали хищные канюки. Потом, присев на камень, некоторое время полюбовался на ослепительно желтую луну и даже нашел в ней некоторое сходство с изломанным шаманским бубном. Прodelав еще одну прогулочную петлю вдоль речушки, он решительно направился к палатке — пора было и на покой. Все-таки устал за день от обильных впечатлений. Было всего только десять вечера, но какая ему разница, он ведь может жить по любому времени — иркутскому... или даже читинскому.

Он забрался в палатку, разделся догола, зная, что так быстрее согреется в меховом спальном мешке, и почти мгновенно заснул крепким сном безо всяких сновидений.

Проснулся Иван около шести часов утра — по красноярскому, к слову, времени — в прекрасном настроении. Понежившись в теплом спальном мешке, энергичным рывком сел на постели, а затем, пригнув голову, встал и голым вышел на улицу. Легкий морозец приятно пощипывал кожу, все так же светила огромная желтая луна в обрамлении крупных мерцающих звезд. Стараясь наступать босыми ногами на окатанные водой голыши, он подошел к Фрамке и снова отметил, что она заметно похудела. Вымывшись до пояса ледяной водой, бегом бросился в палатку, достал из рюкзака махровое полотенце и растерся им докрасна. Потом снял с палаточной растяжки развешенное там на ночь для проморозки меховое белье, сшитое из выделанных шкур новорожденного олененка — нательную рубаху ниже пояса с закрытым воротом под самое горло и нечто вроде кальсон — и прежде чем надеть его, сильно встряхнул. На покрытую инеем гальку при этом высыпались кристаллы грязного сального снега.

Практически все коренные народы Крайнего Севера никогда не моются и даже

боятся воды. Но никаких проблем с гигиеной у них нет и не было. И все это благодаря вот такому белью. Шьют его из специально выделанных шкур новорожденных (а иногда даже извлеченных из материнской утробы) оленят, непременно мехом внутрь. Нежнейшие, наполненные воздухом иголки не только создают тепловую оболочку, но и очищают от грязи и сала поры человеческого тела. И стирать такое белье не нужно, достаточно вывесить его на несколько минут на сильный мороз, а потом хорошенько встряхнуть — и оно вновь становится чистым, теплым и нежным. В школах-интернатах, куда насильственно помещали таймырских детей для приобщения к благам цивилизации, не понимали этого и наряжали северян в сатиновые трусы и майки, что, разумеется, кончится добром для маленьких дикарей не могло...

Одевшись, Иван быстро согрел на примусе кружку воды и почистил зубы, устроив себе даже легкую пробежку вдоль Фрамки.

Далее наступило время завтрака. В полевых условиях, в тайге, в тундре или даже в степи, независимо от того, работаешь ли ты там, отдыхаешь, рыбачишь или охотишься, режим питания меняется коренным образом. Здесь плотно едят рано утром и поздно вечером, а днем вместо обеда устраивают либо чай с бутербродами, либо ограничиваются сухомяткой, а чаще просто голодают, сберегая драгоценное время.

Поскольку времени до рассвета у охотника было еще предостаточно, он решил заготовить впрок побольше мяса для похлебки. Выбрав с десятка куропачей пожирнее (самцы куропадок намного крупнее, жирнее и наваристее самочки), он выпотрошил их по вчерашней методике, презентовав остатки своим ненасытным соседям — канюкам.

Едва только небо на востоке начало немного выцветать и бледнеть, охотник, прихватив с собою два самых вместительных мешка и набив карманы патронами, отправился в большой поход за куропатками. «Если уж здесь их столько, — рассуждал он про себя, — то на юге, где потеплее, будет и вовсе полным полно».

Однако поначалу в этот раз с охотой ему не повезло: более часа бродил он по тундре, однако ни куропадок, ни зайцев так и не встретил. Зато на исходе часа внезапно заметил серую бесшумную тень, мелькнувшую справа сзади. Он быстро перезарядил один ствол патроном с картечью, выскочил на ближайшую высокую гриву и осмотрел окрестности, однако никакого зверя не увидел. Лишь неподалеку обнаружился след волчьей лапы, проломившей молодой ледок.

— Та-ак, приятное соседство, нечего сказать, — пожившись, сказал он себе для того, чтобы разрядить тишину.

Но никакого продолжения эта встреча не имела. А минут через десять в небольшой лощинке он встретил большую стаю куропадок и начал методично набивать мешки битыми птицами.

Когда добычи набралось достаточно, Иван направился к себе в лагерь. Вначале он нес по мешку на каждом плече, но быстро устал и решил тащить добытое волоком по подмерзшему мху тундры.

— Вот уж действительно, — ворчал он себе под нос, — заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет. Зачем нужно было брать с собой два мешка и тащиться невесть куда... Правду говорят: для дурака и семь верст — не крик...

Проплутав в поисках долины около часа, он все-таки нашел ее, вернувшись в лагерь уже в темноте.

— Ну что же, — сказал он себе, устраивая мешки с добытой птицей в палатке по соседству с прежними охотничьими трофеями, — теперь и домой возвращаться не стыдно. И летунам будет что подарить. Завтра к вечеру, бог даст, Константиныч прилетит. Или послезавтра... А с утра можно на западную сторону Тулай-Киряки навдаться. Тут-то я все основательно повибил, а на западе, нутром чувствую, куропатка должна быть. Но завтра возьму с собой только один мешок — и этих-то куропадок за глаза хватит.

На третий день пребывания в долине Иван поутру собрал вещи, приготовив-

шись к отлету, хотя чувствовал, что вертолета за ним нынче не будет, придется ждать до завтра. Но на охоту решил на всякий случай прихватить ракетницу и с нею десяток ракет, пять красных и пять зеленых.

Вышел затемно, только начинало светать. В этот раз Иван пошел на запад, туда, где плоскогорье Тулай-Киряки заканчивалось невысокими горами с осыпающимися склонами, прорезанными ущельями. Через полчаса обнаружил большую стаю куропаток и, подойдя к ней почти вплотную, сделал первый выстрел дуплетом. А дальше произошла у него накладка — стая, снявшись с прежнего места, пролетела несколько десятков метров и вновь уселась на кочковатом склоне, однако теперь охотника и птиц разделяло крутое и глубокое ущелье, преодолеть которое не было ни малейшей возможности. Иван прошелся в оба конца вдоль обрыва, но тропы не обнаружил. А птицы, словно дразня его, расселись на самом виду и беспечно галдели.

Взобравшись на невысокую горку, охотник присел на большой выветренный камень, расстелил у себя на коленях карту и начал прикидывать, где он оказался. Насколько хватало глаз — под раскинувшимся во все стороны небом, которое потихоньку начало заполняться перистыми облаками, на запад и северо-запад расстилась бурая и кочковатая тундра, изрезанная серыми извивами рек и пятнами озер. Перед ним, бесконечно петляя среди больших и малых болот и стариц, текла мутная и неторопливая река Хутуду-Яму, которая впадала в большую реку Мурптаму-Тари, а та — в огромную и полноводную Бикаду, доставлявшую свои воды прямо в гигантскую чашу озера Таймыр. Иван знал от знакомых охотников, что там предполагается устроить биосферный заповедник по акклиматизации овцебыков, завезенных на Таймыр из Канады... А далеко впереди был виден край этого великого и богатого озера, над которым нависала черная громада гор Бырранга.

Бырранги, страшные горы, аспидно-черные, с отливом в синеву, расцвеченные белыми и голубыми прожилками снежников... В жизни не видывал Иван нигде более такого черного цвета. Глядя на эти дикие и страшные красоты, поверишь, что именно там, за Быррангами, находится ад, потому ни один живущий на суровом Севере не должен пересекать границ, очерченных этими грозными стражами, как говорится в поверьях долган и нганасан. Уж сколько поколений их родилось, выросло и умерло здесь, но никто никогда из коренных северян за Бырранги не заходил. Недаром ни одного местного географического наименования на карте Таймыра за Быррангами нет, только русские, присвоенные тем краям землепроходцами прошлого и настоящего, геологами и геодезистами...

Но любоваться северными красотами сейчас было некогда. Сориентировавшись по карте, Иван нашел приемлемый спуск, для которого придется сделать порядочный крюк, километра в полтора, не менее. Пробираясь среди камней и осыпей, он бросил взгляд на северо-восток, в сторону низменности и вдруг далеко впереди, километрах в трех, возле вертикального склона Тулай-Киряки заметил огромное серое пятно. Это мог быть растаявший с прошлой зимы снежник, но ведь не могло найтись в девственной тундре такого грязного снега...

Через час с небольшим он уже стоял на болотистой, слегка подмерзшей кочковатой тундре рядом с громоздким сооружением, основательно выцветшим на солнце, выдубленным холодными полярными ветрами и промытым дождями со снегом. Это был жилой балок, представлявший собой большую каркасную палатку с тамбуром, выведенной через крышу печной трубой, увенчанной игривым коническим жестяным колпачком — искрогасителем, выцветшим до полной белизны, когда-то красным флагом, воткнутым в петлю возле двери, и фанерным лозунгом «Все на выборы!». С другой стороны дома в три ряда были навешены тонкие веревочки, на которых, судя по всему, не так давно вялились под козырьком жирные рыбины, поскольку и вся эта стенка, и герб, нарисованный тут же, над маленьким окошком с двойными стеклами, были основательно уляпаны рыбьим жиром; на этих же веревочках висело пять или шесть небольших вяленых гольцов, каждый около двух килограммов весом. Сама палатка покоилась на легких сварных дюралевых санях. Сани

были довольно высоки и по ширине точно совпадали с колеей вездехода «ГАЗ-47», который, очевидно, и таскал по тундре этот дом. Левая лыжа у саней была напрочь сломана, имея здоровенную поперечную трещину. Неподалеку валялась солидная кувалда со сломанной ручкой. Похоже, жильцы балка пытались своими силами как-то починить сани, чтобы дойти на них до своей базы, но, сломав кувалду, поняли бесполезность этого предприятия. От переднего торца передвижного дома тянулся след гусеничного вездехода двухнедельной давности и уходил на север, за горизонт. Путешественники пересели на свой «танк», взяв только самое необходимое — спальные мешки с надувными матрасами, примусы, кое-что из посуды и продуктов, оружие, документы, сети, резиновую лодку, самых крупных рыб, а за остальным решили вернуться на будущий год или, может быть, бросить тут навсегда. На Крайнем Севере часто гораздо дешевле выбросить имущество, чем везти его обратно, на Большую землю.

Рядом со входной дверью, прямо на кочках, стоял здоровенный фанерный ящик, обшитый изнутри брезентом. Ящик был наполовину полон небольшими солеными гольчиками и сижками, плавающими в рассоле. Возле ящика валялся поношенный вагник, рядом аккуратно стояли стоптанные кожаные шлепанцы.

В тамбуре балка Иван обнаружил несколько мешков с каменным углем, запасы сушеной картошки и моркови, кое-что из продуктов, наволочку, заполненную на треть пакетами с концентратами супов, каш и специй, а также десятка полтора журналов «Огонек» за 1961 и 1962 годы. Возле входной двери на толстом гвозде висел рукомойник, полный воды, под ним стоял мятый алюминиевый таз. Возле рукомойника висело зеркальце в картонной оправе и наглядная агитация — два плаката: «Помыл руки сам — помоги товарищу!» и «Дело охотника — ощипать добытую птицу, наше общее дело — съесть ее!»

В самом балке, обтянутом изнутри толстым портяночным сукном, Иван насчитал вдоль стен пять топчанов. На одном топчане стояла чисто вымытая щербатая миска. Посреди палатки находился большой стол с накладной столешницей, а неподалеку от него, на аккуратном противне — ладная уютная железная печечка кубической формы на высоких ножках с поддувалом и трубой, выведенной через крышу балка. На стенках палатки к портяночному сукну булавками были приколоты картинки: портрет писателя Ф. М. Достоевского кисти художника-передвижника В. Г. Перова (обложка журнала «Огонек»), фотография барельефа знаменитого мыслителя древности Аристотеля и две репродукции с картин Рафаэля (цветные вкладки все того же журнала «Огонек»). На столе стояла большая неопрятная закопченная сковорода с засохшими остатками завтрака, обеда или ужина: жареная на растительном масле рыба с сушеной картошкой в томатном соусе. Здесь же валялись два нераспечатанных пакета концентратов с надписью «Каша гречневая». Рядом со сковородой лежала потрепанная книжка в засаленном твердом переплете — «Робинзон Крузо». Возле книги стояли слегка оплывшая толстая стеариновая свеча и чисто вымытая трехлитровая банка без крышки с этикеткой «Огурцы соленые». На фанерных ящиках из-под приборов, многие из которых служили стульями, был указан один и тот же почтовый адрес отправителя: Иркутск, Управление картографии и геодезии РСФСР.

— Суду все ясно, — сказал вслух Иван, — это брошенный дом иркутских геодезистов.

Между тем уже начали сгущаться сумерки, пора было собираться домой.

С собою Иван решил взять вяленых гольцов, что висели на торце палатки, а также пару пакетов с концентратом гречневой каши. Перед тем как уйти, он занес в дом телогрейку, шлепанцы, ящик с соленой рыбой и кувалду со сломанной ручкой.

— На всякий случай, вдруг завтра пойдет снег, — пояснил он сам себе, после чего нашел косо оторванный клочок бумажных обоев и написал на нем чернильным карандашом: «Взял шесть вяленых гольцов и пару пакетов с гречневой кашей. При встрече рассчитаюсь тем, что имею в достатке. Иван, ваш сосед по Талай-Кирыке-



Тас».

На другой день он проснулся рано, несмотря на то, что вчера вернулся в лагерь уже глубокой ночью. Нежась в теплом спальном мешке, по многолетней привычке первым делом завел наручные часы. Шел седьмой час утра, стояла кромешная тьма: ни луны, ни звезд не было видно, поскольку небо было укрыто толстыми ватными облаками. Но погода пока что была летной.

Иван умылся на Фрамке, сделал небольшую, но энергичную зарядку, потом занялся завтраком. Сегодня он решил заварить себе крепкого чаю и отведать вяленого гольца, удачно позаимствованного у соседей. Во-первых, не терпелось проверить качество продукта, а во-вторых, он уже соскучился по хорошей рыбе.

Малосольный голец оказался великолепным: иркутские геодезисты, как видно, были опытными полевиками, обращаться с рыбой и мясом они умели.

После завтрака Иван зажег в палатке свечу и занялся упаковкой вещей, чтобы не задерживать вертолет. Сложил в мешки и завязал добытую дичь, плотно набил рюкзак ненужными теперь личными вещами, в чехол из-под палатки сложил недоеденные продукты, а в отдельный холщовый мешочек — неиспользованные патроны и ракеты. Открыв деревянный футляр винтовки, достал оттуда шомпол и пузырек с машинным маслом, после чего до блеска вычистил оружие.

Покончив с этими важными делами, решил заняться устройством вертолетной площадки: выровнял участок галечной косы, по углам его поставил небольшие башенки из крупных камней, откатил в сторону бочку с горючим, оставленную предусмотрительным Константинычем, потом воткнул в промерзшую землю складной шест с куском портянки (для того, чтобы пилот мог определить направление ветра), после чего посчитал площадку вполне приемлемой для посадки вертолета.

Рассвело, пора было приступить к приготовлению обеда. Вскрыв ножом банку говяжьей тушенки и вычерпав ее содержимое в котелок, Иван налил туда воды и добавил перловой крупы, которую замочил в кружке с раннего утра. Когда похлебка поспела, он, укутав котелок меховой собачьей безрукавкой, поставил на примус чайник с водой.

Пообедав, выпив чаю и покурив, Иван решил, что может устроить себе последенный сон — вертолет его все равно разбудит.

Проснулся он в третьем часу пополудни уже в глубоких сумерках. Никакого вертолета не было и в помине. Погода продолжала портиться: небо все плотней заволакивали облака.

Через полчаса совсем стемнело. Иван взял ракетницу, вышел на берег Фрамки и сделал два выстрела в сторону востока, один раз зеленой ракетой, другой раз красной — в ту сторону, откуда должен быть прилететь вертолет. Как и следовало ожидать, никакого ответа он не получил и до глубокой ночи не находил себе места — не могли же его просто так бросить в тундре на произвол судьбы...

Весь следующий день Иван ходил и прислушивался к звукам вокруг. Несколько раз ему даже показалось, что он слышит шум вертолетных винтов, но это было ошибкой. Чтобы не тратить драгоценного времени на сборы, он даже не стал готовить плотного завтрака, ограничившись лишь крепким чаем со сгущенкой и конфитюром да малосольным гольцом, позаимствованным у соседей. Есть рыбу без хлеба было не слишком приятно, но Иван решил более не расходовать последнюю краюху.

Вертолет и в этот день так и не пришел. Иван смирился с этой мыслью уже глубокой ночью, когда стало понятно, что в случае тумана по долине Фрамки, ширина которой в некоторых местах лишь на десять-пятнадцать метров превышала размах винтов, вслепую пройти просто невозможно. К тому же вокруг заметно потеплело, но теплым был только низовой ветер, а наверху, над пухлыми облаками, тянуло промозглым и ледяным; все это не сулило охотнику ничего хорошего.

Наутро все худшие опасения подтвердились: пары воды от растаявшего льда, покрывавшего мох тундры, конденсируясь, стали превращаться в плотный мокрый туман. И вскоре одеяло тумана, подгоняемое ветерком, поползло в долину Фрамки



изо всех ущелий и распадков, стекая вниз по осыпям и склонам, ключьями полетело со скал и горных круч, так что к утру шестого дня стало ничего не видно уже в десяти шагах. А к обеду, к светлому времени, которое сократилось теперь до часа с небольшим, случилось еще одно климатическое несчастье — низовой ветер вдруг стих, потому ключья тумана остались лежать на земле. Конечно, ни о каких полетах в таких условиях не могло быть и речи.

Кроме всех прочих напастей, на Ивана навалилось еще одно — безделье. Делать ему было абсолютно нечего: отойти от палатки он мог не далее чем до Фрамки, чтобы набрать воды, не рискуя заблудиться в густом тумане. Большую часть времени он теперь спал или, вспоминая книгу, оставшуюся в балке геодезистов, невольно сравнивал свои переживания с проблемами знаменитого героя-путешественника.

В первый же из дней от нечего делать он притащил к себе в палатку большую, плоскую и тонкую известковую плиту для того, чтобы соорудить из нее календарь. С помощью охотничьего ножа сделал коротенькие насечки на самом верху плиты, по одной на каждый день, а воскресенье решил отмечать длинной насечкой, чтобы легче было считать недели. При этом он твердо помнил, что высадил его Петр Константинович в понедельник. Затем на берегу Фрамки Иван отыскал мягкий камень, о который можно было точить лезвие, принес его в палатку и там довел свой охотничий нож до бритвенной остроты. Эти полезные, но необязательные действия наполнили его дни каким-то смыслом.

На восьмой день у него закончился бензин в примусе. Весь этот день он питался лишь малосольными гольцами, запивая их водой из Фрамки, в которую добавлял сгущенку или остатки конфитюра, но вскоре понял, что без горячей пищи долго не протянет. В запасе у него была целая бочка вертолетного горючего, и он решил попробовать заправить им своего «Шмеля», но это оказалось не таким простым делом. Во-первых, у бочки надо было умудриться открутить металлическую пробку; во-вторых, налить содержимое бочки в примус тоже было не так просто, а в-третьих, совершенно непонятно, захочет ли «Шмель» работать на новом топливе.

С первой задачей он справился за час с помощью топорика, саперной лопатки, ружейного шомпола и ножа. Вторая задача была посложнее, но помогла консервная банка из-под говяжьей тушенки. С помощью мыла, песка и мелкой гальки он отдраил ее до немыслимой чистоты, после чего перелил горючее из бочки в банку, а уже из нее — в примус.

Самым сложным делом было заставить примус работать на новом для него топливе. Пришлось тщательнейшим образом прочистить горелку «Шмеля» с помощью иголки, сооруженной из тонкой стальной проволоки, подобранной на помойке в Косистом. Затем через кусок марли он процедил и залил в примусный бачок горючее. Потом накачал примус и, размашисто перекрестившись в сторону востока, поднес зажженную спичку к горелке. Примус чихнул, выждал паузу, выбросил робкий язычок пламени и загудел синим ровным пламенем. От радости Иван едва не пустился в пляс.

На девятый день с утра подул легкий ветерок, и мерзкая ледяная изморозь, висевшая над Тулай-Кирякой и пробиравшая несчастного охотника до костей, начала постепенно исчезать, установилась пасмурная и тихая погода. Но продержалась эта благодать недолго. Уже к ночи западный ветер сменился на северо-восточный, небо очистилось от туч, начался ураган с мокрым снегом, ледяной крупой и пронзительным холодом. Растяжки, натянутые до звона, грозили лопнуть каждую секунду, стенки палатки вздулись пузырями, крепежные штыри, прочно забитые в галечник, полезли из земли, а ледяная крупа начала безжалостно сечь ткань палатки, превращая ее в дуршлаг. Но хотя бы какой-то, пусть и утлый, уют в палатке существовал, хоть его и отделил от ревущего ветра со снегом и ледяным дождем всего лишь жалкий кусок ткани. Но это был все же дом, пусть и с дырявыми стенами.

Иван перетащил в угол палатки, к спальному мешку, карты, оружие с боезапа-



сом, примус и рюкзак с теплыми вещами. Вскоре он услышал страшный грохот недалекого оползня и гул катящихся камней: столбики, сложенные из окатанных глышей, которыми он отметил границы вертолетной площадки, ветер играючи раскатил по долине Фрамки. Но бочка с горючим все же устояла на месте. Только он хотел обрадоваться, как случилось настоящее несчастье: один из крепежных штырей со свистом вылетел из земли и острым концом полоснул восточную стенку палатки. Ткань со звоном лопнула, и ветер, подхватив ее концы, стал раздирать оставшееся. Иван подхватил один из лоскутов и завернул его к себе под матрас, два других прижав камнями и не давая палатке рухнуть окончательно. Завернувшись в жалкие остатки ткани, он пролежал в своем спальном мешке до следующего дня. Не могло быть и речи о том, чтобы развести примус — питаться пришлось лишь малосольной рыбой, запивая ее холодным чаем и заедая сгущенкой из банки.

К концу следующего дня ураганный ветер начал постепенно стихать, немного потеплело, ледяной дождь прекратился, вместо него пошел большими хлопьями мягкий пушистый снег. Вокруг сразу стало светлее. Иван вылез из-под обрывков палатки, заваленных снегом, и осматрел то, что еще недавно было его лагерем, понимая, что спасти его теперь может только чудо. Но чудес, как известно, на свете не бывает.

Глава 4

У Константиныча же случилось вот что...

Поначалу на озере Энгельгардта у вертолетчиков все выходило просто замечательно: за два дня они сделали по два рейса от лагеря геологов в поселок Косистый. Поскольку в истоке Нижней Таймыры на специально оборудованной площадке удалось устроить промежуточную базу дозаправки, баки машины можно было заполнять лишь наполовину, потому они брали на борт больше груза и уже к третьему дню вывезли почти всех людей, кроме начальника отряда и молодого геолога. Осталось забрать только экспедиционное имущество и геологические образцы. Константиныч был твердо уверен, что к вечеру третьего дня он уже заберет Ивана вместе с его охотничьей добычей.

Но на третий день у геологов случилось несчастье. Первый рейс в Косистый они отправили успешно. А пока ждали второго, помощник начальника решил еще раз что-то проверить и полез с молотком вверх по склону довольно безобидной горки. Пока он там колотил, здоровенная глыба известняка, тонны полторы весом, подточенная дождями и тающими снежниками, вдруг отвалилась и рухнула ему прямо на голову, зацепив, к счастью, какой-то выступ и рассыпавшись на множество кусков. При этом три здоровенных камня ударили геолога с такой силой, что он надолго потерял сознание.

У геологов была рация, потому начальник отряда связался с аэропортом Косистого и доложил ситуацию. Вертолет в поселке быстро разгрузили, взяли на борт врача, машину заправили и тотчас отправили за пострадавшим. Теперь их рейс считался аварийно-спасательным... со всеми вытекающими отсюда строгими правилами. С озера вертолету пришлось забрать оставшихся геологов с их немудреным имуществом, а остатки геологических образцов оставить до будущего полевого сезона.

Уже в полете, где пострадавший все-таки пришел в сознание, начальник вместе с врачом решили, что после дозаправки в Косистом они повезут геолога напрямиком в Хатангу, в районную больницу. Так и вышло — на летном поле вертолет уже ждала машина.

Утром следующего дня Константиныч собрался лететь за последней порцией груза на озеро Энгельгардта и на обратном пути прихватить с собою охотника с Тулай-Киряки-Тас. Но его ждал сокрушительный удар: врач авиаотряда категорически запретила вылет, поскольку недельная санитарная норма экипажа была суще-



ственно превышена. И отдыхать теперь они были обязаны даже не сутки, а двое. Если бы дело было в аэропорту Косистого, командир уговорил бы врача сделать для него исключение, но здесь, при начальстве, об этом нечего было и мечтать. Оставалось только ждать.

А дальше все пошло кувырком и шесть суток не было погоды — сначала весь центральный Таймыр оказался в густом тумане, продержавшемся четверо суток, а после него случился свирепейший ураган. Константиныч все это время переживал за брошенного товарища и не находил себе места. И поэтому, когда метеослужба дала «добро» на вылет в сторону Косистого и дальше на север, командир вертолета кинулся к начальнику:

— Михаил Семеныч, мне надо срочно лететь на озеро Энгельгардта, чтобы завершить начатую работу. Ты же знаешь, у геологов там несчастье случилось, пришлось парня в районную больницу аварийно-спасательным рейсом вывозить. А я не привык дела неоконченными бросать...

— А ничего уже не надо, — сказал начальник, потирая руки. — С геологами мы все дела успешно завершили. Все бумаги они нам подписали, даже деньги перечислили. Так что проблем никаких нет.

— Но я должен выполнить один рейс на озеро Энгельгардта...

— Об этом не может быть и речи, — покачал головой Козловский. — Говорю тебе, геологи с озера Энгельгардта согласились остатки своих каменюк забрать в будущем году. Их начальник мне уже все бумаги подписал. А твой вертолет у нас сейчас единственный на весь отряд, так что тебя ждет совсем другая работа. Вот заявочка на тебя... С нынешнего дня и до конца твоей месячной саннормы, — он потряс в воздухе бумажкой. — Заявка с грозной визой райкома партии, между прочим!

— Откуда и что вывозить-то?

— С юга, с Хетты, притока Хатанги, с отстрельного пункта будешь в Хатангу мясо диких оленей возить. Район план по мясу катастрофически заваливает...

— Нет проблем. Согласен. Я на все согласен. Но сперва мне только один рейс на Тулай-Киряку сделать надо. Только один!

— Так куда ж тебе все-таки лететь-то надо — на озеро Энгельгардта или внутрь этого чертового каменного торта?

— Честно говоря, про озеро Энгельгардта я для производственного повода тебе упомянул. Я и без тебя знал, что ребята-геологи оттуда уже почти все барахло вывезли. Там остались лишь мелочи, которые до будущего сезона подождут.

— Тогда в чем же дело?..

— А в том, что на Тулай-Киряке у меня брошенный человек остался.

— Да ты с ума сошел. Какой человек, откуда он там взялся?! Не может быть там никакого человека. Да и полярная ночь, считай, уже началась. Там же теперь ни зги не видно. Ты не хуже моего знаешь, что такое Тулай-Киряка-Тас. Во-первых, ты уже никого и ничего там не найдешь, а во-вторых... и себя, и экипаж угробишь. Ты что, первый день на севере?! Не знаешь, что такое полярная ночь?! Как ты собираешься там работать?

— А как же мне тогда целый месяц за мясом полярной ночью летать?

— За мясом ты по пеленгу летать будешь, над равниной, а взлетать и садиться придется только на профессионально подготовленные площадки.

— Ладно... Теперь слушай сюда. Рассказываю тебе... как на духу. Промашку я дал. Большую промашку. Так что готов рейс оплатить из своего собственного кармана. И даже собственной головой рискнуть и машиной. Понимаешь, Ивана, друга своего, заместителя рыбооповского председателя, я уговорил отправиться на эту чертову Тулай-Киряку куропаток пострелять. Денька на два-три. А на обратной дороге пообещал забрать. Ты же прекрасно знаешь, многие из наших так на охоту или рыбалку втихаря летают. Никогда ничего особенного с этим не случалось... и шума никто по этому поводу отродясь не поднимал. Да и тут все прошло бы без сучка и



задоринки, если бы не этот, будь он неладен, аварийно-спасательный рейс... А следом за ним — туман и жуткий ураган... Пойми, погибнет там Иван, погибнет жуткой смертью, через неделю точно погибнет.

— Так вон в чем дело-то... Жизнь человеческая на кону стоит. И начальства сейчас нет на месте, в Норильск на совещание улетели... Ну как тебя угораздило подбить Ивана на такую авантюру?! Да и он тоже хорош — вроде бы опытный полярник... Что же делать-то? Ничего нам с тобой не остается, как в райком партии идти. К первому секретарю.

— Да неужели мы сами не договоримся? Ведь всего-то делов — сделать один рейс... У меня ведь и горючка туда уже заброшена.

— На, читай резолюцию на заявку по вывозу мяса, — начальник ткнул бумажку в лицо командиру «Ми-4». — «Выполнять немедленно, взять под особый контроль. Важнейшее государственное дело с политическим подтекстом». Дата, подпись. Понял?

— Ладно, делать нечего. Пошли в райком.

В кабинет первого секретаря райкома партии секретарша провела товарищей из авиаотряда незамедлительно.

— Очень хорошо, что вы зашли ко мне, товарищи, — партийный лидер района вышел из-за стола и пожал руки визитерам.

— Сидор Спиридоныч, вот какое дело... — авианачальник достал заявку с визой райкома и показал ее секретарю.

— Да-да, помню, — насторожился секретарь. — Важнейшее дело, тут вся надежда на вас, товарищи. — И после паузы озабоченно спросил: — А что, возникли какие-то вопросы?

— Возникли, — жестко сказал Константиныч. — Во-первых, откуда у мяса взялся политический подтекст. Во-вторых, насколько я помню, мясо в Хатангу с Хеты испокон веку грузовыми гидросамолетами вывозили...

— Отвечаю... — на лбу у партсекретаря образовалась жесткая складка. — Да будет вам известно, что мясо диких северных оленей не содержит холестерина. Поэтому капиталисты, отчаянно пекущиеся о своем драгоценном здоровье, охотно покупают у нас его за валюту и дают очень высокую цену. Так что это вопрос валютного обеспечения нашей родины. То есть — политический вопрос!.. Теперь относительно второго момента... Хета со дня на день станет... и несет она сейчас не столько воду, сколько сало, ледяную кашу, так что гидрачи нам использовать никак нельзя, а подходящей площадки ни для колесного, ни для лыжного варианта «Ан-2» тоже пока нет.

— Нынче осень длинная и теплая стояла. Весь сентябрь мясо вывозить можно было... — грустно заметил Петр Константинович.

— В начале октября у нас в районе сразу две отчетно-перевыборных конференции были: партийная и комсомольская. С обменом партийных документов. И вся летная техника была брошена на вывоз делегатов с полярных станций, стойбищ, поселков, портов, баз геологов... ну и так далее.

— И в какую же умную голову, интересно, пришла идея проводить эти конференции в самую горячую пору — поздней осенью? Вам что, зимы мало? Я уже не спрашиваю о том, сколько это стоило... — Константиныч махнул рукой.

— Может быть, вы поучите нас партийному строительству? — спросил секретарь райкома звенящим голосом.

— Да нет, что вы, Сидор Спиридоныч! — испугался начальник авиаотряда.

— А еще у нас как раз в сентябре массовый побег детей из школы-интерната случился, — грустно продолжил партийный лидер района. — Пришлось их искать — не то ведь погибли бы по дороге в свои стойбища. На это тоже всю летную технику задействовали. Вот, скажу я вам, темнота — долганы эти... с нганасанами. Их грамоте хотят научить, цивилизным манерам, высоким моральным принципам, культуру прививают, буквально за руку вводят в лоно человеческой цивилизации... Родина,

можно сказать, ничего не жалеет, чтобы сделать их жизнь в тундре по-настоящему счастливой, а они бегут домой, в свой первобытный строй! И хоть кол им на голове теши!..

— Человек у нас на Тулай-Киряке остался. Отправился на охоту, а выбраться оттуда не сумел. Вернее, у него не получилось. Да вы его знаете — Иван Сергеевич, заместитель начальника нашего рыбокоопа, — прервал секретаря райкома Козловский.

— Вот так номер наш Иван отчебучил! И что же теперь делать?

— Что делать... Попытаться вывезти его оттуда. Сегодня уже не успеть. Хотя бы завтра... или послезавтра. Потом — все, конец! Потом уже ничего нельзя будет сделать, — решительно сказал командир вертолета. — Полярную ночь и зиму никаким приказом не отменишь. Рейс я готов оплатить из собственного кармана. И даже рискнуть своей головой...

— Ну... riskовать придется не одной вашей головой, товарищ Ястребов, а как минимум четыремя головами вашего экипажа, — сурово сказал партийный секретарь. — И главное — машиной. Единственным вертолетом «Ми-4», оставшимся сейчас на ходу в авиаотряде. Вы понимаете, что это такое?

— Мы понимаем, — ответил за двоих Козловский. — Поэтому и пришли к вам.

— А как Иван Сергеевич очутился на Тулай-Киряке? — раздраженно спросил секретарь. — Туда же ведь ни на чем добраться нельзя.

— Да это я сам по дороге к геологам... по пути его забросил... — грустно признался командир. — А снять оттуда не получилось. Аварийно-спасательные работы, затем туман и этот треклятый ураган...

— И забросили вы его на Тулай-Киряку, как я понимаю, никак не отразив это в ваших летных документах?.. — спросил секретарь райкома.

— Ну да... Просто по старой дружбе...

— Но ведь это же уголовное дело, — вкрадчиво сказал партийный секретарь. — На две статьи сразу... Превышение должностных полномочий и неоказание помощи терпящему бедствие.

Визитеры подавленно молчали.

— И после этого вы пришли в райком партии за поддержкой в деле, которое можно трактовать как халатность или даже уголовное преступление? Не-ет, полет на Тулай-Киряку-Тас я вам категорически запрещаю! Идите готовить машину и экипаж для вывоза мяса с отстрельного пункта Хеты! Все!

— Вы мне не начальник, товарищ секретарь! И ничего разрешать или запрещать не можете, — взорвался командир вертолета. — Пришли мы к вам не за приказом, а за советом. Просто по-человечески. А уж куда и с каким заданием нам лететь...

— Коммунист Ястребов! — свистящим шепотом перебил летчика секретарь райкома. — Пока еще коммунист! Имейте в виду, если вы все-таки ослушаетесь меня и полетите на Тулай-Киряку, то положите свой партбилет мне на стол. Со всеми вытекающими... Вы готовы к такому повороту событий?

— Да к любому повороту я теперь готов...

— А если вы в крошечной темноте и при полном отсутствии ориентиров угробите машину, погубите и себя, и экипаж?.. Тогда, конечно, с вас взятки будут гладки. С мертвых спроса нет. А отвечать за все придется мне. И что же я смогу ответить государственной комиссии?..

— Мы можем идти? — спросил Петр Константинович и, не дождавшись ответа, понуро направился к выходу из кабинета. Следом за ним поспешил и его начальник.

— К великому моему сожалению, — вслед им крикнул партийный секретарь, — здесь, на Крайнем Севере, люди довольно часто гибнут на охоте и рыбалке. У меня где-то даже и статистика по этому поводу есть. Могу показать...

Экипаж вертолета, переминаясь с ноги на ногу, торчал под окнами райкома партии возле бетонных кубиков, на которых в рамках под стеклом можно было увидеть фотографии «лучших людей района», среди которых, кстати, был и портрет



Ястребова, командира вертолета «Ми-4» Хатангского авиаотряда. Большими хлопьями падал снег, покрывая поселок чистым белым покрывалом. Ранние сумерки были торжественны и тихи. Летчики, обутые в легкомысленные щеголеватые туфли, перминались с ноги на ногу и молчали, нервничая.

Наконец скрипнула входная дверь и вместе с клубом пара выпустила на улицу командира «Ми-4» и начальника авиаотряда.

— Ну так что? — спросил второй пилот. — Каковы наши последующие действия? Получается у нас завтра полет на Тулай-Киряку... или как? Вы сказали им там, — он мотнул головой в сторону райкома, — что завтра у нас последний шанс?

— Не летим мы завтра на Тулай-Киряку, — грустно сказал командир. — Получается... что не получается... Мясо с Хеты возить будем. Партия сказала...

— А как же?... — начал было радист.

— А вот так!

— Против лома нет приема, — развел руками начальник авиаотряда. — С партией не поспоришь. Хотя, конечно, жаль Ивана Сергеевича до слез. Но ничего тут не поделаешь. Хороший мужик... был. Ладно, я побежал домой. Пообещал дочке помочь подготовиться к контрольной по математике. Завтра к девяти приходите в отряд за заданием. Вот так вот. А против партии мы что...

— Партия — наш рулевой! — грустно заметил ему вслед механик. — А то куда же мы без руля и без ветрил... Ладно, мужики, делать нечего, пошли ко мне в летную общагу. Я сейчас один в комнате — кто в отпусках, кто на форме, кто в командировке. Это дело надо непременно обмыть.

— Обмывают какую-нибудь удачу или приобретение, — строго поправил механика радист. — А тут надо по русскому обычаю просто выпить рюмку водки за упокой пропащей души раба Божия Ивана...

Вахтер пилотского общежития хорошо знала всех летчиков авиаотряда в лицо, поэтому лишних вопросов задавать не стала, попросив лишь не шуметь:

— У меня в соседних комнатах два экипажа после суточного перелета отдыхают.

— Не беспокойтесь, — кивнул командир. — Мы недолго и очень тихо. У нас самих завтра серьезная работа.

В комнате, где жил авиамеханик, единственным предметом, создававшим хоть какой-то уют, была гитара с бантом, лежавшая на шифоньере. Но для сегодняшнего случая она была совершенно неуместна. Витя подтащил к своей кровати круглый трехногий стол, прежде стоявший посреди комнаты, с другой стороны подставил два стула. Вместо скатерти застелил стол листами газеты «Правда», из тумбочки достал четыре граненых стакана, две вилки и две ложки, одну алюминиевую, другую деревянную, достал охотничий нож и поставил на стол три косоватых тарелки из нержавеющей стали.

— Больше тарелок нету, — сказал он виноватым голосом. — Могу у соседей еще одну попросить. Если, конечно, кого-то дома сейчас застану. Что не факт.

— Да не надо, — отмахнулся второй пилот, — обойдемся.

Механик поставил рядом с тарелками бутылку «Столичной», командир добавил к ней фляжку «Кизляра». Далее на столе появилась стеклянная банка с салатом «Охотничий» из маринованных овощей Тираспольского консервного завода, а также банка рыбных консервов «Лещ в томате» — откуда-то с низовьев Дона. И достойно завершила эту простецкую сервировку буханка белого хлеба с варварски вырванной торцевой коркой.

— Вот и все, — сказал гостеприимный хозяин. — Как говорится, чем богаты, тем и рады.

Вскрыли банки с консервами, нарезали толстыми ломтями хлеб, разобрали стаканы, вилки и ложки. Механик, на правах хозяина выбрав себе единственный щербатый стакан из четырех присутствующих на столе, откупорил «Столичную» и начал разливать ее.

— Простите, ребята, — виновато сказал Константиныч, плеснув себе в стакан из



фляжки с «Кизляром», — я коньяк пить буду. Мне врачи водку пить не позволяют, говорят, для меня это вредно.

— Про это тоже анекдот есть, — востропнулся второй пилот.

— Нет уж, сегодня, пожалуй, обойдемся без анекдотов, — жестко сказал командир.

— Ну... за упокой души раба Божия Ивана, — торжественно объявил радист. — Да простятся ему все его прегрешения, вольные и невольные.

— Вечная память! — согласился второй пилот.

— Погодите, ребята, так нельзя! — поставил на стол свой стакан с водкой механик. — Какой упокой души?! Какие прегрешения?! Вы что?! Ведь он еще живой!

— А как мы узнаем, когда он помер? — спросил радист.

— Да теперь уже никак! — грустно ответил командир. — Теперь мы знаем только, что умрет он там непременно... А вот когда... Выжить полярной ночью без еды, без одежды, без топлива, без дома, да еще в одиночку — невозможно. А потому выпьем и просто скажем — светлая память тебе, дорогой наш Иван Сергеевич!

Молча, не чокаясь, выпили, понюхали ломти хлеба, стали закусывать.

— Пусть будет тебе пухом жесткая и мерзлая земля Тулай-Киряки... — после паузы добавил зачем-то радист.

— Ну уж нет, вот этого-то как раз и не будет... — буркнул Константиныч. — По весне, как только начнет снег сходить и покажутся первые проталины, мы за его телом непременно слетаем, привезем домой и похороним так, как положено. По-человечески, по-христиански. Песцам и канюкам тело на съедение не оставим.

— Это точно, — согласились все.

— А ведь так получилось, что это я стал его убийцей, — уныло сказал Петр Константинович. — Это же я уговорил его отправиться на охоту за куропатками на Тулай-Киряку, будь они неладны!..

— Ладно, кончай, Константиныч, самоедством заниматься! Ведь, почитай, все, кому не лень, на охоту и рыбалку у нас так летали и летают. И никогда ничего особенного не происходило. Сколько работаю здесь, в авиаотряде, ни одного такого случая не знаю.

— Ну да... Так оно и есть... Никогда и ничего... А вот тут — на тебе!.. Просто уж так получилось!.. — вразнобой загалдели мужики.

— Ведь не ты же, Константиныч, виноват, что аварийно-спасательный рейс выполнять пришлось! И не ты виноват, что потом на четверо суток с гаком туман на весь Таймыр лег! И не ты виноват, что после тумана двое суток свирепый ураган там буйствовал!.. И не ты...

— А кто, если не я?..

— Север... — задумчиво произнес радист. — Он не только оплошек нам не прощает, но и такие, бывает, оплеухи закатывает, что только поворачивайся. И если бы не наше северное братство...

— Предлагаю за это выпить, — быстро встрял в разговор механик. — За северное братство!..

Он разлил водку, оставшуюся в бутылке, по стаканам. Командир налил себе коньяка из фляжки, поставив опустевшую тару на пол, после чего все сосредоточенно выпили.

Повисла пауза.

— А что, мужики, может, мне еще за одной в магазин сбегать? — предложил хозяин гостям. — Или даже за двумя?..

— Нет, хватит, — решительно встал командир. — Хотя, если честно, хочется мне сейчас надраться до поросычьего визга... Послать все к такой-то матери — и просто напиться! Ведь что бы вы там ни говорили, а виноват тут я один. Хотя и не желал я такого исхода. И никак его не предполагал. А поди ж ты...

— Да-да, пожалуй, и вправду пора кончать, — суетливо добавил второй пилот, искоса глядя на командира. — Айда по домам, мужики. Тем более что у нас уже и

закусь вся кончилась. Все одно к одному.

— Ну... закусь — это не проблема, — неуверенно попробовал возразить механик, но его никто не поддержал. — Можно и подкупить маленько. До магазина-то всего три шага...

— Нет, все. Встали и разошлись! — жестко сказал командир. — Завтра к девяти всем быть в форме... несмотря ни на что.

Глава 5

Иван в бледно-сиреневых сумерках стоял на вершине небольшой сопки, возвышавшейся над долиной перемерзшей Фрамки, и рассматривал окрестности, за последние двое суток основательно укутанные снегом. Совсем низко (казалось, подпрыгни — и достанешь рукой) громоздились плотные белые облака. Все вокруг было застлано полупрозрачной белой мглой. Иван чувствовал себя помещенным в центр некоего шара, в котором все было белым: бела земля, насколько хватало глаз; бело небо; белы все предметы кругом; белым был и сам воздух. Окружавший его мир потерял все и всякие ориентиры, исчезли понятия размера, расстояния, перспективы. Любый камень, лежавший совсем рядом, на склоне, мог оказаться огромной скалой, расположенной черт знает где, далеко-далеко, у самых Быррангов. И та дальняя скала, с которой пикировали на свою добычу прожорливые канюки, торчащая довольно далеко, у самого выхода на равнинную тундру, километра три отсюда, представлялась теперь небольшим возвышением, переместившимся к нему под самые ноги.

— Как там сказано у классика? — горько усмехнувшись, спросил он сам себя, а потом процитировал по памяти:

«И не пуская тьму ночную
 На золотые небеса,
 Одна заря сменить другую
 Спешит, дав ночи полчаса».

Все, как у него, только с обратным знаком, совсем наоборот: небеса не золотые, а черно-фиолетовые; полчаса выделяются теперь не ночи, а дню, вернее, светлым сумеркам; а остальное время — не светлый майский день, а черная полярная ночь. Хорошо еще, что пока не очень холодно, градусов десять, не больше. Но это ненадолго. Еще день-два, поднимется давление, придет северный ветер, а с ним сорок градусов ядреного морозца. И тогда все — привет родителям! У него ведь даже порядочных меховых рукавиц с собой нет...

Он обмел рукой большой круглый камень и уселся на него.

— Вспомним главное правило всякого путешественника: если чувствуешь, что заблудился, сядь и переобуйся. Иначе говоря, сядь, соберись с мыслями, успокойся и проанализируй ситуацию... Итак, что же мы имеем? Подытожим все плюсы и минусы нынешнего положения... Начнем с минусов, ибо их значительно больше, да и сами они значительно больших размеров, чем эфемерные плюсы. Полярная ночь, можно сказать, уже наступила... Лег снежный покров месяцев на восемь-девять и надежно прикрыл все ориентиры вокруг... Скорее всего, с вертолетом Константиныча или с ним самим что-то случилось, а без него найти меня здесь не сможет никто. Поэтому рассчитывать на то, что меня отсюда в ближайшие полгода кто-то сможет вытащить, не приходится. Палатки у меня нет — ураган изорвал ее в клочья. Надежной одежды и обуви, необходимой для полярной зимы и ночи, тоже нет. Нет, кое-что, конечно, у меня все-таки есть, но этого явно недостаточно. Продуктов питания на такое время, даже с учетом добытых куропаток и жирного зайца, мне тоже явно не хватит. Примус только один... если он выйдет из строя, мне тоже крышка. Тем более что вертолетное горючее для «Шмеля» на самом деле не слишком годится. Пока, правда, он как-то работает, но, во-первых, это ненадолго, а во-вторых, головку его



придется постоянно чистить... Еще... Тулай-Кирыка, как известно, самое волчье место во всей округе. Конечно, большая часть волчьих стай за стадами диких оленей сейчас откочевала на юг, к границе лесотундры. Но даже для тех, что остались, я вскоре стану легкой добычей. А если с побережья набежит какой-нибудь шальной белый медведь, то вообще говорить не о чем. Правда... у меня есть хорошее ружье и пара дюжин патронов с пулями и картечью. Но что это за припас на девять месяцев... Фрамка со дня на день совсем перемерзнет, так что воду я смогу получать только из снега, но для этого его нужно будет непрерывно греть, а где я возьму столько горючего? Ну и как, хватает у меня минусов для того, чтобы опустить руки?.. Пожалуй, хватает! С лихвой... Теперь о плюсах. Их немного, но они есть. Я здоров, полон сил и энергии, а главное, пока не упал духом. У меня вполне приличное оружие и неплохой комплект боеприпасов. Он невелик, но если расходовать его экономно и с умом, можно продержаться довольно долго. У меня отличный спальный мешок, прекрасное теплое белье, надежные торбаза и очень неплохой примус, а к нему — целая бочка авиационного горючего. Хоть работать на этом горючем примусе не приспособлен, но все это преодолимо. Но самый главный мой плюс — пусть и хромой на одну лыжу, но настоящий каркасный дом, санный балок с печкой и запасом угля, обтянутый изнутри портяночным сукном, который щедрое провидение послало мне в моих охотничьих скитаниях. Расположен этот балок довольно далеко отсюда, километрах в семи-восьми, если по прямой, а с крюками и зигзагами, пожалуй, и все десять... и там-то меня уж точно никто искать не станет. Но здесь, в долине Фрамки, где меня, возможно, все-таки будут искать, больше недели я никак не протяну. Вот и решай тут...

Он помолчал, закурил, а потом саркастически ответил самому себе:

— Впрочем, чего тут решать-то... Можно подумать, что у меня есть хоть какой-то выбор... Все же совершенно очевидно: выжить я смогу только в найденном мною балке... Поэтому все имущество мне надо умудриться как-то переправить на северо-запад, вниз, к основанию каменного торта, через распадки, осыпи, острые скалы, где и в гору, петляя в темноте, без каких-либо ориентиров, по памяти и наитию. И таких ходок мне придется сделать не менее трех... или даже четырех. И одну из них — со стокилограммовой бочкой горючего. Судя по всему, работать мне придется без сна и отдыха, поскольку пурга, сорокаградусный мороз или туман могут свалиться мне на голову в любой момент. И весьма маловероятно, что коварная природа будет настолько любезна, что отпустит мне на этот трудовой подвиг более двух суток. Так что, дорогой Иван Сергеевич, хватит рассуждать о вариантах, распускать нюни, жаловаться на несправедливую судьбу и хныкать. Как говорила наша мудрая партия устами своего впоследствии оскандалившегося лидера Никиты Сергеевича Хрущева, цели определены, задачи поставлены; за работу, товарищи!

Он затушил папиросу, окурочок аккуратно спрятал в карман и стал осторожно спускаться в долину Фрамки к своему разоренному ураганом лагерю. Дважды, поскользнувшись на снежнике, он едва не загремел вниз, но на ногах все-таки удержался, решив впредь быть очень осторожным, даже если для этого придется двигаться с черепашей скоростью: сломанная кость, растянутые связки или даже простая судорога мышцы — это для него верная и мучительная смерть.

Собираясь в долгую и опасную дорогу на равнинную тундру, первым делом он развернул пачку из-под «Беломора» (другой бумаги у него с собой просто не было), две последних папиросы аккуратно положил в карман, помусолил огрызок чернильного карандаша и написал крупными буквами: «Я в брошенном геодезистами балке, с западной стороны Тулай-Кирыки, возле отвесной скалы, напротив гор Бырранга, в восьми километрах отсюда. Иван». Потом с помощью куска стальной проволоки прикрепил эту записку к единственной оставшейся в целости растяжке от своей бывшей оранжевой палатки таким образом, чтобы это послание не сразу завалил снег и не порвал в клочья ураганный ветер.

Далее охотник разделил имущество на части, чтобы никакая порция его не ока-



залась чрезмерно тяжелой. Ему предстояло доставить вниз, на равнинную тундру, к благословенному балку, через распадки, скалы, наледи и осыпи много чего, при этом следовало тщательно продумать, как он будет все это нести на плечах или волочить по льду и снегу, ибо никакого транспортного средства у него не было, а сделать его было не из чего.

В первую часть поклажи Иван определил рюкзак с теплой одеждой, саперную лопатку, оружие с боеприпасами, сумку с географической картой, спальный мешок с надувным матрасом и примус, который он решил тщательно упаковать в чехол от своей разодранной и потому теперь уже бесполезной палатки. Туда же он добавил топорик и посуду: чайник, котелок, кружку, миску и ложку. Из продуктов вначале хотел взять с собой только чай и сахар, но потом, после некоторого раздумья, добавил туда соль, спички и одну пачку «Беломора» вместе с сохранными окурками и двумя сиротливыми папиросами из разорванной пачки, на которой написал свое послание.

— Даже если по какой-то причине оставшаяся часть имущества и пропадет, пока я буду в путешествии, — сказал он сам себе, — или если у меня не будет возможности потом повторить этот маршрут, с первой порцией снаряжения в балке я какое-то время продержаться смогу. А там — как бог даст...

Обрезав у палатки все растяжки, кроме той, на которой было надежно укреплено послание к неведомому пока спасителю, и накрепко связав их, он изготовил большую и прочную веревку для транспортировки грузов и соорудил большой куль, крепко связав надувной матрас со спальным мешком, поместив внутрь куля еще и добытого на охоте зайца. Ружье поначалу он хотел нести в футляре, приторочив сверху к рюкзаку, но, поразмыслив, решил, что на всякий случай нужно в пути иметь оружие под рукой, поэтому загнал в стволы патроны, пристегнул ремень и повесил двустволку через плечо. Конечно, передвигаться таким образом было менее удобно, зато безопасно.

— Если буду отсутствовать здесь достаточно долго, — в раздумье протянул Иван, оглядывая останки своего разоренного лагеря, — мне, пожалуй, могут нанести визит непрошенные гости: песцы, волки, канюки и даже полярные совы. Поэтому добычу нужно как следует защитить от них.

Он собрал мешки с добытыми куропатками, уложил их на землю и завалил остальным имуществом, после чего с помощью саперной лопатки наделал снежных кирпичиков, которыми огородил кучу. Укрыв все брезентом и укрепив края камнями, взял примус и щедро полил снег вокруг воздвигнутой кучи, чтобы запах бензина отпугнул зверей и птиц.

Бочку с бензином он решил все же катить к балку не последним, а вторым рейсом, поскольку без горючего было не выжить даже в дарованном судьбою доме.

Иван вскинул себе на спину тяжелый рюкзак, повесил на плечо ружье, поглубже нахлобучил заячью шапку, завязав ее тесемки под подбородком, двумя руками ухватился за лямки большого куля и, перекрестившись в сторону востока, отправился в далекий и трудный путь, который предстояло проделать несколько раз.

На первый рейс до нового дома он затратил более четырех часов. В дороге он несколько раз терял правильное направление, плутал, возвращался назад и начинал движение с новой точки. Но всякий раз находил нужные ему ориентиры и собственные указатели, выложенные камнями и видимые издали, которые указывали движение в обход препятствий или к пологим спускам. А еще говорят, что русский мужик лишь задним умом крепок — и кто только его надоумил оставлять все эти знаки ночью, на обратной дороге от найденного балка к долине Фрамки... Как он мог знать, что они впоследствии пригодятся? Что руководило им при этом — интуиция, здравый смысл, трезвый расчет или просто русское *авось*?..

Поначалу небо было плотно укутано облаками, ни луны, ни звезд не было видно, лишь снег, покрывавший все вокруг, слегка подсвечивал крошечную тьму. Но на третьем часу движения поднялся ветерок, который вскоре начал потихоньку развеи-

вать небесную вату, и у Ивана над головой начали появляться темно-синие дыры, украшенные звездами.

Несколько раз ему пришлось, взвалив куль на плечи, преодолевать с ним горные преграды для того, чтобы потом снова волочить его по льду и снегу. Преодолев небольшую седловину, Иван вышел к той самой кромке горного обрыва, откуда десять дней назад он увидел у подножия Талай-Киряки-Тас брошенный дом. Приглядевшись, он ахнул, а ноги его сами собой подкосились — никакого балка и вообще ничего такого в той стороне не было.

— Что же мне теперь делать, граждане? — спросил неизвестно у кого ошарашенный путник. — Нести всю поклажу назад? С какой целью? Где теперь и из чего строить новый дом, в котором пережить полярную зиму? Но... самое главное — куда мог подеваться балок?..

Он уселся на куль с вещами, еще раз осмотрел все вокруг и задумался, пытаясь понять случившееся. Сначала он решил, что сбился с пути и вышел не туда, но все ориентиры были на месте. Всё было на месте... кроме балка. Куда же тогда мог подеваться дом, на который он так рассчитывал? Иркутские геодезисты давно улетели к домашним очагам. А если даже и не улетели, то возвращаться назад, к засыпанному снегом горному массиву, за нетранспортабельным теперь домом им никакого смысла не было. Да и для того, чтобы починить «ногу» дома, им пришлось бы тащить сюда по бездорожью ремонтную бригаду, оснащенную сваркой и газовыми баллонами, а где их взять на Таймыре... Мало того, ничем, кроме вездехода, утащить санный балок отсюда невозможно. Это под силу разве что космическим пришельцам с их летающими тарелками.

— Этого не может быть, — твердо сказал себе Иван Сергеевич, — потому что этого не может быть никогда! — и с этими словами он стал спускаться вниз, чтобы разобраться в ситуации на месте.

Через два часа, устав до изнеможения, несколько раз едва не сорвавшись с осыпи, чуть не упустив куль с постелью и примусом в обрыв, но все же благополучно добравшись до цели путешествия, Иван наконец понял, в чем был секрет пропавшего дома. Как и следовало ожидать, космические пришельцы были тут абсолютно ни при чем — хотя балка издалека и не было видно, на его месте возвышался снежный сугроб, из которого торчала лишь печная труба, увенчанная искрогасителем.

Через час с помощью саперной лопатки Иван откопал дверь дома и расчистил пространство вокруг. Похоже было на то, что прямо на дом приземлилась пронесшаяся по крутому склону небольшая снежная лавина. Или направление ветра было таким, что снежная буря, бушевавшая здесь двое суток, билась о вертикальную стену склона, потом осыпалась вниз, прямо на балок, и намела поверх него порядочный сугроб... Впрочем, охотника это уже не интересовало. Он с трудом открыл дверь и вошел в свое новое жилище, едва не споткнувшись о ящик с солеными рыбами-маломерками, стоящий в тамбуре балка. Здесь же, рядом с ящиком, лежали телогрейка, шлепанцы и кувалда со сломанной рукояткой, которые он в прошлый раз догадался занести в тамбур, будто кто-то неведомый, но мудрый руководил всеми его действиями тут, на Тулай-Киряке. За что ему, разумеется, теперь причиталась благодарность.

Поначалу Иван собирался отправиться назад, чтобы прикатить бочку с горючим. Однако вскоре понял, что сил для этого у него уже нет. Риск не рассчитать свои силы и попросту не дойти полярной ночью до долины Фрамки был, пожалуй, выше, нежели вероятность ухудшения погоды назавтра. Кроме того, путешественник смертельно хотел есть и спать, потому решил отложить второй поход, чтобы перекусить, выпить горячего чая и поспать пару часов.

Первым делом Иван зажег толстую, слегка оплавленную свечу, все так же стоящую на столе рядом с потрепанным томом «Робинзона Крузо», затем вышел на улицу и плотно набил чайник снегом, до предела накачал примус, открыл вентиль и поднес к головке «Шмеля» горящую спичку. Однако привычное гудящее синее пла-



мя примус из своих недр не исторг — в балке «Шмель» работать категорически отказывался. Примус и не мог заработать, ибо в нем не было ни капли горючего. Взять его было неоткуда, поскольку все оно осталось в старом лагере, в долине Фрамки. К счастью, тут была печка, а в тамбуре оставался небольшой запас угля. Заодно можно было протопить дом и проверить, как у печи с тягой и можно ли на ней вскипятить чайник. Иван немедленно приступил к делу: в небольшой аккуратный совочек, прислоненный к одной из ножек печи, выгреб золу, из тамбура принес сломанную ручку от кувалды и настрогал с нее здоровенный пук сухих стружек, а из остатка наделал лучины. Потом взял со стола свою давешнюю и ненужную теперь записку, положил ее над поддувалом, сверху навалил гору стружек, а на них веером сложил все лучины. Но прежде чем поднести туда зажженную спичку, вышел на улицу (заметив при этом, что там основательно похолодало) и, отойдя метров на пятьдесят, выкинул золу — не стоило гадить там, где он собирался брать снег для воды, лучше все лишнее выбрасывать подальше. То-то потом здесь ягель уродится — столько минеральных и прочих удобрений получит тундра!

Огонь в печурке он разжег с одной спички. Когда в топке заалело, принес из тамбура пару совков каменного угля и засыпал его в печку. Вскоре в балке начало заметно теплеть. Иван тотчас же поставил на печку чайник со снегом, — это следовало сделать сразу же, да вот не сообразил.

Снег в чайнике быстро растопился, после чего Иван добавил новую порцию снега, и вновь — под самую крышку. Выскакивая на мороз, повторил эту операцию трижды — до тех пор, пока чайник целиком не наполнился чистой водой. При этом Иван заметил, что дым из трубы поднимается вверх столбом. Следовательно, тяга хорошая, на печурку можно положиться.

Вернувшись в дом, Иван решил освободить сковороду от остатков последней трапезы бывших хозяев, но с удивлением и радостью обнаружил, что еда не пропала за это время, а просто замерзла, потому, если ее разогреть на печке, вполне будет годна к употреблению.

Затем он взял зажженную свечу и отправился с нею исследовать внутренности тамбура. Все было свалено в большую кучу, но в ней новому жильцу удалось найти много полезных вещей. Сначала он отыскал фарфоровый чайничек — без ручки и со слегка отбитым носиком, зато с целой крышкой, в которой была просверлена маленькая дырочка. Там же громоздился здоровенный куб из плотной фольги, в котором прежде хранились галеты. Теперь галет там почти не было, только на самом дне можно было наскрести десятка два поломанных печенюшек, но и это было благом при отсутствии у Ивана хлеба.

Покопавшись в рыбном ящике, обитом брезентом, Иван выловил из рассола с полдюжины пузатых сижков, здесь же, на щербатой разделочной доске, извлеченной из той же кучи, выпотрошил их, вырвал жабры и убрал почки. Все сиги оказались икряными. Он очистил икру от ястычных пленок и сложил ее в большую щербатую миску, чтобы приготовить северную «пятиминутку».

Вскоре в тишине, прежде царившей в балке, постепенно нарастая, вдруг послышался какой-то уютный звук, источник которого охотник понял не сразу. Иван заглянул за печку — и понял, что это ожил и запел чайник. Истрадавшийся путник тщательно ополоснул фарфоровый чайничек кипятком, повесил его на носик большого железного чайника, чтобы обдать внутренности паром, засыпал туда пригоршню черного чая, поверх него сыпанул из ложки немного сахара, а потом, сняв крышку с железного чайника, водрузил вместо нее свою находку со всем приготовленным. Минут через пять все пространство балка наполнилось запахом индийского чая, и Иван уселся блаженствовать.

Поначалу управиться с заварником ему никак не удавалось: горячий чай из отбитого носика проливался куда угодно — на руки, на стол, на штаны, только не в кружку. Но постепенно он приспособился — и уже через полчаса, насладившись крепким чаем вприкуску с галетами, густо намазанными розовой икрой, не раздеваясь, улег-



ся поверх своего спального мешка, собираясь проснуться через пару часов.

Проспал Иван около пяти часов, но проснулся мгновенно, как будто кто-то толкнул его кулаком в бок. Было все так же темно, однако печка была еще теплой, в ней сохранились даже два-три алых уголька. Он осторожно раздул их, убедившись в том, что огонь добыть можно, и решил пожертвовать портретом Аристотеля для того, чтобы вновь возродить в печке пламя, рассудив, что мудрец из древности ему здесь совершенно ни к чему, без него он вполне сможет обойтись — и сорвал с портяночного сукна, покрывавшего балок, фотографию. Мудрец просто так сдаваться не хотел, уколов неучу палец — в журнальный лист, вырванный из «Огонька», была воткнута швейная игла с обмотанной вокруг нее суровой ниткой. В темноте, лишь слегка подсвеченной отблесками углей из печки и светом луны, скупо мерцавшим через окошко балка, разглядеть иголку с ниткой было невозможно.

— Вот и подарочек получил от гения... через века, — посасывая травмированный палец, сказал себе Иван. — А то ведь ни нитки, ни иголки с собой из дому не захватил.

Он нащупал иглу, вытащил ее, воткнул в ворот рубахи и обмотал вокруг иглы нитку. После чего скомкал портрет великого человека, сунул его в печь, принес из тамбура два кусочка угля, положил их на скомканный лист и начал раздувать пламя, вскоре достигнув успеха. Затем он поставил на печку сковороду с остатками трапезы прежних хозяев и примостил рядом чайник с остывшим кипятком.

Жареный голец с картошкой и луком, приправленный томатным соусом, оказался не только съедобным, но даже довольно вкусным, несмотря на то, что простоял на столе около трех недель. Выходило так, что суровый климат высокоширотной Арктики имел в наличии и кое-какие достоинства. Например, холодильник здесь был совершенно не нужен.

Пора было отправляться в дорогу за бочкой с горючим. Но прежде он развесил в тамбуре повялительные выпотрошенных вчера сижков и вымыл посуду. Горячие угли в печке Иван заливать не стал — тепло в доме он решил максимально беречь, а опасность пожара тут отсутствовала напрочь.

Проверив одежду и обувь, набив карманы патронами, он нацепил на плечи пустой рюкзак, взял ружье и саперную лопатку и, снова перекрестившись, отправился в путь.

Дорога в долину Фрамки была ему теперь отлично знакома, потому в этот раз заняла всего два часа с небольшим, тем более что его сегодня подгонял серьезный морозец — длина *ыха* при этом, горизонтального столба пара изо рта, составляла не менее полуметра, а усы, борода и ресницы путника сразу же заиндевели. На знакомый перевал, с которого уже можно было разглядеть останки брошенного им лагеря, он вышел как раз в тот самый момент, когда небо на востоке начало выцветать, постепенно становясь из черного темно-фиолетовым, а затем и темно-синим. Однако звезды на небесах продолжали все так же ярко сверкать, а огромная желтая луна, слегка скособочившаяся, по-прежнему заливала все вокруг жутковатым светом.

Вокруг разорванной палатки он заметил много следов, в основном песцовых, но ни один зверь не посмел покуситься на его имущество — запах горючего надежно охранял от любых посягательств. Записка на палаточной растяжке тоже оставалась в целости, ее легко можно было развернуть и прочесть. А сверху, на снегу, под которым скрывался рукотворный склад, все так же лежала плоская плита известняка, на которой охотник отмечал дни своего пребывания на Тулай-Киряке. Иван расстегнул чехол, висевший у него на поясе, достал нож и поставил на плите еще две отметины — одну большую и одну маленькую. Оттащив плиту в сторону, он раскопал схрон и переложил из него в рюкзак все оставленные там продукты питания, две толстых стеариновых свечи, деревянный ружейный футляр с шомполами, машинным маслом и протирочным материалом, а также предметы гигиены и ракетницу с ракетами. Немного подумав, он добавил туда еще и точильный камень, найденный



на берегу Фрамки. Теперь из всего имущества у него в разоренном лагере остались только мешки с добытыми на охоте куропатками, которые он вновь закинул в большую кучу, обложил ее снежными кирпичами, а сверху бросил все ту же плиту, вновь обильно полив горячим снег вокруг. Крупы, макароны, сухофрукты, считал Иван — это все семечки, еда на один зуб. Главное питание на севере — это мясо. Потому вернуться за охотничьей добычей нужно было как можно скорее.

С помощью ножа и крупной окатанной речной гальки он до отказа закрутил крышку на бочке, надел на плечи увесистый рюкзак и отправился назад, катя перед собою почти полную стокилограммовую бочку.

На обратный путь времени ушло вдвое больше, а уж сил — вдесятеро. Несколько раз он останавливался перед, казалось бы, совершенно непреодолимой преградой, на которую просто невозможно было взгромоздить тяжеленную бочку, норотившую каждое мгновение скатиться совсем не туда, куда было нужно хозяину, но всякий раз, собрав силы и волю в кулак, упрямо двигался вперед, к цели. Первую половину пути он прошел практически засветло, но уже к середине маршрута небо над ним стало быстро темнеть, зажглись яркие полярные звезды.

Добравшись до заветного обрыва, откуда уже был виден его новый дом, Иван решил отдохнуть перед самым трудным участком пути — вниз, на равнинную тундру. Когда глаза путешественника как следует привыкли к ночному освещению, он, посмотрев на свой балок, снова, как и в прошлый раз, ахнул: вокруг его дома бродили три какие-то неясные, но явно живые фигуры.

— Этого мне только не хватало, — изумившись, сказал он себе, — веселенькое тут местечко, не соскучишься! Кто же это может быть? Для людей эти твари слишком низкорослы и широки... Медведица с медвежатами?.. Чего ей тут делать... Олени?.. Откуда бы им тут взяться теперь — все дикие олени стада давно проследовали на юг, к границе лесотундры, туда, где побольше ягеля. Древний инстинкт гонит диких оленей ранней весной к границе льдов, а осенью — к границе лесотундры. И следуют они всегда одним и тем же путем, который пролегает довольно далеко отсюда. Домашних оленей здесь никто не пасет... Полярные волки?.. Но не бывает таких крупных полярных волков.

Охотник проверил свое ружье, взял его наперевес и стал осторожно спускаться вниз. Вскоре обнаружилось, что в гости к нему пожаловали олени: два красавца рогача-сокжоя и небольшая, явно домашняя самка-важенка, уведенная из родного стада. Судя по всему, эти трое появились здесь потому, что у домашней важеньки не было никакого понятия о миграции, как у ее диких сородичей, а у дикарей-самцов инстинкт продолжения рода оказался сильнее рассудка. Видимо, основательно вскружила этим молодцам голову похищенная красавица. В общем, все как у людей.

Взаимоотношения человека, живущего в тундре, с одомашненными оленями следует признать неравноправными, несправедливыми и даже отчасти свинскими. Ведь каждое домашнее животное получает от своего хозяина какую-то компенсацию за свой труд, за мясо, шерсть или молоко — регулярное питание, особенно необходимое в то время, когда самому животному добыть его не так-то просто или даже вовсе невозможно; а еще — кров, уход и заботу, защиту от хищников, регулярное освобождение от болезненных излишков молока. И только домашний олень, который целиком содержит своего хозяина в тундре, не получает от него ничего.

Питается домашний олень так же, как и его дикие собратья, ягелем, травой или грибами, и никакого корма оленевод для своего стада впрок никогда не заготавливает, сам ничем животных не прикармливает. И если дикий олень может круглосуточно пастись, где ему заблагорассудится, и лакомиться всем, что найдет в тундре, в свое удовольствие, то домашний — только в свободное от работы время и там, где ему позволит хозяин.

Никаких хлебов, овчарен, конюшен, коровников, а также укрытий или хотя бы загонов, никакой крыши над головой — никаких специальных помещений никто никогда для оленей не сооружает, пасутся они в тундре круглый год в точности так,



как и их дикие собратья.

Олень (как домашний, так и дикий) — животное стадное, а в стаде никакие хищники ему, в общем, не страшны. Полярные волки убивают только больных и слабых, отставших от стада животных. И тут судьба как диких, так и домашних оленей практически одна и та же. Даже собак, охраняющих стадо, у оленеводов практически нет — на Крайнем Севере у собак совсем другая работа. Стоит ли после этого удивляться тому, что особой любви к людям домашние олени не испытывают, при малейшей возможности сбегая от хозяина в безбрежную тундру. Особенно склонны к этому молодые важенки, которых уводят из стада дикие и свободолюбивые кавалеры-сокжои с их роскошными многоярусными рогами. Никакого труда им это не составляет — важенки природным чутьем понимают, что от спаривания с этими красавцами у них родятся здоровые и жизнеспособные телята.

Единственное, что получает домашний олень от человека — это дым, защищающий его от свирепого тундрового гнуса, комара и мошки. Перед этими маленькими кровососущими насекомыми олень совершенно беззащитен. У него нет ни хвоста, ни гривы, ему нечем обмахиваться. Гнус облепляет бедное животное двойным или тройным слоем, лезет в губы, глаза, уши. Набивается в легкие при дыхании, иногда даже до полного удушья. Поэтому дикие олени, сбиваясь в огромное стадо, в самом начале лета одной и той же дорогой устремляются на север, к самой кромке большого льда, где их мучителей, маленьких вампиров, практически нет. А стадо домашних оленей должно идти туда, куда его ведут пастухи. И вся защита от гнуса при этом тоже ложится на плечи человека. Недаром первое, что делают оленеводы при всякой остановке в пути — разжигают несколько больших дымокурных костров, от которых бывает хоть и не слишком много огня, но зато очень много дыма. Олени, сбиваясь в кучу, лезут в этот дым и готовы стоять в нем сколько угодно, балдея, как от наркотика — дым для них давно стал символом счастья. Вот почему, почувствовав запах дыма, валившего из печной трубы балка, важенка, потеряв голову, устремилась к нему, а следом за ней отправились и оба ее ухажера.

«Первым выстрелом беру важенку, — про себя прикидывал охотник, подбираясь к своим беспечным жертвам. — Похоже, она совсем молоденькая, может быть, еще нетель. Мясо у нее должно быть особенно нежным и вкусным. Вторым патроном укладываю ближнего рогача. Хотя мясо его не так вкусно, зато на нем должно быть много сала, а мне олений жир позарез необходим. Главное, подобраться к оленям как можно ближе, стрелять в упор и использовать не более одного патрона на каждого, потому что перезарядить ружье и сделать вторую пару выстрелов мне наверняка не удастся. Можно, конечно, добыть обоих рогачей и оставить важенку в живых, но одну ее сразу же приберут волки...»

Как и предполагал охотник, едва олени заметили движущийся к ним объект, они не бросились наутек, а наоборот, несмело зашагали к нему навстречу, чтобы понять, стоит ли его опасаться. Иван выждал небольшую паузу и, когда до животных оставалось метров десять, тщательно прицелившись, картечью выстрелил сначала в шею важнке, а затем — в голову ближайшему к нему рогачу. Оба зверя тотчас повалились на бока и задергали задранными вверх ногами. Третий же олень, мгновенно развернувшись, кинулся прочь и через несколько мгновений растворился в темноте. Впрочем, судьба его Ивана уже не интересовала.

Он вытащил свой нож, бросился к поверженной важнке и одним ударом прекратил ее страдания, перерезав своей жертве горло, откуда горячим густым потоком хлынула кровь. Еще живой самец-рогач попытался подняться на ноги, чтобы избежать той же участи, но сил на это у него не было. Олень лишь дернул головой, взмахнул ногами и, смирившись с горькой участью, посмотрел на своего палача тоскливым взглядом. Вскоре все было кончено и с ним. Теперь перед Иваном на окрашенном кровью снегу лежали не живые существа, а просто мясо, продукт, жизненно необходимый человеку на севере. Опытный охотник знал, что если из туши сразу же не выпустить кровь, мясо будет не нежно-розовым, а темно-бордовым, и



вкус его заметно ухудшится.

— Простите, ребята, — сказал он своим поверженным, бездыханным жертвам, — но без вашего мяса мне тут не выжить. На одних куропатках я долго не протяну, да и они у меня еще даже не дома. Ну а зайца мне хватит дня на три-четыре, не больше.

После этого, не откладывая дела в долгий ящик, он приступил к разделке добычи. Отнес в дом ружье, прихватив оттуда топорик и мятый алюминиевый таз, стоявший под рукомошкой. Иван не мог позволить тушам замерзнуть, поскольку понимал, что на морозе его добыча через несколько часов станет совершенно каменной, тогда с нею будет уже не совладать. Сначала он отделил у оленей головы и ноги до колена, потом ножом вскрыл обе туши и сложил в таз ливер — языки, печенки, почки и сердца. Далее предстояло трудное, но важное дело — снять с оленьих туш шкуры. Сунув кулак в щель между шкурой и мясом, добытчик начал продвигать сжатую руку все глубже и дальше. Минут через сорок оба оленя, рогач и важенка, были «раздеты», а их шкуры валялись рядом, на снегу, шерстью вниз.

Далее Иван решил отделить от мяса оленье сало, пока туши совсем не окаменели на морозе. Сала на долгую зиму ему могло понадобится очень много — и нутряного, и подкожного. На важенке жира почти совсем не было, зато слой сала на рогаче был чуть ли не в ладонь толщиной.

Затем Иван отнес в тамбур балка таз с ливером и вывалил его содержимое в один из посылочных ящиков, выставив его внутренность листами из журнала «Огонек». Отправившись к лежащей на снегу добыче, он прихватил котелок, в котором варил похлебку и обнаруженную у геологов трехлитровую банку. Эти емкости он набил салом: котелок и банку — нутряным, таз — подкожным, после чего свою работу по обработке оленьих туш посчитал законченной. Поначалу он собирался с помощью ножа и топорика быстро каменеющие на морозе туши разделать на филей, грудинку, вырезку, пашину и другие составные части, но потом решил, что эта работа часа на три-четыре, а он уже и так порядочно устал. А ведь его ждала еще одна серьезная работа — предстояло спустить вниз бочку с авиационным горючим, от которого во многом зависела вся его дальнейшая жизнь. Поэтому охотник волоком протащил туши по снегу, одну за другой, к двери балка и поставил вертикально, прислонив к стенке тамбура. Немного поразмыслив, вынес из балка ящик с оленьим ливером и вывалил его содержимое в чистый мешок, который затем поглубже закопал в снег рядом с тушами. Емкости с оленьим салом он решил пока что оставить на морозе.

Порядочно устав, Иван зашел в дом и уселся на постели, рассудив, что заслужил перекур. Но топить печку в этот раз он не стал, решив лишь слегка перекусить и завершить начатое дело, спустив сюда бочку и рюкзак. В тамбуре в бездонной коробке из фольги он разыскал еще несколько поломанных галет, нарезал парочку подвялившихся сижков и все это запил холодноватым чаем.

Путь от того места на обрыве, где стояла его бочка с горючим и лежал рюкзак, до дома Иван вначале дважды проделал налегке, без груза, отмечая крутые, опасные и сыпучие места и заранее обдумывая, как при спуске избежать опасности и сохранить в целости драгоценный груз. Лишь в третий раз, осторожно катя перед собою бочку, он благополучно достиг своей цели.

Дома он первым делом под самую пробку заправил «Шмель», иголкой тщательно прочистил его, продул головку и уже затем, перекрестившись, поднес к ней зажженную спичку, предварительно накачав примус. «Шмель» чихнул, что-то неразборчиво пробормотал, немного подумал, а затем выбросил слабенький голубой огонек, который некоторое время колебался, обещая угаснуть, но вскоре окреп.

— Ну вот, так-то жить можно, — радостно потирая руки, сказал довольный таймырский Робинзон. — Теперь я и без куропаток не пропаду. Хотя сходить за ними на Фрамку при случае нужно. Зря, что ли, на охоту прилетал... Да и для разно-



образия стола это тоже не помешает.

Затем он перегрузил нутряное сало из котелка в сковороду геодезистов, а котелок тщательно протер и плотно набил снегом, после чего, отрезав порядочный кусок оленьей грудинки от туши важенки, стал готовить себе похлебку...

До отвала наевшись нежнейшего оленьего мяса и напившись горячего бульона, Иван решил выспаться. Но прежде надо было наготовить впрок как можно больше воды, заполнив ею все имеющиеся у него в наличии емкости. Заодно примус, на котором будет растапливаться снег, нагреет и помещение балка. Кроме того, нужно освободить таз от подкожного сала — любая посуда для него здесь очень важна, другую взять неоткуда.

Иван занес в дом с улицы таз со смерзшимся салом, на минуту поставил таз на примус, а когда чуть подогретая гора жира от металлической посуды отделилась, упрятал ее в заранее приготовленный чистый мешок, который сразу же вынес на мороз и закопал в снег рядом с «ливерным» мешком и стоявшими здесь же оленьими тушами.

Выполнив поставленные перед собой задачи, Иван разделся догола, вывесил белье на мороз, а сам залез в спальный мешок, завел часы и отправился в объятия к Морфею, решив в этот раз впервые за последние дни не ограничивать себя и выспаться как следует.

Проспал он часов десять, проснувшись бодрым и свежим, с ясной и не озабоченной никакими проблемами головой. Выйдя за дверь, Иван обнаружил, что на дворе существенно потеплело, но задул юго-западный ветер, пригнавший стада перистых облаков, которые сгустились, не обещая ничего хорошего. Было тревожно, как бы не началась пурга, которая могла навалить в старый лагерь снега выше крыши — и ищи-свищи тогда под ним добычу.

Позавтракав остатками вчерашнего ужина, охотник старательно оделся, обулся и подпоясался, собираясь в очередной поход. В пустой рюкзак он положил в этот раз лишь саперную лопатку и крепкую веревку, связанную из кусков палаточных растяжек; повесил на плечо ружье, рассовал по карманам ружейные патроны и отправился в путь, намереваясь прибыть на Фрамку как раз к тому самому сумеречно-светлому получасу, что отпущен ему теперь суровой северной природой раз в сутки.

Знакомую дорогу, которую он, кажется, теперь мог бы пройти и с закрытыми глазами, Иван преодолел быстро. Ветер все крепчал, а на заметно посветлевшем небе появилась на западе огромная снежная туча. Все признаки надвигающейся пурги были налицо. Охотник понимал всю серьезность грозившей ему опасности, потому решил поторопиться, но прежде обмел от снега свою «календарную» плиту, ножом сделал на ней еще три зарубки — две маленьких и одну большую, тщательно пересчитал получившееся, решив оставить плиту в прежнем лагере, а в новом доме завести новый календарь. Затем, раскопав рукотворную кучу, достал мешки с куропатками, тщательно перевязал, упаковал их в единый куль и, не теряя ни минуты, отправился в обратный путь.

Не успел он, поднявшись вверх по склону, перевалить первую гряду, как пошел густой снег. Сначала крупные белые хлопья спокойно падали сверху вниз, затем густой и мягкий снег, постепенно становящийся жестким и злым, подгоняемый к тому же свирепым и непрерывно усиливающимся ветром, начал изменять угол своего полета и вскоре уже летел параллельно земле. Идти же пришлось против ветра, который не только бил по слезящимся глазам, не позволяя ничего рассмотреть, но и не давал дышать, обжигая свирепым холодом, прошивающим насквозь все его многочисленные одежды. Иван под неукротимой мощью стихии был словно голым — ничто его не спасало, он продрог до костей, а ветер все продолжал крепчать, хотя, казалось бы, дальше было уже и некуда.

Уже через час все вокруг выло и стонало. Ветер, как разбойник, свистел в три пальца. Пригоршни колючего снега, превратившиеся в тысячи маленьких, но злых плетей, больно хлестали по лицу — если бы не обильная щетина, его щеки и подбо-

родок превратились бы в сплошное кровавое месиво. Каждый шаг давался путнику с огромным трудом, но он продолжал упорно продвигаться к своей цели, хотя давно ничего не мог рассмотреть даже на расстоянии вытянутой руки. В какой-то момент он даже начал корить себя, что напрасно отправился в путь из долины на равнину. Может быть, стоило там, в горах, выбрав местечко поукромнее, за ветром, закопаться в снег и переждать пургу. Он даже остановился, размышляя о том, что ему стоит вернуться назад, но быстро сообразил, что половину пути он уже прошел, потому возвращение бессмысленно со всех точек зрения. Но главное — впереди его ждал дом, со стенами и печкой, на Фрамке же ничего этого не было, была лишь реальная возможность замерзнуть насмерть. Кроме того, тащить под гору волоком здоровенный куль Ивану было заметно легче — обнаженные каменистые осыпи и скальные надолбы, которые он с таким трудом преодолевал прежде, взвалив ношу на плечи, теперь были покрыты снегом, утрамбованным ветром.

Последний час обессиленный путник, превратившийся в огромный снежный кокон, брел до своего балка чуть ли не ощупью, словно в бреду, используя каждую естественную преграду как защиту от свирепого ветра и летящего снега. Опасней всего был путь вдоль обрыва, когда он дважды едва не загремел под откос, но устоял на ногах и даже свою бурлацкую бечеву с охотничьей добычей не упустил. И уже внизу, на равнине, у подножия скал Тулай-Киряки, когда до балка оставались последние сотни метров, Иван, теряя силы, упал на четвереньки, схватил зубами бечеву и пополз по снегу, упираясь немеющими конечностями и волоча за собой охотничьи трофеи. Вскоре он понял, что с добычей до дому ему не дойти, бросил куль с корюпатками и продолжил двигаться налегке. Уже почти ничего не соображая, он дополз до дома, с трудом поднялся на те три ступеньки, что вели к входной двери, сорвал со стены флаг, рывком ввалился в тамбур, свалился там без сил и потерял сознание.

Сколько времени Иван провалялся в бесчувствии, он не знал, но, наверное, не слишком долго, потому что снежный кокон на нем не растаял, лишь превратившись в ледяную корку. Очнувшись, он с трудом встал, отряхнулся ото льда и на ватных ногах шагнул внутрь, где, впрочем, было не намного теплее, чем снаружи. Он присел к печке и обнял ее двумя руками. Печка была лишь чуть-чуть теплой, этого было явно мало. Из дровка флага Иван плохо слушавшимися руками ножом нарезал стружек и нащипал лучины, сложил в печку, добавил туда же выцветшее полотнище, которое смочил горючим из примуса, и все это сооружение поджег. После того как жалкие дровишки вместе с мокрым флагом взяли пламенем и начали бойко гореть, он набил печку кусками каменного угля из мешка и поставил сверху чайник с водой. Потом снял с себя обледеневшую одежду и развесил на просушку, а сам переделся в то сухое, что еще оставалось у него в запасе. Сверху он надел телогрейку и кожаные шлепанцы, после чего уселся возле благословенного огня.

— Ну что же, — сказал он при этом себе, — с новосельем тебя, Иван Сергеевич! Теперь тебе в этих хоромах жить-поживать да добра наживать.

После того как вода в железном чайнике закипела, смертельно уставший путник заварил полный фарфоровый чайничек крепчайшего чая (на это ушла последняя порция из пачки со слоном); к двум горстям крошек, добытых из галетного ящика, добавил малосольных сигов, к тому времени уже основательно провялившись в тамбуре; запил все это двумя кружками горячего напитка, разделся догола, залез в свой волчий спальный мешок и торопливо заснул...

Владимир БЕРЯЗЕВ

ПЕПЕЛ НАД ОКЕАНОМ

* * *

В трех соснах за стрелочным заводом,
За ж/д, за будкой, за трубой,
За стеной сугробов голубой,
За пургой под серым небосводом...

По соседству с сумрачным народом
И в обнимку с болью дорогой —
Мне бродить заблудшим сумасбродом
Ночью... драгоценной и нагой.

Тепловоз по железнодорожью
Сквозь снега сквозит наискосок...
А вертеп — не низок, не высок.
А в окошке видно — Матерь Божью.

Свет Звезды. Лишь губы шелестят..
Мне меня — неужели простят?..

ГОЛОСА

На уход Андрея Ширяева

— Ужель я всего лишь пепел над океаном,
Развеянный горстью с берега Эквадора?..
А жизнь — мрачней тюремного коридора.
А смерть — все больше мнится мне плагиатом...

— Из бездны небытия в октябре ослеплом
По кромке отчаяния иль по нити слезной
Вернись же — хотя бы прахом, хотя бы пеплом! —
И упокойся в родной тишине морозной...



НОВЫЙ МАЗАЙ

Дом стоит среди лывы,
Тонет, как пароход.
Облака, горделивы,
Все плывут на восход.

В Комсомольск-на-Амуре,
Где не густо чудес,
Мутью влаги и хмури
Прилетел МЧС.

Гля, мужик с орденами,
Во блокаде стихий,
Весь окружен волнами,
Русский флаг, вездесый,
Водружает на крышу,
Мол, Россия жива!
И плывет к нему, слышу,
МЧСа братва:

— Батя, с крыши слезайте,
Уж другие кричат!..
— Вы сначала спасайте
Восемнадцать зайчат!
Их добыл из пучины,
Затащил на чердак,
Нету малым причины
Погибать за пятак.

Среди ближних и братьей
Нам не надо стыдоб —
Даже если кондратий,
Даже если потоп.
Жми к соседке Маруське,
Там горилки запас...
Ну, какой же ты русский,
Если зайца не спас?

P.S.

Сказу верьте, не верьте...
Но предчувствуя снег,
Памятуя о смерти,
Собираю ковчег.
Во спасение узкий
То ли луч, то ли лаз...
Ну, какой же ты русский,
Коль ни слова не спас?

* * *

Зазноба ли?.. озноб ли позовет?..
Зазолотятся сумерки сознания.
Так дрожью бьет на взлете самолет.
Так дыбится кривая нарастанья,



Так пса пронзает мускульный разряд
От запаха приснившегося следа,
Так сладостно, самозабвенно-слепо
Вдыхают вертикальный снегопад,

Вдыхают ниспадение тишины
И с паузой вселенской единенье,
Где все миры во мглу погружены...
Но вдруг прозришь то самое мгновенье:

До бездны ослепленной... до основ,
До слез глубинных, до преображенья!
Есть музыка! Есть муза притяженья!
Уже не нужно возгласов и слов...

* * *

Между белой и алой — желтой розы бутон...
Мне лишь малости малой не достанет на том
Свете... Этого ль хлада
Лепестков или губ?
Да прощального взгляда
На бегу, на бегу...

* * *

Ложь запоматовав двояку,
Лень на вертел дня нанизав,
Ляг у речки, обняв собаку,
И следи сильфид в небесах.

Даже дремою запеленут,
Узри вновь, как в луче рябит,
Разверзая полдневный омут,
Рукокрылый хор аонид.

А очнешься – взорливший кочет!
Чиха высверк и смеха гром:
Это Муза ноздрю щекочет
Недогрызенным колоском...

* * *

Завыли собаки за Вислой,
Завесило снегом окно,
И март, как усталый завистник,
Все крутит немое кино
Потрепанных будней...
Напомни,
Из Скайпа ныряя в YouTube,
Как ты хохотала на пони
И прятала яблоко губ...



* * *

Затеряться в полях, в лабиринте проселка,
С непотерянным шансом — однажды вернуться на тракт.
Ибо почва — черна. И — высоко-высоко
Вновь печалью и болью курлычут свобода и страх...

Одиночества лед за грудиною тает.
Кто мечтает о славе, увы, до креста одинок...
А проселок ветвится и в небо живое вырастает.
За клубочком катясь, веруй! — это ль не главный урок.

Докатись до села, до околицы, возле погоста
Тормозни у кладбищенских ветел, постой у могил.
В майском ветре, родительски нежном, — и ясно, и просто —
Охолонешься веяньем тех, кого детской любовью любил...

* * *

Ветры с Карского моря по долгой дуге
Досягнули до кровель Алтая.
У меня ж за душой — лишь монетка-теньге,
Как потерянный май, золотая.

Тьма и холод опять норовят в кумовья,
Карусельную песню вертая,
Ты ль одна у меня, золотая моя?!
Как потерянный май, золотая...

И когда до небес полыхнет молонья,
Из любви-грозы прорастая,
Распускайся и ты, золотая моя,
Как потерянный рай, золотая.

* * *

Светонутро планктона мириадно,
Как брызги нерожденных Илиад...
Фосфоресцируй, семя океана!
Уже не мне тобой повелевать.

Я ныне трепещу, благоговя,
Над каждой искрой Божья Полотна,
Изъять и инфузорию не смея
Из твоего сиянья, Глубина!..

* * *

Есть ли какое подобье тебе, предрассветное степи дыханье?
Эта начальная тёмная дрожь, эта остуда в груди...

Вот уже тронуло ветром поля, колыхнулись овсы и пшеницы,
Облако зреет на гребне зари, слышится ржанье коня.

Вот уже вновь возникает во мне в нескончаемом рокоте славы
Древняя-древняя жизнь, давняя-давняя песнь.

Снова мне чудится дивная весть в набегающем гуле пространства...
Что так далеко поет? Что так высоко звенит?

МИХАИЛУ ЩУКИНУ, ДРУГУ И СИБИРСКОМУ РОМАНИСТУ

1. Каинская степь

Снега исходят пылью солнечной.
И степь да степь. И — путь далек.
А в сердце девичьем особенный
Трепещет неги мотылек...

Когда по льду, по льду каленому
Несутся санки налегке,
Подобно нерву оголенному,
Под колокольцы, на реке!

Гей, вороняя! Гей, родимая!
Топчи хребет версте обской,
Чтоб наши души нелюдимья
К ночи не залило тоской.

Распластан бич под свисты воздуха,
Запели песню полоза,
Лети, лети, уже ни роздыха,
Ни слова — снег да небеса!

Глаза слепит, а губы холодом
Свело... Уж мы настигли цель!
Гляди, закат январским золотом
Пал на пуховую постель...

2. Послесловие к роману

А рукопожатие длилось, длилось и не кончалось.
А рука ее выскальзывала, выскальзывала, выскальзывала.
По Московскому тракту летел он к ней до Каинска мимо Чауса.
По железной дороге она от него — в Московию мимо Каинска.

Где мы встретимся, где разминемся под небом единственным?
Неужели соединяемся лишь волею случая?
Погоди, погоди, умоляю, молю тебя Богом истинным,
Ты моя несравненная, ненаглядная, самая-самая лучшая!

Паровозный гудок покатился по степи, по степи барабинской.
А колеса на стыках, как сердце, болью разбитое.
Кому лад да любовь, а кому и сыра доска,
Как последняя Господу нашему челобитная...

* * *

Спас-уберег от ледовой любви азийской,
иглами инея схваченный было чуток,
Звёздочки, октябринки, астры новобельгийской,
вот он — последний, последний, последний цветок...

Виктор МЕДВЕДЕВ

ШОМША — ЭТО ПО-НАШЕМУ!

Репортерские байки

Прыщ съел

В колхозе имени Свердлова жила-была некая Фекла Митрофанова — знаменитая на весь район орденоносная доярка, молодая, красавица-недотрога и, главное, комсомолка. Ее портреты в обществе рогатых и комолых буренок не сходили со страниц районной газеты. А вот в личном плане дела у местной знаменитости обстояли, как говорится, из рук вон плохо. Ее подружки уже успели выскочить замуж и нарожать не по одному ребятенку. А Фекла все продолжала неистово верить в сказку про принца, мечтала, что вот он зашлет к ней сватов, или прикатит на своем красноезвездном зерноуборочном комбайне прямо во время страды к родовому митрофановскому пятистенку, да и подхватит Феклу под микитки крепкими ручищами и посадит за штурвал своего степного корабля, и взмолится, стоя на коленях:

— Будь моей женушкой, ненаглядная ты моя, Феклушка!..

А она промокнет алые губки кончиком красной косыночки и промолчит, мол, согласная. После этого они, разумеется, поженятся. И будут жить долго и счастливо.

Но принц все никак не объявлялся — ни конным, ни пешим, ни уж тем более на красноезвездном комбайне.

Да и не принцы тоже не докучали Фекле обиванием порогов со своими жениховскими предложениями. Простого деревенского мужика инженеры, врачи и прочая интеллигенция, равно как и передовики производства, которые были тщательно обласканы райкомовскими работниками, отторгали от себя. Поэтому ни красота Феклы, ни тем более высокие производственные показатели по надоям молока возбуждающего эффекта на мужиков-односельчан не имели. К тому времени ей уже успело перевалить за 24. По деревенским меркам того времени — уже старуха.. А жениха все как не было, так и нет.

Справедливости ради скажу, в ее жизни кавалер все-таки был. Лет пять тому назад в деревне объявился некто Степка Мохов, эмтээсовский тракторист. Щеголь. Восьмиклинка набекрень, а из-под нее в одну сторону кудрявый чуб нахально выбивался, писк тогдашней моды. Три вечера он танцевал с Феклой. Деревенские не замедлили отметить, сразил своим чубом тракторист девку.

А тут как-то в деревне престольный праздник приключился — Михайлов день. Он по новому церковному календарю и по сей день ежегодно отмечается, 21 ноября. После клубных посиделок Степка, а плут-то он еще тот был, напросился к Фекле домой в гости.

— Пойдем, — не думая ни о чем дурном, согласилась она. — Мои складчину отплясывают у соседней..

Но, как говорится, был женишок да сплыл.

А тут еще одна страшная напасть — красоту ее начал есть прыщ. То на лице, то на теле поганый нежданно-негаданно вскочит. Обратилась Фекла к сельскому фельдшеру Сергею Петровичу. Он еще в Гражданскую войну в коннице Буденного коновалом состоял, лошадей кастрировал. Позже, обнаружив склонности к медицине человеческой, окончил курсы и стал фельдшером. Много чего в своей области знал и умел.

Так вот, пришла Фекла к нему с жалобой — прыщ заел. Сергей Петрович обошел молодуху вокруг, осмотрел голую спину и сказал:

— Да, Фекла, дела твои плохи, — печально подбирался к установлению точного диагноза Сергей Петрович.

— Не томите...

— Гормональный голод, пожалуй, будет пострашнее ленинградской блокады.

— Неужели все так безнадежно?..

— Не ровен час, так прыщ тебя заживо всю съест. Это ж надо — хворь-то какая!

— Что делать? В чем причина? — домогается до фельдшера Фекла. — Не томи-те же... Зараза, что ли? Так откуда ей взяться?..

Сергей Петрович теперь многозначительно хранил молчание, но не переставал обхаживать девицу, все присматривался, все прищупывался.

— Вот что, девка. Садись-ка ты в кресло, по гинекологии обследуемся. Не ровен час... — Сергей Петрович провел с Феклой положенную процедуру, заключил: — Так, похоже, девка, причина-то одна — мужика тебе надобно. В этом-то и вся загвоздка.

Беда-то беда, только не пойдешь же по деревне, не станешь первому попавшемуся объяснять, что мужика ей надо — доктор прописал. Впрочем, вся деревня и без того быстро узнала, что красоту Феклы ест прыщ, спасение ее в хорошем мужике, да только вот желающих хорошенько пролечить ее не находилось.

Вскоре, однако, такая возможность представилась. Каждый год с началом уборочной кампании в село присылали на помощь горожан. Целые эшелоны машин из разных городов приезжали вместе с прикомандированными в комплекте с ними шоферами. А шофер в шестидесятые годы была профессия престижная, элитная — на уровне нынешнего крутого бизнесмена, скажем. Приезжали они отстиранные, отутюженные, фуражка набекрень, из-под нее чуб вьется, орлиный взор женщин поедает.

Одного из них Фекла и присмотрела. Бравый, статный, шустрый, да и на язык остр. И она ему понравилась.

Села как-то Фекла с ним зерно от комбайна отвозить. Стали дружить, любовь началась. Он наобещал ей, что женится, увезет в Москву. Но закончилась уборочная. Машину орла погрузили на железнодорожную платформу. Он сел в вагон и был таков.

Зато прыщ лицо и тело покидать начал. Фекла — к Сергею Петровичу:

— Посмотри, как я?

— Да, девка, — говорит фельдшер, — дело у тебя вроде как на поправку пошло. Только давай-ка мы проверим тебя по гинекологии.

Проверил по гинекологии — все так и есть, как предполагалось — шесть недель беременность.

— Ребенок у тебя будет, Фекла, ребеночек. Так что прыщ совсем на нет сойдет.

И действительно прыщ сошел.

А по весне Фекла родила сына. Потом опять уборочная подросла. И снова прыщ пошел. Сергей Петрович снова посоветовал:

— Мужика надо.

На сей раз присмотрела Фекла рыженького, косопального. Вроде бы ничего особенного, но обаятелен был, каналья, и востер, знал к бабам подход. В момент Феклу окрутил. А когда уборка кончилась, все повторилось. Эшелон с машинами, среди которых была и его, рыженького, укатил в Харьков, а Фекла, помахав ему рукой на прощание, пошла к Сергею Петровичу, и тот опять констатировал:

— Прыщ сошел. Но шесть недель беременности осталось.

Фекла по весне опять родила сына, рыженького, интересного. А дальше была еще уборочная, и еще... И так, в упорной борьбе с прыщом, Фекла родила пятерых будущих колхозников.

И вот однажды стоит она в деревенской лавке в очереди, а за ней Сергей Петрович пристроился. Сельпо ситец выбросило. Обычно деньги у Феклы всегда водились, не бедствовала. А тут начала подсчитывать вслух — и на это не хватает, и на это... Сергей Петрович, большой любитель подначить, дергает доярку за рукав:

— Ты что, Фекла, в бедность впала? Куда деньги-то девала? Орден Ленина имеешь, а денег нет. Где они?

Фекла взглянула свысока на тщедушного старого деревенского фельдшера и зло выпалила:

— Прыщ съел, коновал хренов!

Столько юных прожорливых орлят дома — съест, конечно!

С тех пор в деревне за семейством Феклы так и закрепилось прозвище — «Прыщи».

Шомша

Детство мое прошло в деревне, в большой семье. Из братьев я — младший, шестой. Самый старший Саша, он был родным только по маме. Андрей — родной по отцу и маме, старше меня на десять лет. За ним шли Юра, Слава и Эдик. А младше меня — единственная в семье сестренка Галя. Всем старшим братьям, исключая Андрея Андреевича, как только задумываюсь о житье-бытье, обязательно прошу у Господа Бога царствования небесного. Ну, да ладно. Эти воспоминания у меня так, к слову пришились. А история, о которой я вам собрался поведать, восходит к моему раннему детству.

В ту пору брат Андрей только вернулся со службы в рядах Советской Армии и устроился работать шофером в колхоз, который кроме полей, взявших в кольцо нашу деревню, имел еще и дальние участки земли — поля зерновых, покосы. И все это километров за двадцать-тридцать от центральной усадьбы.

На сенокос взрослые ездили без особого желания, дел и дома невпроворот. Ну а молодежь считала летнюю страду вдалеке от родной деревни сущей романтикой. На полевых станах поварахи готовили на всех завтрак, обед и ужин. А о том, как все это вкусно, сваренное в лесу да еще на костре, не мне вам рассказывать. На полевом стане молодежь жила. Спали косари в шалашах, крытых свежескошенной травой. Можно только представить, в каких ароматах приходилось проводить ночи. Старики же, убрав кошенину в стога, уезжали домой.

На одном из таких участков была небольшая мехмастерская для срочного ремонта сельхозтехники, пара амбаров для семенного зерна и изба с двухъярусными нарами, где механизаторы отсыпались после тяжелой ночной смены.

И вот однажды мы с другом детства Шуркой Рвановым решили прокатиться до этого участка с моим братом. Но просто попросить его взять нас с собой — боялись. Андрей мог и подзатыльник отвесить, по праву старшего. Мы решили все это проверить от него тайком. Пока он усаживался за баранку, мы запрыгнули в кузов. Там валялось много пустых мешков из-под зерна, под которыми мы и спрятались. ЗИС-5



взревел и поехал. Мы не ведали, куда машина направлялась. Да и какая разница, если до зла горя прокатиться хотелось.

Ехали довольно долго. А когда машина остановилась, оказалось, что это как раз тот участок, о котором я выше уже рассказывал. Мы выпрыгнули из кузова и спрятались за амбар. Брат, так ничего и не заподозрив, вышел из кабины и пошел под дощатый навес, где располагался летний котлопункт, столовая времянка для механизаторов. За мытьем посуды, уже откормив станичников, бойко орудовала колхозная повариха Мартыниха.

— Как живешь-то, Мартыновна?.. — спросил вместо приветствия Андрей и хлопнул ладошкой повариху по крутому заду. — Мужики-то домогаются?..

Женщина даже и внимания не обратила на шалость приехавшего. Только прокричала:

— Все уже отпужнали. Посуду вот домываю...

— Я спрашиваю, мужики-то домогаются, просят еще?! — опять шутя спросил повариху Андрей.

— Какой там калым. Председатель сказал, что по полтора трудовня в день писать будут... — не глядя на парня, продолжала Мартыновна.

— Да ты что, уже совсем оглохла, старая. Тьфу! — выругался брат, зло сплюнув, и ловко заскочил в кабину.

Машина, поднимая густые клубы дорожной пыли, укатила на зерновой ток под погрузку.

Мы вышли из засады. До дома в деревне километров тридцать. Вечерело. Теперь, когда Андрей уехал, на душе у нас стало спокойнее, получить нагоняй за самовольную отлучку из дома не от кого. Под навесом станичной столовки поварихи не было. Над костровищем висел котел. Шурка поднял крышку и хитро мне подмигнул:

— Похлебка!

— Холодная? — поинтересовался я.

— Само то, теплая...

Уже никого не боясь, налили в эмалированные миски похлебку, поели. Жить стало можно, сыты. В таком блаженном состоянии и небо уже с овчинку перестало казаться. Теперь пора место подыскивать для ночлега. Темнело быстро. На дворе-то сентябрь, да и уборочная страда шла к завершению. Забрались мы в избу, улеглись на верхние нары. Притихли. Заснуть пытаемся.

А тут дверь со скрипом распахнулась и в избу ввалилась повариха Мартыновна. Было ей далеко за сорок, баба широкой кости, глуховатая, причем хорошо глуховатая. Долго не мешкая, укладывается на нижний ярус нар, еле слышно посапывая простуженным носом, и утихает. Через некоторое время она шумно позевнула, засопела и вскорости утонула во сне.

Мы тоже начали засыпать, как тут же послышался приближающийся рокот гусеничного трактора ДТ-54, других марок тракторов в нашем колхозе не было. Яркий свет фар пробил стекла окна и нагло ворвался в избу. Трактор застыл на месте, было слышно, как он сбросил обороты.

И опять раздался знакомый уже скрип входной двери. В избу вошел человек. Им оказался Сашка Семенов — наш деревенский парень и мой сосед. Он в соседнем доме жил. Он только окончил десятилетку и рвался в город правдами и неправдами. А дед, который воспитывал его, всеми способами препятствовал этой затее внука. Не хотел дед оставаться без помощника. Жили-то они зажиточно, большим хозяйством.

И вот при свете фар Сашка снимает с себя телогрейку, штаны и остается в чем мать родила. Парень он крепкий и здоровый, видный, под метр восемьдесят ростом. Ползет парень к поварихе. Баба его учуяла и, ни слова не говоря, ногой как пихнет. Сашка улетел на другие нары, что напротив, но не сдался. Поднимается и опять за свое, лезет. Она снова его толкнула, но теперь он не так далеко отлетел. И в третий раз

отталкивает, а он уже успел уцепиться за нары. И давай повариху тискать, пытаюсь взять положенный ему верх.

Свет фар Сашкиного трактора продолжал ярко освещать помещение. Картина любви была как на ладони. Для нас с Шуркой такое откровение было в новинку. И мы затыкаем друг другу рты, чтобы не выдать себя.

Когда в конце-то концов силы у бабы иссякли, она, тяжело дыша, сказала Сашке: — Мешок пшенисы дашь, дак дам. Шомшу варить.

Шомша — это пареная пшеница с курицей и черемуховыми ветками. И очень вкусное, наваристое блюдо получается.

— Дам, дам, — говорит Сашка. Чего в такой момент мужик только не пообещает!..

Запыхтели. На полную катушку секс пошел.

Сашка с поварихой расправился, надел штаны, телогрейку, сел за трактор и поехал пахать под озимые.

Мы с Вовкой заснули. А утром, когда Мартыновну сменила другая повариха, колхозная жрица любви запрягла лошадь в телегу и мы с ней поехали домой. Приезжаем в деревню. Жила-то она на другом конце деревни, а повернула в наш. Мы решили, что собирается заложить нас нашим родителям. Ан нет. Подъезжает прямо к воротам Сашки Семенова. Подъезжает по-хозяйски. У них ограда была большая, с лужайкой. Заводит повариха под уздцы лошадь во двор. Выходит дед Осип и ей сердито:

— Ты чего приперлась?

А она не слышит, говорит:

— Здравствуй Осип, здравствуй.

Берет мешок. И бросает его в протянутые руки Сашкиного деда.

— Сыпь полный! Санька велел.

Куда старому деваться: не насыплешь, сбежит внук в город. Берет дед Осип мешок, идет к амбару и бубнит под нос:

— Етит-вертит, третий мешок за неделю ухайдакал!

Орден майору Киммельману

Еще до службы в армии я был активным рабкором. О журналистике я мечтал с раннего детства. В школьные годы часто печатались мои заметки в районной газете. И этот творческий зуд с началом армейской службы у меня не исчез, а наоборот, желание написать что-то эдакое и удивить сверстников своим талантом, брал надо мной верх. И чем дальше, тем больше.

Во время службы я с большим желанием сотрудничал с армейской прессой. Однажды мне повезло встретить интересного фронтовика, который увлек меня своими воспоминаниями о местах бывших сражений, о товарищах по оружию. Тогда, в шестидесятые, участники войны были еще сравнительно молоды — многим из них едва переваливало за сорок лет.

Написал я про этого фронтовика. Описал бои, в которых он участвовал, подвиги. Разумеется, не забыл его орден Боевого Красного Знамени и другие заслуженные фронтовые награды. Публикация получилась добротной, в редакции окружной газеты, напечатавшей очерк, меня похвалили, материал был признан лучшим. И как бы в награду в мою воинскую часть на имя командира пришло благодарственное письмо с просьбой по мере возможности оказывать военкору всяческую помощь по дальнейшему формированию у него творческого журналистского начала.

Меня пригласил к себе командир части полковник Глеб Иванович Гума — любец солдат, умнейший мужик, цыган по национальности, фронтовик, свидетель водружения победного знамени над Рейхстагом.

— Присядь. Разговор есть, — предложил мне Гума, когда я вошел в его кабинет.



Я присел к столу командира части, но о чем пойдет речь — я даже не догадывался. — Ты, как я вижу, творческий парень. Среди солдат такие, как ты — большая редкость. И это хорошо. Много Пушкиных не бывает.

Гума замолчал и раскрыл кожаную папку, в которой лежало редакционное письмо. Меня это весьма насторожило.

— Так вот в чем суть нашего предстоящего разговора, — продолжил командир. — Я это письмо получил еще неделю назад и все никак не мог сообразить, о чем нам беседовать, пока не нашли мне газету с твоим очерком. Прочитал, но оценок давать не собираюсь. Писать ты, видно, не бросишь. Поэтому позволь дать тебе совет бывалого офицера, прошедшего всю войну. Мне бросилось в глаза то, что о человеке ты судишь по его орденам. Не увлекайся наградами, не акцентируй на них внимания. Они — далеко не всегда объективная оценка сделанному на войне. Сплошь и рядом было так, что когда, например, командира полка вышестоящий военачальник из антипатии обходил наградами, тот, в свою очередь, не представлял к наградам и своих подчиненных, хотя, быть может, они и дрались, как львы.

Во время войны у нас в полку случилась такая история. Мы уже вошли в Берлин. Шли ожесточенные бои. Много полегло наших. Вот уже и Бранденбургские ворота... Но я не об этом, а о другом.

Так вот, служил в нашем полку начальник снабжения, зам по тылу, майор Киммельман. У всех у нас ордена и медали густо посажены на гимнастерках, а у него, снабженца, ничего. Что на войне, что в мирное время — в стране все время чего-то не хватало, а снабженцы виноваты. Всю войну прошел Киммельман, сначала от западной границы отступая, потом на Запад, наступая до самого Берлина. А грудь у него тем не менее как куриное яйцо, чиста — ни значка, ни медали, не говоря уж об ордене. Это ведь надо было только представить, как победно плывет эшелон с фронтовиками по родной стране Советов, по многострадальной землице русской, как весело и жизнеутверждающе звенит наградной металл на гимнастерках героев войны, глуша все другие звуки встречающей солдат-победителей Родины-матери, а гвардии майору Фирсу Марковичу Киммельману и хлестануться-то нечем. С командирами полка у зама по тылу отношения ни в какую не складывались.

Загрустил майор Киммельман. Как-то во время передышки между боями мы с ним разговорились.

— Ну что я скажу своей Софетке-конфетке? А ведь спросит. Скажет, какой ты после этого еврей, если даже медали не заслужил?! — сетовал он.

Мне жалко его стало, говорю:

— Иди к полковому писарю старшине Ефименко и, как сейчас мне это делал, всплакни ему в жилетку. Он плут ещё тот, выручит. Должен выручить.

Киммельман послушался. Да и куда ему было деваться.

— Чем я докажу людям, что всю войну прошел, два раза ранен был? — жаловался майор полковому писарю. — Наград-то никаких.

Шустрый писарь, как только мог, утешил майора:

— Знамо дело. Действительно, смеху-то будет. Берлин ведь брал... — как-то хитровато задумался писарь.

— В чем и дело-то... — продолжал плакаться майор.

— Ладно, исправим промашку командования. Будет тебе орден. Тащи канистру спирта!

— Какой разговор, хоть две!.. — обрадовался майор.

— Две — так две... — поймал на слове Ефименко зам по тылу.

Для снабженца Киммельмана пара канистр спирта — не проблема. Вручил он их штабному старшине. Война тем временем продолжается, все гремит, стреляет, горит, не разберешь, кто кого, где, куда... И вот командир полка собрался к вышестоящему начальству с докладом. Тут и подкатывается писарь к полковнику: мол, надо подписать срочно наградную ведомость. Некогда, торопится полковник, в следующий раз. Да всего-то одна подпись, настаивает писарь. Подмахнул комполка не глядя,



и уехал на совещание. Замполит тем временем слетал в штаб армии, получил награды, подготовил мероприятие для вручения. Построили полк в короткий перерыв между боями. Вокруг все гремит, стреляет, горит, взрывается. Началось вручение наград. Орден такой-то этому, этому, этому... Комполка быстренько вручает награды тому, другому, третьему... Некогда рассусоливать — война, фронт ждет. Не дай бог, еще бомбой всех тут накроет.

— Орденом Боевого Красного Знамени награждается майор Киммельман! — выкрикивает начальник штаба. И подает коробочку с наградой полковнику.

Майор Киммельман строевым шагом подходит к полковнику. Тот, не глядя в лицо, автоматически начинает привинчивать орден... И тут он поднимает голову, узнает майора и чуть орден не роняет:

— А тебе какой хер его дал?.. За что?! Кто?!

— Так, товарищ полковник, вы же сами сейчас меня из строя вызвали. Вон, начальник штаба читал, я вышел.

— Где наградной лист?

— Вот, — показал начштаба.

— Как этот попал туда?

— Не знаю...

В общем, уехал майор Киммельман домой с орденом Боевого Красного Знамени на груди.

— Бывали и разные другие случаи, — завершал свой рассказ командир части. — И те, кто близко стоял к штабу, к тому же писарю штабному, чаще награды и получали. Довелось мне после взятия Берлина, когда уже домой возвращались, спросить Фирса Марковича, будет ли Софья довольна, он ответил: «Еще бы! А тебе, Глеб, спасибо, что надоумил. Век — живи, век — учись...» В Госнабе сейчас Фирс работает. При большой должности состоит.

И мой командир закончил свой рассказ.

Ординарец его превосходительства

Сижу в приемной. Жарко. Воротничок у меня расстегнут. Входит полковник Бабарькин, начальник ракетной базы, и спрашивает:

— Генерал у себя?

— Нет, — отвечаю.

— У себя, — ухмыляется полковник. — Доложите, что я прибыл. И застегнитесь. А когда входит старший по званию, еще и встать не лишним будет.

Придрался, в общем.

Яотреагировал на замечание молча: встал, одернул форму, застегнул пуговики и ответил на просьбу полковника строго по уставу:

— Есть, товарищ полковник!

Захожу к генералу, кладу папку входящих документов, забираю папку исходящих и, ни слова не говоря, выхожу.

— Товарищ полковник, генерал вас принять не сможет.

— А когда?

— Я запишу вас на прием. О решении генерала я вам сообщу.

— Хорошо.

Я записал Бабарькина в книгу по всей форме и он ушел.

В коридоре штаба встретил полковника Макаренко и пожаловался на судьбу: вот, мол, в противоракетной обороне ему предложили должность чисто генеральскую. Но ждать нельзя, ковать железо надо, пока горячо, а генерал Ослиев не принимает. И неизвестно, когда примет.

А полковник Макаренко ему:

— Слушай, да ты с Витькой-ординарцем поговори. Он все сделает.

— Неужто такие вещи с ординарцем надо решать?

— В первую очередь с ним.

Бабарькин почесал в затылке:

— Вот как! А я ему замечание сделал, что форма не в порядке.

— Ну, это ты зря, — покачал головой Макаренко. — Теперь ты хрен попадешь к генералу, точно!

— Что же делать?

— Ну, не знаю...

Но что-то, видно, Макаренко ему присоветовал. На другой день снова появляется в приемной полковник Бабарькин:

— Генерал у себя? — спрашивает.

— У себя, — говорю, — но принять не сможет. И до конца дня будет занят. Но я ему о вас сообщу.

— Ладно, хорошо. Тогда поеду домой... Да, вот тут жена положила мне в дорогу... Домой все равно не понесу, а вы перекусите чем бог послал.

— Не надо, — отказываюсь.

Он оставляет сверток на столе и уходит.

Вечером заходит ко мне адъютант-порученец командующего подполковник Витя Коркин (кстати, он никогда не ходил на службе без лаврового листа во рту, поскольку всегда был пьян) и говорит:

— У тебя закусить нечем?

— Да вот полковник Бабарькин какой-то сверток оставил. Говорит, жена в дорогу дала.

— Давай.

Разворачиваем сверток. Сверху огромная шоколадка. Я сроду таких не видел. Под ней проложено пять «мерзавчиков» коньяку по 125 граммов, опять две здоровые шоколадки, под ними еще слой таких же «мерзавчиков», а завершает этот слоеный пирог снова большущая шоколадина. Коркин хватается за коньяк.

— Э, нет, — говорю, — позволь это мне. Вот шоколадку — пожалуйста, тебе на закусь.

Но все равно Витя у меня парочку «мерзавчиков» отвоевал. Остальное я надежно упрятал. Утром интересуюсь у генерала о его распорядке дня и говорю:

— Полковник Бабарькин хотел по кадровому вопросу зайти.

— Пусть заходит, но не сейчас, а в час дня.

— Хорошо.

Выхожу, звоню дежурному по части. Бабарькина на месте нет.

— Тогда передайте, — говорю, — чтобы срочно был в тринадцать ноль-ноль у генерала Ослиева.

Точно в назначенное время полковник Бабарькин заходит в приемную. Я докладываю, приглашаю к генералу. Минут через тридцать он выходит от него очень довольный, цветущий:

— Большое вам спасибо, — благодарит меня, — как я вам обязан!

Достаю из портфеля еще один сверточек, но там уже только одна большая бутылка коньяка. И направляется к выходу. Но на полпути возвращается и спрашивает:

— Объясните мне толком. Если бы я к вам внимания не проявил, как бы вы поступили? Попал бы я к генералу рано или поздно?

— Только через мой труп! Хотя, конечно, могли бы и попасть. Но до этого я подсунул бы генералу такие сердитые бумаги, от которых он сильно расстроился бы. И тогда вам хватило бы всего минуты, чтоб вылететь от него.

— Даже так? — удивляется полковник.

— Даже так, — отрезаю я.

После ухода полковника появляется начальник особого отдела майор Веселкин. И с места в карьер:

— Ну, нашли, узнали, где он?

— Нет.



— А генералу о ЧП доложили?

Произошло же вот что. Из моего стола пропал совершенно секретный журнал, особой государственной важности.

— Но если я не знаю, куда он делся, чего ж я стану докладывать? — возражаю.

— Вы обязаны узнать и доложить. Вы в этом виноваты.

— А что этот журнал дает? Там ничего нет. Я только прошнуровал его, но вписать туда ничего не успел. Он, товарищ майор, совершенно пустой, чистый.

— Так там же гриф.

— Ну и что — гриф. Я его делал, оформлял я.

— Хорошо, тогда я пойду и доложу генералу сам.

— Нет, он занят.

— Да вы знаете, кто я?

— Товарищ майор, вас все знают, но без моего доклада вы не войдете. Если надо будет, я доложу.

Ну и все. Попрыгал-попрыгал майор и ушел, пригрозив напоследок.

— Мы с вами еще разберемся.

Только он ушел, я — к генералу. Докладываю:

— Товарищ генерал, у меня ЧП. Когда я заходил к вам вчера вечером, у меня лежал на столе новый рабочий журнал, совершенно секретный, особой государственной важности. Я его успел только зарегистрировать, но он совершенно чистый, пустой. Во время моего отсутствия он пропал. А теперь майор Веселкин меня напугает всякими карами небесными. Заберут, говорит, меня и узнают, говорит, на кого я работаю. Так что я должен вам это доложить.

— Напугает? — говорит генерал.

— Да, напугает.

Генерал нажимает на кнопку селектора:

— Майора Веселкина.

Тот подходит к телефону:

— Я слушаю.

И генерал Ослиев ему громовым голосом:

— Веселкин, верни, твою мать, журнал ординарцу и больше не вздумай шутить.

Большой коровий секрет

А этот случай произошел в приполярном уральском поселке Саранпауль. Населяли его олениводы, геологи, разведавшие в здешних местах железозапасы и бурый уголь. Располагалась там еще и военная экспедиция под командованием генерала, искавшая пьезокварц, необходимый для приборов военной промышленности. Около горы Народная, в окрестностях поселка были у них штольни, где они и ковырялись.

И вот я, тогда корреспондент окружного радио, оказался здесь. Иду по поселку, смотрю во все глаза. Все-таки не где-нибудь, а за Полярным кругом, или прямо на нем. Тут и зима с пятидесятиградусными морозами — не редкость. Да и в тот день градусов под тридцать было. Смотрю — скотный двор, в нем десятка три коров. Представляете, на Крайнем Севере — и коровы, своя ферма молочная.

Захожу, спрашиваю:

— Кто начальник?

Появляется заведующий. Я представляюсь, говорю:

— Давайте побеседуем.

— Прежде чем беседовать, документы покажите, — требует.

Показал. Жизнь моя, журналистская, кочевая, сегодня — здесь, завтра — там. Удостоверение всегда во внутреннем кармане. Бумага в нем, естественно, трется, шаркается. Это фермерского начальника и насторожило.

— Вот у вас тут какие-то потертости, тут. Здесь буквы плохо видны... Нет, вы



наверное, удостоверение подделали. Документы у вас ненадежные. Как с вами говорить, не зная, кто вы такой? Я вам интервью давать не буду.

— Так ведь разговор-то про коров всего-навсего, — пытаюсь его убедить.

— Ну и что? Мало ли вы откуда...

В общем, разговор у нас не состоялся, и он меня выпроводил.

Было мне в ту пору года двадцать три. Ростом я не вышел, смотрелся пацаном — магнитофон «Репортер», висевший сбоку на ремне, солидной меня казался. Потому еще, наверное, доверия и не вызвал у мужика.

Иду, горем убитый, думаю: «Надо же так! Удостоверение ему мое не подходит...» Смотрю, большой деревянный крестовый дом. Похоже, там какая-то контора. Я — туда. Там, как заходишь, тумбочка, а возле нее солдат стоит, дневальный. Здоровуюсь, спрашиваю:

— Это что у вас за контора?

— Какая разница? — отвечает. — Контора и контора. Секрет.

И здесь секрет.

— Начальник у себя? — спрашиваю.

— У себя, — говорит. — А вы кто вы такой?

Я назвал. Он в соседнюю комнату вышел. Слышу, докладывает обо мне:

— К вам, товарищ генерал, журналист просится.

— Пусть заходит.

Захожу. Интересный такой мужик в генеральской форме сидит. Поздоровались. Я присел по его приглашению, представился. Такого-то там у вас знаешь, спрашивает. Я утвердительно кивнул головой.

— Мы с ним в командировке несколько раз пересекались, — сообщил генерал. — Хороший мужик.

— Хороший, — подтвердил я.

— Ну, все ясно, — как бы подвел черту под формальностями генерал. А я спрашиваю:

— А у вас что, здесь какая-то фирма секретная?

— В общем, да, — говорит. — Достаточно секретная экспедиция. Только в деревне ведь ничего не скроешь. Все давно уже знают, что мы добываем. Так что и от вас у меня особых секретов нет. Не от меня — от других узнаете. А если я вам что-то лишнее скажу, цензура все равно не пропустит. Так что скрывать нечего. Покажу, расскажу...

Генерал посадил меня в вертолет. Мы слетали к штольням, побывали там, где этот пьезокварц добывают. Страшно интересный собеседник, генерал столько всякого рассказал: как раньше добыча велась, как сейчас. И множеством разных баек и анекдотических случаев все это приправил.

Одна такая история из его уст хорошо запомнилась:

«Добыли мы друзу килограммов под пятьдесят — большой-большой конус пьезокварца. Подобные в природе редко встречаются. Такой экземплярщик найти — для нас праздник огромный! Доложили в Москву. Мы — на коне! Осторожно извлекли друзу на-гора, приготовились ее паковать в специальный ящик. Проходит заместитель мой, в руке небольшой геологический молоточек, и говорит: «Да, Николай Иванович, таких бы штук пять, и мы бы героями Советского Союза стали». И легонько при последних словах по друзе молоточком-то стукнул. Этого достаточно оказалось, чтобы она вся рассыпалась, разлетелась. Шок был неопиcуемый. Все равно что собственноручно миллиард рублей сжечь. В Москве меня чуть не разжаловали и с работы не сняли. Тем более о нашей победе слух уже до ЦК дошел...»

Вот я и говорю... Один, «сверхбдительный» на пустом месте, скотный двор завесой секретности пытается укрыть, навоз стратегическим сырьем представить, другой, руководитель действительно секретного объекта, не раздувает из мухи слона и к пресловутой секретности относится по-настоящему мудро и трезво. Поэтому, навер-

ное, и в документы мои так и не заглянул, рассудив, видимо, ну какой же черт полетит сюда за две с лишним тысячи километра, в эту дыру из праздного любопытства.

Национальные спортивные игры с клубничкой

В том же Саранпауле проходили каждый год 23 февраля традиционные национальные игры. Что-то вроде олимпиады народов Севера. Местные ханты, манси и зыряне устраивали гонки на оленях, соревнования по метанию копья, топора, аркана.

Из журналистов приезжаю я туда первый. Иду к председателю сельсовета. Занимал эту должность Николай Иванович Малыгин, бывший фронтовик. По причине ранения в ногу он прихрамывал, ходил с тросточкой. И вот я чуть ли не первый за месяц посетил его. Местные к нему разве что только покурить забредают.

Стал Николай Иванович просвещать меня, что такое олимпиада Севера. Я впервые на нее попал, представления не имел. Вот он и рассказывал мне, как она проходит и как это все очень интересно.

А потом оказалось, что у него давно на эту тему текст заготовлен, и Малыгин пересказывает его каждому встречному-поперечному.

Еще до командировки сюда, на олимпиаду, я ехал как-то поездом из Москвы до Тюмени. А тогда, на пороге семидесятых годов прошлого века распространен был подпольный вагонный бизнес: глухонемые (а чаще «косившие» под них) продавали самодельные игральные карты, лубочные (типа «любви меня, как я тебя») и порнографические фотографии. Дешевенькие такие, маленькие, шесть на девять, неважного качества кустарные фотки. Большие качественные фотографии тогда вообще огромной редкостью были. Мужики в вагоне рассматривают, похохатывают, некоторые берут. Купил и я, грешным делом, из молодого любопытства...

Малыгин между тем толстую пачку любительских фотографий об их спортивном празднике мне дает посмотреть. А сам куда-то отлучился. Я посмотрел. Ничего, в общем-то, интересного. И тут вспомнил про свои, в поезде купленные. Чего я их с собой таскаю, подумал, не дай Бог, узнает кто-нибудь, могут и по партийной линии наказать. А что, если?.. Достал я свои порнушки и быстренько, пока не вернулся хозяин кабинета, вставил несколько штук их (по размеру были они один в один) в пачку его фотографий.

Следом за мной прилетает в поселок второй или третий, не помню точно, секретарь обкома партии. Послезавтра олимпиада. Вот он и прибыл заранее, чтобы все посмотреть, проверить степень готовности. Сразу, разумеется, едет в сельсовет.

Малыгин перед высоким гостем расшаркивается, рассказывает, как замечательно у них спортивные праздники проходят и народу море съезжается чуть ли не со всего мира. Вот и фотографии с тех олимпиад в доказательство есть, можно полюбоваться. Секретарь обкома партии с большим интересом начинает просматривать колоду. Посмотрит фотографию — отложит, посмотрит — отложит...

— А это что? — доходит он, наконец, до первой моей порнушки.

— Метание копья, — бодро отвечает Николай Иванович.

— Ах, копья... А это?!

— О, это так интересно!

— Да вижу, что интересно. Но что же это за соревнования такие?..

Здесь надо пояснить, что Николай Иванович несколько подслеповат был, но очки не любил и надевал их при крайней нужде. Да и зачем они ему сейчас, если он каждую фотку наизусть помнил. Вот он и отвечает:

— Какие «такие»? Так и было! Отличные соревнования!

— Ну, это уже вообще!.. — качает секретарь головой, разглядывая очередную мою порнофотку.

— Не говорите, — радостно откликается председатель сельсовета, — действи-



тельно вообще здорово!

— Здорово-то, конечно, здорово, — хмурится секретарь, — но что-то тут не то.

— Ну, здесь нормально — олень.

— Ой, олень хороший! И иней на усах, и на глазах, иней хорошо. Это хорошая фотография.

— Ну, вот опять... Сзади-то это снимать уж никак не годится.

— Годится, — возражает Малыгин, — у нас ведь сзади прыгают...

Этот эпизод мне потом пересказывал инструктор райкома партии, который приехал тогда с секретарем.

«Перебирает он фотографии, и некоторые мне отшвыривает, как бы вопрошая гневно меня, представителя местной власти, партийных органов — как, мол, это назвать? Я смотрю — о, ужас! А Николай Иванович не врубается, что происходит. Опять порнофотка попадается».

— И здесь тоже... — протягивает секретарь ее председателю сельсовета, а само-го уже потряхивать начинает.

— Да вы смотрите сами, — лучезарно улыбается Малыгин, — я все это видел много раз. Да и сам, когда помоложе был, пробовал.

— Я верю, верю. Но зачем вот так-то уж афишировать-то? — недоумевает секретарь.

«Меня смех разбирает, вот-вот заржу во весь голос, — рассказывал инструктор райкома, — а нельзя, областной партийный начальник рядом, серьезным надо быть. И удержаться трудно. Они друг с другом как глухой со слепым разговаривали: один — “про это”, другой — про олимпиаду, ее фотовиды комментирует, не зная, что в колоду и другие “виды” затесались».

И вот последняя фотография.

— Ну, это уж, Николай Иванович, совсем никуда не годится. Взгляните, взгляните!

Малыгин мельком глянул — две фигуры друг на друге лежат, плечами пожал:

— Ну, лежат, один на другом. Что ж такого? Это борьба! Нанайская борьба.

— Борьба! — возмутился секретарь. — У вас это называется борьба? Да здесь же е...ля классическая! Вон мужик на бабе лежит.

— Нет, не е...ля, — стал упорствовать председатель сельсовета, — борьба. У нас за это даже приз дают.

— Какой приз? — взревел секретарь обкома. — Вы что, вы чем тут занимаетесь?..

Так вот, сам того не желая, не думая о возможных последствиях, по молодой, опять же, глупости, подложил я человеку свинью.

Заполярная Брунхильда

Я потом в Саранпауль каждый год на национальную спортивную олимпиаду ездил. Интересно мне было. И народ там собирался любопытный. Наезжали журналисты с разных агентств, газет и журналов, с радио и телевидения, из киностудий. И кто хоть раз побывал, потом обязательно приезжал. И мы встречались уже как старые знакомые. И оставались хорошими друзьями после, за рамками олимпиады. Там я повстречал и корреспондента областной газеты Володю Холодова, от которого услышал еще одну историю на тему заполярного секса.

...Прилетел я в Саранпауль. Гостиница, прозванная «Хомутной», — на конном дворе. Конный двор, правда, давно разобрали, растащили на дрова. Осталась одна избушка, которая как раз и была когда-то хомутной. Перегородки убрали, побелили, печка посередине. Штук шесть кроватей в избе. То вертолетчики здесь квартировали, то журналисты. Занял я койку в этом «отеле». На дворе мороз страшный, носа показывать на улицу не хочется. И вдруг так захотелось мне бабу, аж зубы свело. Пойдука, решил я, в винополку, возьму литр водки, засосу, забудусь, и никакой бабы мне не



надо будет.

Захожу в винополку, смотрю — водка 56-градусная. Другая на таком морозе просто замерзает. И стоит за прилавком здоровенная баба в ватных штанах, телогрейке и в шапке. Я косяка на нее даванул, рост прикинул, фигуру — гренадерша! И мысль у дурака мелькнула — да хоть бы и такую. А она мне, словно мысли мои прочитав:

— Бери пару пузырей, да пошли.

И я, человек с высшим образованием, красным дипломом МГУ, беру литряк и иду за ней.

Заводит она меня в жарко натопленную избушку с печкой в одном углу и кроватью и столиком — в другом.

— Разоболокайся, — говорит. — Лопотину повесь на гвоздь.

Снял шубейку, повесил. Она следом тоже скинула телогрейку, потом шапку. Больше ничего не снимала. Глянув на нее, я подумал: «Ой, как много всего».

А она тем временем берет бутылочку водки, зубами тянет за алюминиевый козырек пробки, открывает и сплевывает пробку в поддувало. Она летит точно в цель. Потом эта зверь-баба опрокидывает себе бутылку в рот и, почти не отрываясь, опоражнивает в себя из горла ее 56-градусное содержимое. После чего говорит:

— Ну что, выпьем по-братски.

И я, заведующий отделом областной газеты органа обкома партии, покорно соглашаюсь:

— Что уж теперь, давай.

Она повторяет точь-в-точь процедуру открывания со второй бутылкой и разли-вает ее по двум граненым стаканам — ровно по 250 граммов каждому. Чокнулись. Выпили. Я крикнул — и это называется по-братски. Она и говорит:

— Ну что, давай, за чем пришел, будем делать.

Снимает свои стеганые штаны. Ложится на спину. И мне:

— Разоболокайся, разоболокайся быстрее, а то мне еще назад идти надобно.

И вот я, партийный человек, коммунист, разоболокаюсь, ложусь на нее... И так у меня все замечательно получалось вначале, что даже мне хорошо было. Я-то в сравнении с ней маленький. Лежу, между титек ее ведерных катаюсь, кайфую...

Но тут мне как в голову что ударило. Встала перед глазами несколько минут назад увиденная картина — вот она открыла первую бутылку, сплюнула прямо в поддувало пробку, не морщась, из горла выдула ее, налила тут же по полному стака-ну... И как током шибануло — куда ж я попал, куда? И сразу же все у меня на нет пошло, вся эрекция моя — как вода в песок. Она почувствовала, конечно, погладила меня по голове, которая у нее как раз на груди лежала и говорит:

— Хошь, милый, возбудиться ишо?

— Да надо бы, конечно, — отвечаю, прикинув, что литр водки спалил зря.

— Тогда есть прием хороший. Лезь в ноги и прыгай быстренько на меня. Прием безотказный, проверено.

И я, один из лучших в области журналистов, встал у ней в ногах и прыгнул. Только не сработал безотказный прием. Ушла, безвозвратно ушла из меня сексу-альная энергия. А она ляжкой меня перехватила да как швырнет к другой стене! И говорит:

— Все, любовник, собирайся!

Я быстренько одеваюсь и на выход. Со словами «Хахель нашелся!» она бросает мне вслед лопотину.

С тех пор у меня больше в Саранпауле никакого сексуального желания никогда не возникало. Никогда.

Через неделю я улетал. Сидел в аэропорту и ждал свой Ан-2. Неподалеку верто-лет Ми-6 трубы для геологов выгрузил. И четыре мужика пытались сложить их на тракторные сани. Корячились они, корячились. Все без толку. Я гляжу на них и ду-маю: «Господи, мужичонки-то совсем никудышные». Потом вижу, еще один мужик



появился: здоровый, крепкий, в ватнике, в стеганых штанах. Подходит, отодвинул эту мелочь малосильную. Берет трубу, раз — на сани забросил одним махом. Потом вторую, третью... А каждая труба — восемь метров длиной. Набрал труб на сани и командует:

— Вяжи!

Глянул я — ба, да это ж моя возлюбленная! Немка из поволжских. В поселке, если кому что-то надо было помочь, бежали за ней. И местные утверждали, что человеком она была очень хорошим...

Спешите делать добрые дела

Главного редактора Ханты-Мансийской студии телевидения Александра Александровича Кельберга из-за его некоторого нездоровья, почтенного возраста, а вообще-то просто как начальника, на работу, с работы и даже на обед возили на автомобиле. Возил его редакционный шофер Толя Богатырев на своем крытом брезентовом «газончике».

Вот однажды везет Толя начальника домой обедать. На полпути деревянный двухэтажный дом, двухподъездный. Толя шефу и говорит:

— Сан Саныч, разрешите, пожалуйста, заскочить сюда?

— А что такое?

— Да, понимаете, Марья Ивановна белить собралась, попросила шифоньер подвинуть.

— Конечно, надо Марье Ивановне помочь, — не возражает Сан Саныч.

А Толя молодой, ему двадцать пять всего. Пошел он с большим энтузиазмом двигать шифоньер. Минут за двадцать управился, выходит. Садится за руль и везет Сан Саныча обратно на работу.

И целую неделю так вот возил, останавливаясь возле дома Марьи Ивановны. То по ее просьбе мебель переставлял, то еще что-нибудь.

А я как раз в это время какой-то проступок совершил. Кто-то меня что-то попросил, а я вовремя не сделал. И главному редактору на меня донесли. Сан Саныч вызывает на «ковер» и говорит:

— Вот как так? Тебя просили помочь, а ты не помог.

— Некогда было, — оправдываюсь, — на работу опаздывал. Опаздывать ведь тоже нельзя.

— А ты с Толи Богатырева пример бери. И не журналист, и образование всего семь классов. Шофер простой. А какой уважительный парень! Какое воспитание у человека! Вот бедная женщина, живет одна. Едем, а она белит. Так он целую неделю ей помогает, с понедельника. (А Сан Саныч меня как раз в пятницу «на ковер» вызвал.) Вот это человек! А ты?

Я спрашиваю:

— Марья Ивановна, Ленина, 20?

— Да.

— А что, разве Толина очередь шифоньеры двигать? — удивляюсь я.

— В смысле? — еще больше удивляется Сан Саныч. — Какая такая очередь?

А нас, молодых, на студии тогда много было. Я и говорю:

— Сан Саныч, вы знаете, мы по неделе ей мебель двигаем всей редакцией.

— Как это всей редакцией? Что она там, забелилась, что ли? Так, а что Толя там делает?

— Как — что? — говорю. — Как и все мы — пытается детей ей сделать. Пытается, но не получается. А Толя у нас восьмой в очереди.

Сан Саныч встал, руки — в брюки, голову закинул, глазенки вверх — привычная его поза в таких случаях — и говорит:

— Да! В наше время шифоньеров не было. И канализации тоже. Жили бедно...



«Ходок» к Ленину

В 1967 году наше государство отмечало 50-летие советской власти. Встречая знаменательную дату, местные партийные и комсомольские органы проводили очень большую работу, разъясняя, как хорошо, как радостно жить в стране Советов, какие хорошие и счастливые здесь люди. И, как обычно бывало накануне подобных эпизодических дат, то тут, то там невесть откуда возникали свидетели и очевидцы революционных событий, а также разного толка ленинские соратники.

И вот однажды сижу я в телестудии, готовлю срочную передачу, чтобы прямо с колес — в эфир. Заходит вдруг ко мне в кабинет пожилой, но еще очень бодрый и эксцентричный мужик в полувоенном одеянии сталинских времен: поверх наглухо застегнутого кителя шинель, хромовые сапоги, картуз на голове, и спрашивает:

— Кто здесь главный?

Поскольку кроме меня в моем кабинете никого нет, отвечаю:

— Я.

Глянул мужик на меня, молодого сотрудника, и пренебрежительно бросил:

— Нос не дорос. Я с клерками не разговариваю.

— Зачем тогда пришли? — спрашиваю.

— Мне главный нужен.

— Кабинет главного редактора в том конце коридора, — показал я.

— Ясно. К нему я сейчас пойду, но и вы свое получите. Как вы смее сидеть, когда я вхожу!

Я на всякий случай привстал, уважая его старость, но спросил:

— А в чем вопрос-то, скажите?

— Не вашего ума дело! — презрительно фыркнул посетитель, повернулся и пошел к главному.

Слышу, кричит в коридоре:

— Где здесь главный?

Выходит Сан Саныч и говорит:

— Кто меня спрашивает?

— Вы здесь главный?

— Я. Проходите в кабинет.

Прошел. Долго говорили. Потом дед ушел. Забегает ко мне Сан Саныч, очень разъяренный, и кричит:

— Когда вы, молодые, научитесь работать с людьми? Ты знаешь, кто это?

— Не знаю, — говорю.

— Это товарищ Натурбагин, соратник Ленина.

И этак на полном серьезе давай мне пенять на то, что мы не интересуемся историей родины, а тем более ветеранами Гражданской войны и революции, что нам все побоку, что мы вообще таким поведением все перечеркиваем. Наконец, угомонился и сказал:

— Так вот, ты как редактор молодежных программ обзвони молодежь с телевидения, из окружной газеты, сам в горком позвони, пусть придут, послушают умного человека. Собирай завтра к трем.

— Будет сделано, — ответил я.

Назавтра в три часа мы собрались. Сан Саныч представляет нам товарища Натурбагина. Он встает. Высокий, представительный и начинает:

— Ну что ж, если говорить о своей молодости, то в молодости я у товарища Ленина ходоком работал.

Были, помнится, в революционные годы такие просители от крестьян, ходили с котомкой в Кремль. А их не впускали.

— И вот я однажды, — продолжает Натурбагин, — выполняя решение губернского комитета партии, прихожу в Москву. Вот тебе и Крэмл, вот тебе и Спасская башня. Вижу — Климент Ефремович Ворошилов возле нее дрова колет. Увидел меня,

спрашивает:

— О, товарищ Натурбагин, издалека?

Я говорю:

— Из Сибири.

— Это хорошо, нам информация нужна сибирская. У нас плохо с информацией. Да, товарищ Натурбагин, у тебя случайно трёшки не найдется. А то мне хозяйка совершенно на водочку-то не дает.

— Как же, Климент Ефремович, у меня всегда есть для вас.

Достаю ему три рубля, отдаю. Он говорит:

— Ты вот разогрейся, поколи чуть-чуть, а я в ГУМ сбегаю за бутылочкой. Вот и поговорим.

Побежал Климент Ефремович, быстро обернулся из ГУМа с бутылочкой, с закусью. Мы сели на чурочки, в стакашки разливаем у Спасской башни, пьем. Он мне поведал про все дела московские. Шли они неважно. Так и сказал:

— Товарищ Натурбагин, все спасение в тебе, все в тебе. Партия и товарищ Ленин на тебя надеются.

Ну, я отряхнулся, встал, пошел в Крэмл. Прихожу в Крэмл, захожу к Владимиру Ильичу Ленину. Смотрю, а Владимир Ильич с Надеждой Константиновной на печке лежат.

— О, товарищ Натурбагин, сколько зим, сколько лет! Да это ж ты, что ж ты редко так к нам ходишь?

— Так далеко же, Владимир Ильич, идти-то, Сибирь все-таки.

— Да уж понятное дело. Мы вот в Шушенском тоже были, далеко-далеко. Ну, что там новенького? Кого расстреляли, кого к порядку призвали, как революционный настрой?

Я и говорю:

— Товарищ Ленин, у нас в Сибири революционный настрой самый что ни на есть настоящий. Мы революцию в обиду не дадим.

— Ясно, товарищ Натурбагин, молодец! Хорошо, что ты у меня ходоком работаешь. Другой бы дурак дураком был, а ты вот пришел, доложил, что все у вас там хорошо, революцию одобряете, значит, если захотим, еще одну сотворим. Это хорошо, товарищ Натурбагин. Но ты с дороги, ты промерз, ты устал. Ложись на печку, прогрейся, косточки прогрей. А мы уж с Надеждой Константиновной на пол ляжем, на полу переспим.

Я, конечно, отнекивался, но пришлось на печку залезть — все-таки вождь предлагает. Я — на печи, а они с Надеждой Константиновной Крупской на полу послали себе телогреечки и так и уснули. Храпели — ужас! Я кое-как заснул.

В том же духе Натурбагин продолжал нести околесицу и дальше:

— Ну а потом был XV съезд партии. Как вы знаете, Владимир Ильич к тому времени уже помер. И руководил нашим социалистическим оплотом сам Иосиф Виссарионович Сталин. Конечно, руководитель был он очень серьезный. Так вот, сижу я на XV съезде партии в Крэмле. Мне сказали, чтобы я сел на первый ряд, потому что мало ли — вдруг товарищу Сталину понадобится. Сижу я, значит, в первом ряду. Товарищ Сталин выступал очень крупно, серьезно выступал, умно. Потом начались прения. Слышу, чую — съезд не ту линию клонит, не ту линию клонит съезд. Я поднял руку. Товарищ Сталин заметил и говорит:

— Слово предоставляется товарищу Натурбагину.

Я выхожу на трибуну. По всяким трасткистам, уклонистам и всей прочей мрази такого драбадана дал, что они аж поперхивались сидели. А потом в перерыве за кулисами ко мне подошел товарищ Сталин и сказал:

— Спасибо, товарищ Натурбагин, ты ведь меня еще от одного загиба спас.

Ну, кто такой этот ленинский «ходок» и «выпрямитель» сталинских загибов — потом выяснилось. Товарищ Натурбагин периодически лежал в психиатрической больнице. И клали его туда как раз для того, чтобы всю эту дурь из него вытрясти,



чтобы не разносил он всякую чушь по белу свету.

И однажды мы с ребятами все это записали на пленку. Очень много чего он наговорил, кучу примеров разных привел. И везде был герой. К нам потом весь город слушать ходил. Райкин рядом с ним — отдыхал. Но недолго мы народ развлекали. Кое-кто из органов предупредил: мол, уберите эту пленку от греха подальше и никому прослушивать не давайте, не устраивайте балаган, а не то будут большие неприятности.

Позже я рассказал председателю нашего исполкома про товарища Натурбагина.

— Знаю этого дурака, — засмеялся тот. — Ехал как-то на теплоходе из Березово в Ханты-Мансийск. Смотрю, на палубе пьяный лежит, в хлам пьяный. Рядом валяется партбилет. Я поднял его, все-таки документ партийный. Смотрю — фамилия Натурбагин. Я партбилет прибрал, чтобы кто-нибудь случайно в воду его не столкнул, привез с собой, в кабинете в сейф положил. Позвонил в горком и сказал:

— Найдите этого коммуниста, пусть придет, заберет партбилет, он потерял.

Заходит месяца через три товарищ Натурбагин. Меня, разумеется, он никогда не видел, зато я его пьяным хорошо запомнил. Достаю из сейфа партбилет его, показываю:

— Ваш?

И только собрался ему мораль прочитать на предмет, что, мол, разве можно так вот относиться к партбилету, что это — святое и за такие дела недолго и из партии вылететь, как он соскакивает с места, хватается мою руку, крепко сжимает и говорит:

— Спасибо, товарищ Комиссаров. Я знал, что мой партбилет в надежных руках...

После Сан Саныч меня спросил:

— Как же ты догадался, что он ненормальный?

— Сан Саныч, — говорю, — нормальные-то соратники Ленина все в Москве живут и все давным-давно хорошо пристроились. А этот — один из тех тысяч, которые на субботнике тащили одно бревно с Лениным, да только вот никто никогда не удостоверял его соратнический труд.

Обходитесь своими силами

Советская пропаганда была на выдумки хитра. И в то же время отличалась тем, что просто переливала из пустого в порожнее. Все, от маленьких партийных, хозяйственных, комсомольских руководителей и до монументальных членов ЦК, говорили округло, расплывчато, ничего не конкретизируя, а с другой стороны, ничего и не обобщая.

В 1968 году в Нефтеюганске, в канун 50-летия комсомола проходило Всесоюзное совещание молодых нефтяников страны. Тюменский край развивался бурно, понаехало сюда очень много молодежи. Но была и очень большая текучесть кадров. Для обустройства каждого прибывшего на Север человека государство вкладывало большие деньги. И чтобы не были они выброшенными на ветер, требовалось эти кадры закрепить. Как, каким образом? Эту проблему на совещании тоже широко обсуждали.

На слете много говорилось, например, о том, что молодые парни, хорошие боевые ребята приезжают после армии на ударную стройку, а девушек нет. И найти подругу жизни на месте не имеется никакой возможности. А им пришла пора жениться, обзаводиться семьей. Кончается тем, что они срываются с места и возвращаются туда, откуда приехали. Такая вот острая проблема встала.

В президиуме совещания в Нефтеюганске сидело много больших людей: академики, секретари ЦК и обкома партии, два летчика-космонавта, крупные писатели того времени, чемпионы мира и олимпийских игр... В общем, кого только не было!



Да и молодежь собралась замечательная. Было по-настоящему интересно. А на досуге весело и легко общались.

Зал на восемьсот мест был практически полон. Настал черед выступать представителю центрального аппарата комсомола. Сам первый секретарь Тюменского обкома партии Борис Евдокимович Щербина его объявляет:

— Слово предоставляется секретарю Центрального комитета комсомола Владимиру Житиневу.

Выходит резкий, дерзкий, легкий на подъем молодой человек, прекрасно, постоличному одетый. Говорит долго, все вокруг да около, ничего конкретного. А заключает первую часть своего выступления так:

— Да, ребята, мы вас хорошо понимаем. А мы — это Страна Советов, это ЦК комсомола, ЦК компартии, Президиум Верховного Совета Министров РСФСР — все эту проблему хорошо представляем и чувствуем. Да, действительно, девушек здесь нет. Я прошелся по городу — одни парни. Ну что ж, ребята, никто, конечно, в одночасье решить женский вопрос не в состоянии, да... Так что пока обходитесь своими силами...

При последних словах зал лег от смеха, однозначно истолковав предложение высокого комсомольского начальника как призыв к рукоблудию. Всего несколько минут назад закончился перерыв, а работать было уже невозможно. Щербина яростно колотил карандашом по графину, потом крикнул в микрофон:

— Объявляется перерыв. Проржитесь, кони!

Ржание не прекращалось и в фойе, где были накрыты столы и можно было выпить, закусить, поговорить. После перерыва Щербина снова предоставил слово для продолжения выступления Житиневу. И опять при одном только его виде — гомерический хохот, несмолкаемый гул. Понимая, что продолжать заседание бесполезно, председательствующий объявил:

— Дальнейшая работа совещания переносится на завтра.

На другой день все ждали продолжения выступления Житинева, но оказалось, что его внезапно отозвали в Москву...

Опороченный Косыгин

1968 год для Обского Севера ознаменовался двумя событиями: здесь в рабочей поездке побывал председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, а в эти же самые дни, когда он знакомился с жизнью края, в Москве, в гостинице «Юность» Центральный комитет комсомола проводил слет молодых литераторов страны. На нем в качестве делегатов присутствовали и национальные писатели из Ханты-Мансийского округа — известный ненецкий прозаик Иван Лапцуй и хантыйский поэт Микуль Шульгин.

Не знаю, кто Лапцуй, а Шульгина на русский язык с хантыйского перевел армянский поэт, собственные стихи которого на русский, кстати, тоже кто-то перевел. Можно себе представить, что это были за переводы.

Помню, как раз накануне слета в Москве приносит Микуль мне свои стихи:

— Вот, — говорит, — как раз к 50-летию комсомола написал.

— Кто переводчик? — интересуюсь.

— Мнацаканян.

Ладно. Читаю. Спрашиваю:

— Микуль, ты подстрочник ему давал?

— Да, я ему послал подстрочник на русском языке.

— А перевод после него читал?

— Читал. Пять раз читал.

— Не ври, — говорю, — не читал. Иначе бы заметил, что вот здесь — я же помню твой стих, суть его и мысль — у тебя был олень.

— Да, — соглашается он, — олень. А там что?

— А тут осел. У армян-то оленей нет, у них — ослы.

— Ты ни читать стихи не можешь, ни понимать, — обижается Микуль. — Я пойду к Сан Санычу.

— Давай дуй!

Сан Санычу Микуль пожаловался, что я, якобы не читая, его стихи разругал, раскритиковал и к нему, главному редактору, несчастного национального поэта отфутболил. Сан Саныч забегает и прямо с порога начинает учинять мне разнос:

— Да разве так можно с национальными поэтами работать в национальном округе? Как ты смел? Это ж ленинская национальная политика, мы должны национальные кадры беречь и воспитывать. А ты?.. Видите ли, ему не того оленя подали!

Я говорю:

— Да не оленя, Сан Саныч, а осла.

— Какого еще осла?

— Ему переводчик переводил стих про оленя — красивого оленя, из которого и камусы шьют, и унты, и одежду. Про оленя-кормильца, в общем. А у Мнацаканяна в переводе вместо оленя появляется вдруг осел. У нас Крайний Север, а осел — южное животное. При чем тут осел?

— Действительно, — соглашается Сан Саныч. — Он у нас тут и жить не будет, холодно...

Но это как бы присказка о том, что такое национальный поэт Микуль Шульгин, присутствовавший на слете молодых литераторов страны, посвященном 50-летию комсомола. Самая-то «сказка» была еще впереди...

Микуль в перерыве слета крепенько выпил. А поскольку ни в докладах, ни в выступлениях его ни разу за день не упомянули, шибко обиделся. Обида на виновных парах разгорелась настолько, что Шульгин, не дожидаясь приглашения, вскочил на трибуну и заорал на весь зал:

— Вы нас, молодых талантов, не признаете, растаптываете, никуда не пускаете и вообще содержите нас тут, как негров в Америке!..

А на дворе не нынешние времена вседозволенности — 1968 год все-таки. За любое лишнее слово можно серьезно поплатиться.

Иван Лапцуй сидит в президиуме. Ему кивают на Микуля:

— Ваня, ты разберись со своим соплеменником.

Классик Приобского Севера, недолго думая, Шульгина за шкирку выволакивает в вестибюль, а там без лишних слов врзает ему по морде. И уже после наставительно произносит:

— То, что ты с трибуны сказал, правда. Только правду эту говорить не тебе. Иди в гостиницу, проспись!..

Приезжает Шульгин со съезда. Сидим мы с ребятами в ресторане «Обь» в центре города. Уютненький такой ресторанчик. Там интеллигенция со всего Ханты-Мансийска собиралась. Вдруг заваливается Микуль, весь в снегу — на улице пуржило как раз, какой-то возбужденный, взъерошенный. Ощущение, что только что с мифического коня поэзии Пегаса соскочил после долгого пути.

— Я с этого... Со слета московского.

— Да слышали, и много слышали, — говорю и спрашиваю: — Что тебе сказал Лапцуй?

— Лапцуй мне сказал: «Молодец, ты настоящий поэт!»

— И все?

— Все.

А Лапцуй мне уже успел позвонить и сообщить, что Шульгин в Москве опять нажрался. Ну да ладно. Сидим, выпиваем.

— Ну, а что у вас здесь новенького? — интересуется Микуль.

Я говорю:

— Косыгин наемни приезжал.

— Приезжал Косыгин?



— Да, Косыгин.

— И что?

— Ну что, — отвечаю, — отправился Косыгин в ваше родное национальное село Моротку. — Есть такая задрипанная деревенька, дворов пятнадцать-двадцать, несколько чумов да сельсовет. — Вместе с Санькой Сметаниным поехал.

Санька Сметанин был когда-то редактором сельских передач окружного радио. Болтун и балагур, поэт и журналист, мечтавший об армии. Позже он туда и ушел.

— Ну, а дальше что? — допытывается Микуль.

— Что, что... Приехали в Моротку. Ты ведь знаешь, там удобств никаких нет. Пришли в сельсовет с Косыгиным. Больше переночевать негде. Холодно. В сельсовете только одна раскладушка. «И на одной переспим», — успокаивает Санька. «Тогда беги за водкой в винополку, а я пока дров поколю», — говорит Косыгин. Пока Санька бегал, Косыгин колот дрова.

— О-го-го! — неподдельно восхищается Микуль. — Какой простой человек! Это ж надо! Это ж поэзия! Это ж поэма!

— Достоинно поэмы, — соглашаюсь я. — Дальше выпили. А Санька же, сам знаешь, какой — он же пьяный очень беспокойный. Драку затеяли. Ну и ханты, сельские жители, хоть и сами уже на рогах, но их разнимали, чтобы не было крови лишней.

— Ой-ей-ей! Это ж надо — какой простой человек! Это ж так с Санькой пить! Никто же обычно не пьет с ним. Ведь он как выпьет — дерется. Косыгин и Санька — надо же! Ужас!

— Ты, Микуль, сам-то выпей, все-таки столько событий, — предлагаю я. А Шульгин, наверное, в первый раз за всю свою жизнь — отказывается:

— Нет, пить не буду. У меня в голове темы вертятся. У меня целая поэма в голове! Я поехал писать.

— Только на русском пиши, чтоб без переводчиков обойтись, а мы поможем! — кричу вдогонку.

Через три дня прибегает Шульгин ко мне и радостно возвещает:

— Написал!

Действительно, нацарапал целую поэму.

Я отдал, не читая, машинистке, та перепечатала, приносит, говорит с опаской:

— Слушай, что за галиматья. Косыгин, пляшут, пьют... Мне даже боязно стало.

Тридцать седьмым годом запахло.

— А что там такого? — удивляюсь. — Все нормально. Пили, ели, веселились, почитали — прослезилась.

— Да нет. Все-таки Косыгин...

Заглянул я тогда в текст. Мигуль добросовестно пересказал в рифму то, что я ему в ресторане поведал, особенно красочно про то, как куролесили и дрались в Моротке Санька с... Алексеем Николаевичем Косыгиным. У меня — волосы дыбом.

Тут и автор легок на помине.

— Ну что, отпечатали?

— Отпечатали, — говорю без всяких комментариев и посылаю Микуля прямо к главному редактору:

— Для тебя я плохой знаток и ценитель поэзии, значит, иди к Саньке. Пусть он разбирается.

Санька начал читать. Прочитал про «подвиги» в далеком хантыйском селе. Задумался, тоже вспомнив 1937 год, когда и сам был репрессирован, и дипломатично посоветовал, стараясь не обидеть:

— Микуль, ты знаешь, для эфира пока рановато. Пропусти-ка сначала через окружную газету. Там должно прямо «с колес» в номер пойти. А уж потом к нам приходи.

Микуль отправился к главному редактору окружной газеты Николаю Яковлевичу Бахлыкову. Раньше тот был секретарем райкома партии Березовского района, в том самом Березовске, где граф Меншиков вместе со своими дочерьми в ссылке



доживал последние дни. И Бахлыков многое сделал для того, чтобы на земле Березовской навсегда забыли имя опального графа, поскольку для советской истории, по его глубокому убеждению, оно было чуждо. Потом Бахлыкова перевели в окружную газету. Николай Яковлевич отличался прямоотой, стремлением говорить без обиняков, в лоб.

— Я по наитию чувствую, что здесь что-то не так, — сразу заявил он Шульгину.

На что Микуль возразил ему с железной логикой, что раз здесь про Косыгина, значит, все так. Не так про Косыгина быть не может, потому что этого не может быть никогда.

— Нет, я по наитию чувствую, что здесь что-то не так, — продолжал сопротивляться Шульгин.

— Вы просто зажимаете молодые таланты малых народов Севера, — попытался Микуль воспользоваться своим козырным тузом. Но Бахлыков стоял на своем:

— Я не зажимаю, но я по наитию чувствую, что здесь что-то не так.

— Так вы прочитайте!

— И читать не буду, — пошел в наступление редактор. — Вот если бы кто-то другой принес про Косыгина, я бы почитал, а что ты про Косыгина пишешь, я читать не буду. Иди к секретарю окружка партии по идеологии Тайлашеву. Он ханты по национальности. Пусть и читает. Если скажет: «Да, Микуль, ты гений, срочно в газету», тогда, конечно, тогда без разговоров...

Николай Яковлевич не мог иначе ответить, потому как был большим бюрократом и очень осторожным человеком.

Кстати, за бюрократизм и прочие грехи его собирались вот-вот освободить от должности главного редактора. Уже и соответствующее решение бюро подготовили. Но до этого была еще неделя, и Бахлыков, сам старый партаппаратчик, учуяв, что пахнет жареным, решил упредить события, подстраховаться. Он пришел в первую секретарю окружка партии Николаю Максимовичу Телепневу со словами:

— Всем давно понятно, что я тут не ко двору.

— Да, в общем-то, чего греха таить, — соглашается Николай Максимович, — мы с вами действительно не сработались. В среду бюро будет, станем с вами разбираться, вопрос ставить...

— Слушайте, Николай Максимович, а что нам доводить до этого. Дайте мне самому уйти с работы. Я уже в областном центре, в Тюмени, и место подыскал. Так что я, можно считать, трудоустроен, у вас проблем с этим не будет.

— Но бюро-то уже все заряжено, члены, поди, пламенные речи подготовили. Ну да ладно, все мы люди, — сказал секретарь окружка. — Что ты хочешь?

— Мне бы характеристику для нового места работы.

— Ну, пиши, — говорит Телепнев. — Я, что ли, тебе буду ее писать.

— Да я уже написал, подписать осталось.

К характеристикам никогда всерьез не относились. Первый секретарь подмахнул, можно сказать, не глядя.

И наступает горячий день бюро окружка партии. Все до одного клеймят позором Николая Яковлевича Бахлыкова — и заносчивый, и грубый, и как журналист слабый, в коллективе авторитета не имеет, были в газете политические ошибки... Все члены бюро выступили. Выдрали Николая Яковлевича — как Сидорову козу. И вне-если предложение освободить его от занимаемой должности как не соответствующего высокому статусу.

Бахлыков получает последнее слово. Встает и говорит:

— Товарищи члены бюро. Я тоже ведь член бюро. Пока. И, думаю, им останусь. У всех глаза на лоб.

— Все мы здесь коммунисты, ленинцы, поэтому давайте начистоту. Так вот. Когда же мы перестанем говорить сегодня одно, а завтра другое? Когда красное перестанем называть черным, и наоборот?



— И на кого же вы намекаете? — сердито сдвигает брови Телепнев. — Кого имеете в виду? Кто тут у нас цвета путает?

— Вы, Николай Максимович, вы, первый секретарь окружкома партии, и путаете.

— У-у-у!.. — разнеслось по кабинету.

Слышанное ли дело — на первого секретаря так вот «наехать»! Да он же главная власть здесь, член ЦК КПСС, он с министрами за руку здороваются, уважаемая личность!..

А Бахлыков продолжает свое:

— Я думаю, Николай Максимович, вам придется извиниться передо мной. И вам всем, товарищи члены бюро, за устроенную мне экзекуцию. Это как получается? В характеристике от 1 декабря, подписанной первым секретарем окружкома партии — видите его собственноручную подпись внизу, — я хороший, по всем предъявленным сегодня пунктам обвинения хороший, а через несколько дней почему-то стал вдруг плохим? Когда я успел у нас на севере в сорокаградусные морозы прокиснуть?

У членов бюро и челюсти отпали. Листок характеристики прошелся по рукам — действительно, документ подлинный. Первый секретарь схватился за сердце. Такого подлого удара под дых он не ожидал...

Но это произойдет позже, а пока осторожный бюрократ Бахлыков посылает Микуля Шульгина, опорочившего Косыгина, к Тайлашеву. Тот вызывает Микуля и грозно вопрошает:

— Так, Микуль, где ты взял материалы для этого пасквиля?

— Как где? Медведев рассказал мне все.

— Как мог Медведев лить такую грязь на премьер-министра? Я его прекрасно знаю: хоть и молодой, но умный и политически зрелый парень. Врешь ты, Микуль. Говори правду.

— Медведев. Медведев — и все!

— А ты знаешь, что по тебе тюрьма плачет. И по Медведеву, если это он. В общем, будете оба отчитываться в КГБ. Я так это оставить не могу.

Вызывают нас в КГБ и зачитывают поэму Микуля Шульгина.

— Это что же такое? Как вы додумались? И вам, Медведев, как не стыдно! Способный, неглупый молодой человек, идеологический работник — и такое наговорить на Алексея Николаевича Косыгина! Просто мерзость!

— А я здесь при чем? — пожимаю плечами.

— Ну, так вы же про Косыгина Шульгину рассказывали.

— Кто вам сказал?

— Мы говорили с Бахлыковым, с Тайлашевым. От них информация. Что нам скрывать? Мы от народа ничего не скрываем.

— Ну и правильно, — говорю. — Не скрывайте. — И спрашиваю: — Так про какого же Косыгина я рассказывал?

— Про Алексея Николаевича, — с готовностью отвечает за майора Микуль. — Как он пил, как он дрова колот, а Санька бегал за водкой и все прочее.

— Ты все перепутал, Микуль, — говорю. — Слышал звон, да не знаешь, где он. Я тебе про Колю Косыгина говорил. Так?

— Да, вы его вроде Колей называли, — стал припоминать Шульгин.

— А Коля-то Косыгин кто? — спрашиваю. И сам же отвечаю: — Лиературный сотрудник окружной газеты «Ленинская правда». Раньше он в Тобольской тюрьме надзирателем был. А потом, когда крыша поехала, к Бахлыкову устроился. И два этих придурка — Коля Косыгин от газеты и Саня Сметанин от радио — вместе отправились в командировку в Моротку. Проверьте в редакциях по приказам на командировки. Оба действительно там нажрались со всеми теми последствиями, о которых я и рассказывал.

Майор КГБ на меня смотрел-смотрел, и говорит:



— Нет, в самом деле есть в редакции человек с такой фамилией?

— Позвоните Бахлыкову и убедитесь — чего проще!

Майор снимает трубку и спрашивает:

— У вас в редакции Косыгин работает?

— Работает. А в чем вопрос?

— Да тут вот поэма...

— Я совершенно ни при чем, — не дав майору договорить, перепугался Бахлыков. — Я даже не читал ее.

— Да успокойтесь, товарищ редактор. Разговор про другого Косыгина. Совсем про другого — вашего работника, литсотрудника. Они со Сметаниным действительно нажрались в командировке. А Микуль вашего Косыгина обозвал председателем Совета Министров, перепутал все. И пусть Тайлашев к нам его больше не посылает. Это его кадры.

Бахлыков позвонил обратно Тайлашеву. Тайлашев срочно вызвал через посыльного к себе Микуля и вставил ему здоровенный фитиль:

— Сколько раз на дню мои подопечные национальные кадры могут обсираться? Это ж надо такое! Я же говорил, что Медведев толковый и политически грамотный парень. Он тебе про какого Косыгина говорил? А ты что сделал? Какому-то алкашу присвоил должность председателя Совета Министров. Значит так, Микуль, ты у меня попал в опал.

Глазами очевидца и участника

Март 1972 года. XXIII съезд родной Коммунистической партии Советского Союза. Событие очень серьезное, знаменательное, вся страна готовила ему достойную встречу. Проходили партконференции в областях, районах, городах и поселках. Выбирали делегатов на съезд. От числа коммунистов каждой области — соответствующее количество делегатов. Чем больше областная парторганизация, тем многочисленнее делегация.

И случилось так, что один из выбранных делегатов незадолго до съезда крепко поругался с первым секретарем обкома партии. Более того — послал хозяина области на три буквы. Дерзость неслыханная! Смягчающее обстоятельство только одно — простой работяга, хотя и знаменитый, и один из первооткрывателей тюменской нефти, Герой Социалистического Труда, но все равно работяга, буровой мастер. Благородных пансионов не кончал и воспитан был на той самой лексике, которую в отношении первого партийного лица области употребил. Но из делегатов решили его все-таки убрать, пока он еще кого повыше ненароком не послал, заменить.

Здесь нелишне вспомнить тогдашнюю механику выборов и замен. Все было строго регламентировано. На съезд от области должно было поехать столько-то процентов молодых коммунистов, столько-то — с большим стажем, энный процент рабочих, бригадиров, доярок, руководителей и т. д.

По поводу такого рода разрядки я однажды, будучи в командировке, разговорился с работником орготдела ЦК. «А почему именно так?» — спросил я его и он сказал: «Ну, смотри. Почти неделю длится съезд. Пять дней, пять ночей живут делегаты в гостинице. Люди разные. И вот подумай. Скажем, пастух — разве найдет он вечером в гостинице что-то общее, например, с женщиной-академиком? Нет, конечно. Значит, к свинарке надо пастуха, чтоб им нескучно было, а к академику кого-то соответствующего. Так сказать, каждой твари по паре...»

В общем, нефтяника-матершинника срочно требовалось заменить равнозначной фигурой. Чтобы был он не ниже бригадира, имел дело также с техникой, и чтоб, как и у того, сияла на лацкане высокая награда.

И такого кандидата нашли. Иван Мефодьевич Бугаев возглавлял бригаду лесорубов и был хорошим простым мужиком. Своего Героя он получил за то, что его трактор работал полтора срока без капитального ремонта. Вообще-то, наверное, Звезду за это лучше бы дать трактору, но технику награждать не принято, поэтому



досталась она Бугаеву.

Слетал Иван Мефодьевич в Москву, принял участие в съезде, домой вернулся. А существовала следующая практика. Возвратившиеся делегаты сразу отправлялись в массы рассказывать о решениях партии, делиться впечатлениями. Не миновала участь эта и Бугаева.

Я тогда работал на телевидении, возглавлял редакцию информации народного хозяйства. Звонят из обкома и говорят, что вместе с заведующим орготделом Валентином Паренкиным мы поедем в дальний лесопункт, где работает этот самый Мефодьевич. Надо, мол, сначала обкатать мужика, научить говорить перед аудиторией, держаться.

Приехали на лесопункт. Там деревушка и вахтовый поселок. Добираться очень сложно. На вездеходе по лежневке тряслись-тряслись... По пути к нам сотрудник госбезопасности подсел, ему туда же надо было.

И вот мы в местном клубишке. В зале человек сто мужиков-лесорубов сидят. Хорошо, не курил никто, терпели. Иван Мефодьевич наш выходит на трибуну — здоровый мужик с говорящей за себя фамилией — Бугаев, — и начинает говорить:

— Ну, се, мужики, се вам рассказать про съезду нашей КПСС?

КПСС он как следует не выговаривал. Выговаривал отдельно КП и СС. СС — с особым нажимом. Будто сапогом отдавливал. Я глянул на сотрудника из органов — у него глаза навывкате.

— Ну и се, се вам рассказать? Ну, допустим, я вот, когда избрали меня, погода была плохая, нелетная. В аэропорту нашем все в лежку лежали. Три дня погоды не было, никто улететь не мог, народ маялся. А за мной — я же делегат — прилетел вертолет Ми-8, всепогодный, обкомовский, весь в коврах. Я сел и полетел. Прилетаю, меня там встречают товарищи обкомовские в Тюмени и везут в обком. Заводят меня в обком и говорят: «Да, Иван Мефодьевич, пальто у вас вроде бы, нормальное, как мы и говорили, какое одеть. Костюм на вас хороший, пойдет. Штиблетики поменяем, ладно». И знаете, у меня шапка-то была не пыжиковая. Пыжиковую я свояку по пьянке подарил. И тут товарищи обкомовские посмотрели, и вот этот, главный-то у них, и говорит: «Да, Иван Мефодьевич, шапчонка-то у тебя не в п...ду». Ну и где-то эдак часа за два притащили десять штук, чтоб подошла. Надели. Ну и мы полетели туда, в Москву. Прилетаем в Москву. Москва — большой город, если кто не был, большой город. Приезжаем — нас сразу в гостиницу. А гостиница называется «Россея». Большая, прямо большая. Заводят на девятый этаж. Такая миловиденькая бабенка ведет меня и говорит: «Иван Мефодьевич, это вот ваши апартаменты, ваш номер, вы здесь будете жить». Не знаю, почему, но она мне показала туалет и ванну и сказала: «А здесь можете помыться». Ну, я помылся. А еще мужики, что я вам скажу, вот у нас, когда в кафе заходишь, в Советском, помните, сортир — там же вот сидишь, а ручку-то вот так дергать надо. А в гостинице не так. Там вот встаешь вот так вот, вот тут давишь, оно все и уходит, дерьмо.

Валентин Паренкин сидит как на гвоздях. Мужик что-то не по теме несет.

— Иван Мефодьевич, — шепчет ему, — рассказывай про съезд. Кто выступал?

— Выступал Брежнев целый день. Косыгин выступал, не без этого, целый день.

— О чем?

— Он целый день выступал. Мы сидели с лесорубом из Красноярска Петей Ваниным. Когда Косыгин-то начал выступать, уж больно скучно стало. Я и говорю Ване: «Пойдем в буфет». В буфете-то время быстрее скоротать. Ну, пошли мы в буфет. А там ведь бесплатно, и икра, и все. Прямо скатерть-самобранка. Нам подливают. Захотим выпить, только за рюмочку взялся, а она уже полная. В общем, мы пили...

Дальнейшие расспросы о том, что Косыгин говорил в своем выступлении, были явно уже бессмысленны: Иван Мефодьевич все равно не расскажет, в буфете сидел, про трактора с «коллегами» разговоры вел.

— А куда в свободное время ездили, в какие театры? — пытается сменить тактику Паренкин.

— А какие театры? Не люблю я эти театры. Мы вот с красноярским лесорубом знаменитым все в цирк ходили. Ой, хорошо! Там с такими ляжками прыгают. Ужас! Сроду бы не смотрел. Да чтоб мне так не жить! Прямо все вот голые и прыгают...

— Ясно, — нервничает заворготделом. — Ты давай про съезд говори!

— Ну, я про его и говорю. Потом как-то заходит ко мне руководитель нашей делегации, бумагу протягивает: «Иван Мефодьевич, вот списочек. Просмотри его. Возле каждого названия поставь цифру — чего сколько тебе надо. Потом это тебе отправят домой, в ваш ОРС посылкой. Я взял список. Длиннющий. Я все и не прочитал. И субы (шубы) там, и ковры, и холодильники, и сапки (шапки), и свитера, и сапоги, и туфли... В общем, все, чего только душа желает. Я и поотметил. Я все поотметил. А чего там мелочиться — все я отметил. Все, что надо, что не надо. Думаю, придут вещи, баба разберется. Вижу, к примеру, — шуба. Три шубы надо. Жене надо шубу. Жене начальника лесопункта шубу надо — надо, жене директора леспромхоза шубу надо — надо. Вот и отметил три. Всем поотметил. Намедни вот тут вот посылки пришли. Меня вызвали в ОРС и сказали: «Иван Мефодьевич, вот, выбирай и выкупай, что тебе надо». Ну, деньжонки у меня, конечно, есть. Я посмотрел: сапки — пять штук. Начальнику лесопункта надо — надо, директору надо — надо, председателю сельсовета надо — надо. Мне, вдруг по пьяни потеряю, надо — надо, сыну надо — надо. Я это все отложил. Шубы уже я раньше распределил, ковры я тоже распределил. Свитера взял, хорошие свитера, импортные. Дальше, а там пошла такая всякая дребедень, такая хрень. Но я — коммунист, я же делегат съезда КП СС. И я сказал: «А это все отдайте народу». Чего мы не будем. Всем поровну. Ну там бюстгальтеры всякие, рейтузы, носки... Все отдал народу. Но три холодильника забрал себе. Они еще не пришли. Пригодятся.

Долго он еще молотил в том же духе. Чистейшую антисоветчину по тем временам нес. Партию и Советский Союз дискредитирующую. Зато мужики в лежку лежали, ржали до упаду, его слушая.

Вышли мы, наконец, на свежий воздух, стоим курим. Представитель райкома за голову хватается — что мы натворили.

— Ну и что ты скажешь, начальник? — спрашиваю я у кэгэбиста. Парень еще молодой, видно, недавно из училища.

— Хорошо, что времена сейчас не те, — отвечает, — а то лет сорок назад расстреляли бы вас за такую партийную пропаганду.

По возвращении меня вызвали в райком и сказали: «Вот тебе партийное поручение. У Ивана Мефодьевича всего четыре класса, он по слогам читает. Так вот, запиши ему на пленку минут двадцать его будущей речи, и пусть он сидит и учит ее на зубок. И чтоб, твою мать, ни слова не добавил, не убавил».

Поехал я опять к Ивану Мефодьевичу. Сначала зашел в партком леспромхоза. Так и так, говорю. А мы тут уже текст набросали, утвердили, мне отвечают. Осталось прочитать. Ладно. У меня дикция неплохая была, хорошо читал. Наговорил я дикторским голосом текст, записал на пленку, отдал Бугаеву. Весь день он с ним мучился. Чайку выпьет — слушает, еще выпьет — снова слушает. До опупения, наверное, наслушался. И вот нарисовывается. Забегает ко мне и прямо с порога:

— Все, выучил. Я жене продиктовал, проговорил, она сказала — точно.

— Хорошо, — говорю, — давай проверим.

Он встал, как пионер, декламирующий стихи, и отбарабанил мне свою будущую речь. Я его усадил и спрашиваю:

— Иван Мефодьевич, а что у вас там из шубы-то торчало?

— Бутылка.

— Давай сюда.

— Так я тебе и принес, за труды.

Разлили мы водку, выпили. Я ему и говорю:



— Вызубрить-то ты вызубрил, только вот КПСС произносишь неправильно. Будем с тобой сейчас учиться. КПСС надо говорить не раздельно, а вместе и скороговоркой. Делай, как я. Он:

— КП СэС, КП СэС, КП СС.

— Нет, — говорю. — Давай вот еще по стопочке выпьем, и ты все правильно скажешь.

Он опять то «КП СэС», то «КП СС». Снова я ему стопочку:

— Не отделяй буквы. Говори подряд — КПСС.

— Давай откинем КП и будем говорить одно СС, — предлагает Иван Мефодьевич. — Какая разница? Что это такое КП СС твоё?

Я говорю:

— Это Коммунистическая партия Советского Союза. А СС — это самые зверствующие у Гитлера войска были, жестокие каратели.

— Тогда давай только КП говорить.

— КП может означать и Коммунистическую партию Израиля, и Компартию Китая. Нет, делай, как я говорю.

Когда бутылку допили, а результата все же не добились, я говорю:

— Иди-ка ты, Иван Мефодьевич, домой и учи с женой правильно произносить КПСС. Жена-то уж точно знает, как надо. И чтоб до утра выучил. Иначе тебя первый секретарь райкома так за задницу возьмет, что мало не покажется. Мы и так четыре дня долбим, ты на работу не ходишь. У трактора твоего медаль отберут.

На этом и договорились. На следующий день забрали его, повезли на «гастроли» — выступать перед рабочим людом, впечатлениями делиться.

А потом Иван Мефодьевич с бригадой своей новый рекорд поставили. И к какому-то очередному юбилею светил ему второй орден Ленина. Что и говорить, труженик он был замечательный. Но поскольку плохо произносил КПСС, пришлось довольствоваться ему на сей раз всего лишь медалью «За доблестный труд». Пусть и на том скажет спасибо.

Такая вот история про самого типичного делегата партийных съездов из рабоче-крестьянских низов, одного из тех, кто бездумно голосовал и одобрял, будучи далеким от всего этого.

Триста первая

В начале 1970-х на севере Тюменской области, в поселке Комсомольском организовали региональную студию телевидения. По направлению обкома партии я приехал туда работать.

В техническом отношении тогдашнее телевидение сильно отличалось от нынешнего. Телевизоры были ламповые. Если современную телекамеру оператор спокойно несет под мышкой, то тогда, чтобы эту бандуру вместе с треногой таскать, устанавливать, на кадр наводить, три-четыре мужика нужны были. Правда, работала не хуже нынешних. Вот с такой аппаратурой, такой чудо-техникой пришлось дело иметь.

И был у нас на студии секретарь партийной организации, состоящей всего из пяти членов, телеоператор Халил Утяшев. В его ведении как раз эта телебандура и находилась. Сам по себе был он недалек, звезд с неба не хватал, но мнил из себя черт знает что. Но я не об этом...

Однажды сидим мы с ним в единственном в Комсомольском кафе «Северянка», выпиваем. Халил уже поддательный пришел, а я еще свеженький. Разговорились. Дружески и, в общем-то, откровенно. Я парень молодой, холостой. Ему уже лет 35. Высокий, очень худой татарин с тонким, как бритва, носом. Если исходить из наружности, то я бы на месте самой завалющейся бабы на него никогда б не клонул. Не просматривался в нем мужик, которым баба могла б заинтересоваться. Тем не менее он был женат.



И вот спрашивает он у меня:

— Ну-ка, скажи, сколько ты за свою жизнь женщин поимел?

Вопрос застал меня врасплох. Разве ж я считал когда.

— Пять или шесть, — отвечаю.

— Сколько? — переспрашивает.

— Пять-шесть. Где-то так.

— Ни хрена себе! Да чем же ты занимаешься? — смеется он.

— А ты сколько? — спрашиваю.

— Триста.

— Ты — триста?

С такой рожей и таким характером — триста! Сильно я засомневался.

— И ты знаешь, кто трехсотая была? Саша Войцицкая.

А у меня друг был Валентин Войцицкий, кинооператор, прекрасный парень. У него жена — Саша Войцицкая, медсестра, в больнице работала. Красавица, достойная кисти Рафаэля. Да и человек прекрасный. Бывают же такие женщины, красивые и внешне, и внутренне.

— Да, я ее это... — говорит Халил и дает волю своей фантазии: — Лежу я в больнице. Заходит ко мне вечером Саша, медсестра, и говорит: «Халил, а я тебе укол пришла поставить». А я ей: «Саш, давай лучше я тебе поставлю». Она мне: «А почему бы нет». Все дежурство мы с ней и прокувыркались.

В тот день мы в кафешке крепко набрались. Грязная ложь Халила, а он и без того был мне антипатичен, меня возмутила, и мы чуть не подрались. Хорошо, администраторша кафе нас разняла.

Пошел я домой. Пока шел, еще выпить захотелось. На первом этаже моего дома как раз Войцицкие жили. Знаю, что у них всегда спиртное есть. Постучался. Открыла Саша.

— Валентин где? — спрашиваю.

— Витя, ты же сам его отправил в командировку на съемки.

Действительно. Я и забыл. Попросил у нее выпить. Поставила полбутылки, закусить. За выпивкой и рассказал Саше о бахвальстве Халила, о том, что она у него трехсотая. Саша меня внимательно выслушала, задумалась. А я на следующее утро и забыл о том, что ей рассказал.

Дней через пять встречается мне Саша и говорит:

— Витя, поздравь Халила с триста первой. У него триста первая уже.

Я в это время оставался за директора телестудии, который ушел в отпуск. Сажу в кабинете. Заходит Халил перед вечерней программой, докладывает, что прибыл. А я и говорю:

— Халил, Саша Войцицкая просила поздравить тебя с триста первой.

Не успел я закончить, как Халил хватается тяжелый стул и за мной. Ладно, я бегал хорошо. Выскочил из студии и помчался по бетонному тротуару через весь поселок. А он бежит со стулом за мной и орет:

— Убью!

И убил бы, наверное, не заскочи я по пути в сельсовет. Председатель Лопатина ко мне:

— Что случилось, Виктор Андреевич?

— Халил за мной гонится, убить грозит.

— Как убить?

На мое счастье, в сельсовете еще и единственный на весь поселок милиционер находился.

Заскакивает Халил со стулом. Милиционер достает пистолет и командует:

— Халил, руки вверх! Пристрелю! Ты что нарушаешь порядок?

А председатель как начала Халила чихвостить!.. Пока она его отчитывала, я бочком-бочком и обратно на студию пришел.

После смены, подписав и отправив все микрофонные материалы в эфир, зашел

к Войцickой, спросил:

— Саша, что за триста первая такая?

— А помнишь, ты рассказывал мне, как я у Халила трехсотой стала?

— Смутно, — сознался я. — Подумал, что приснилось.

— Да нет, рассказывал. Так вот, иду я наемни по поселку. Навстречу Халил. Как обычно, с портфельчиком на работу шагает. «Здравствуй, Халил, — говорю. — Хорошо сегодня выглядишь. Никак любовницу завел?» А он: «Да нет, Саша, лучше тебя разве найдешь». «Халил, — говорю, — Войцickий-то мой опять на съемке, на трупопроводе. Как бы нам с тобой?..» — «Да надо бы, только вот когда?» А я: «Зачем тянуть? Давай сегодня. Я сейчас на смену заступаю, ты и приходи. Бери шампанского, коньяка, килограмм трюфелей и приходи за больницу, туда, где сломанный кедр лежит, ты знаешь, где обычно больные время проводят. Там. Как мимо пойдешь, ты мне на пост постучи, и я выйду...»

Халил ко мне прибегает в тот же вечер и просит его со смены отпустить по семейным обстоятельствам. Знать бы мне тогда, куда он так торопится...

Ушел Халил. А дальше по рассказу Войцickой было вот что.

В магазине Халил купил все, как и велела Саша, набил полный портфель, и отправился в больницу. Постучал на пост. Саша выглянула, кивнула: иди, мол, на условленное место. Халил идет, садится на этот поваленный кедр. Ждет, предвкушая ожидаемое с такой замечательной дамой удовольствие.

Вдруг из ближних кустов выбегают штук пятнадцать санитарок-звать-тамарок. Половина лезет к нему в портфель, распечатывают коньяк с шампанским, трюфеля разворачивают, пьют и закусывают. Другие — раздевают Халила и хлещут его крапивой, приговаривая хором: «Вот тебе триста первая! Вот тебе триста первая!» Потом меняются. А после оставляют Халила в чем мать родила и спокойно уходят исполнять свою медицинскую службу.

Натянул Халил портки и пошел к своей законной Хамиде. Он долго молчал. Знал, что я проболтался, но не знал, как мне это припомнить. А тут я его сам поздравил с триста первой. И чуть было не попал под раздачу. Пожалуй, единственный раз в жизни я был на волосок от смерти.

Аркаша

И снова студия телевидения поселка Комсомольский. Я опять замещаю уехавшего в отпуск директора. Сижу в его кабинете.

Входит молодой человек. Невысокого роста, коренастый, в больших роговых очках. Лицо — как расширенный кверху клин. Кудрявый, волосы черные как смоль. Весь живой такой. Здоровается, представляется:

— Аркадий Дорман. Приехал к вам по распределению. Выпускник режиссерского факультета Ленинградского института культуры.

Институт свой назвал он с большой гордостью. А я его поправил:

— Института культуры, театра, музыки и физкультуры.

Дорман чуть ли не с кулаками на меня кинулся. В самом институте, видно, полное его название воспринимается всегда с кровной обидой. Наверное, потому, что искусство и физкультура — вещи разные. Ну да ладно.

На этом он свое представление не закончил.

— Я — Аркадий Дорман, режиссер. Прошу не путать меня с другим Дорманом, Вениамином, с именем которого связаны такие нашумевшие фильмы, как «Судьба резидента», «Ошибка резидента», «Тени исчезают в полдень». Он, как мне говорят, человек хороший, но режиссер — дерьмо. Я, напротив, признаться, человек — дерьмо, но режиссер хороший.

Рассуждения его о том, кто какого качества, меня несколько шокировали, но я говорю:

— Ладно, в работе посмотрим.

И начали мы работать.

Кто помнит советское время, знает: если тебе направили молодого специалиста, ты его не только не имеешь права выгнать, а еще должен доводить до профессиональной кондиции, воспитывать, внимание всяческое оказывать: подъемные давать, в отпуск своевременно отправлять, жильем обеспечивать, в общем, чуть ли не на руках носить, лишь бы хоть как-то работал.

Аркаша как режиссер действительно оказался оригинальным, интересным. Мог самый плохонький сценарий или сценарный план очень хорошо отработать. Подходил ко всему с творческим зарядом, закигался.

Но было в нашей работе правило: сценарий передачи каждая редакция должна была сдавать в режиссуру за две недели до выхода в эфир. И если в срок сценария заявленной передачи не поступило режиссеру, он мог ее не делать по причине якобы нехватки времени. А это значит — выговоры, наказание рублем и все такое прочее.

У нас на студии было две основные редакции: общественно-политических программ и экономики народного хозяйства и информации. Последнюю возглавлял я, а редакцию общественно-политических программ — Володя Кочкаренко. Он был неплохим поэтом, издал книжечку стихов, что по тем временам уже само по себе немало значило. Его хорошо знали в Екатеринбурге, других уральских городах.

Фамилии Володи и Аркаши точно указывали, к какой национальности каждый из них принадлежал. И при первом же рукопожатии Кочкаренко, узнав фамилию Аркаши, сказал ему:

— А я Кочкаренко. Но учти, как говорят в Одессе, где хохол прошел, там еврею делать нечего.

— Учту, — сказал Аркаша.

Надо заметить, что в семидесятые годы в СССР шло тихое негласное гонение на евреев. Их старались не принимать в партию, как правило, их не повышали в должности, не росла их карьера. И телевидение в этом отношении было показательным примером.

«Учту», — сказал Аркаша, и с этого все у них началось-завертелось.

Заявлена была передача по поэзии Кочкаренко. Остался день до сдачи сценария. Дежуривший по графику Аркаша Дорман Володю об этом предупреждает. «Все будет готово», — божится Кочкаренко, но внезапно дня на три запивает и, естественно, срок подачи сценария летит к чертям. Оклемался Володя, кое-как навалял сценарный план передачи и через помощника режиссера Дорману отдал: делай, мол! Тогда Аркаша не через помощника или ассистента, а сам заходит к Кочкаренко и говорит:

— «Делай» я не буду. Срок вышел. Так что, дорогой, где хохол прошел, там еврей не пойдет. И это будет умно.

Передача на срыве. Другие режиссеры ее не берут из солидарности. Ну, а поскольку за директора я, Кочкаренко ко мне:

— Решай вопрос. Подумаешь, на три дня запоздал.

Вызываю Дормана. Он мне:

— Есть правило, я от него отступать не буду.

Посмотрел я на того и другого — у этого морда пьяная, у того свежая — и говорю:

— Владимир Павлович, вы не правы.

— Да, я знаю, но проболел вот.

— Он водку жрал, а не болел, — язвительно ухмыляется Дорман.

— Аркаша, — возражаю я, — когда человек болеет с похмелья, это страшнее, чем сердечный приступ. Ты пойми человека и пойди ему навстречу — сделай передачу!

— Нет, не буду, — заупрямился Дорман.

У меня с Кочкаренко отношения тоже не очень ладились. Заносчив он бывал, когда я директора не замещал (субординацию-то он соблюдал строго). Поэтому дальше

настаивать я не стал. Тем более что было, чем дыру заткнуть, имелись в резерве передачи. Да и Кочкаренко нелишне призвать к порядку — не раз и до этого он такие фокусы себе позволял.

Передача не пошла. Я загрузил Дормана другой. Своей собственной. По моему сценарию. Правда, написан он был левой ногой, без души и сердца. Можно сказать, по принуждению. Надо было сделать передачу на предсъездовскую тему — сделал. Душа не лежала, вот и я слепил через силу.

Взял Дорман сценарий, микрофонные материалы, пошел работать. Когда ознакомился со всем, толсто намекнул, что материал-то далеко не гениальный.

— Да, Аркаша, не гениальный, — соглашаюсь я. — Даже, может быть, и плохой. Но зато есть у нас великий режиссер.

— Кто такой?

— Аркадий Борисович Дорман.

— А вот это правильно. — Берет сценарий под мышку и заявляет, уходя: — Такая передача будет, какой режиссер.

— Какой режиссер только, посмотрим, — говорю вслед.

Когда передача прошла, все были удивлены. Аркаша сделал ее постановочной, прекрасно обыграл сухой материал, нашел необходимые спецэффекты. И она у него засияла, стала едва ли не лучшей передачей месяца. Вот что значит профессиональное мастерство. Прав он оказался, когда при первой встрече категорически заявлял, что он хороший режиссер.

Но вот однажды прихожу я на работу, заглядываю в репетиционный зал, где идут у нас репетиции, сухие прогоны передач. Обычно там, кроме стульев, ничего нет. А тут стол длинный посередине помещения, а на нем чего только нет! И тапочки, и сапоги женские, и туфли мужские, и свитера лежат... Хорошие вещи все.

— Это что тут такое? — спрашиваю. — ОПС, что ли, приехал с распродажей?

— Да нет, — отвечают. — Это Аркадий Борисович разложились.

В советское время такое не было принято, даже наказуемо, могли за спекуляцию посадить.

Оказывается, Аркашина бабушка Бэтти прислала ему из Молдавии несколько посылок, чтобы внук, так сказать, поимел приработок. А в письме написала: «Я знаю, Аркаша, что на твою зарплату много каши не съешь, не купишь, вот и решила помочь...» Аркаша смело взялся за дело, обзвонил близлежащие конторы. Бабы сбежались, как на выставку (в магазинах хороших товаров было мало), и вмиг все расхватали.

Расхватали, но за Аркашей Дорманом шлейфом потянулась дурная слава, что он спекулянт. В первую очередь его враги старались во главе с Кочкаренко. Они Аркашу «подняли на вилы» и взялись внушать общественному мнению, что таких надо гнать поганой метлой. С той же мыслью и ко мне пришли.

— Да нельзя его гнать, — говорю, — он молодой специалист, три года отработать должен. А мы обязаны его воспитывать. Давайте вместе Аркашу от спекуляции отучать. Пусть комсомольская организация с ним поработает. Он же комсомолец.

Так и ушли Аркашины враги от меня ни с чем.

Следом Дорман заходит.

— К вам приходили на меня пожаловаться?

— Приходили.

— Вы знаете, — стал оправдываться Аркаша, — все это мне прислала бабушка Бэтти. Она старенькая, работает бухгалтером, получает очень мало. Просила вот, чтобы я помог продать...

— Зачем твоей бабушке столько денег? И кто она вообще, эта твоя бабушка Бэтти?

— Как, вы не знаете, кто такая бабушка Бэтти? Все знают, а вы не знаете?

— Не знаю.

— Она — главбух всех швейных фирм Молдавии. Получает мало, ей надо боль-



ше. А знаете, кто был мой дедушка? Бабушка мне всегда говорила, чтобы я был верным ленинцем, как мой дедушка.

— Ну и кем же был твой дедушка, верный ленинец?

— Мой дедушка был директором всех винодельческих заводов Молдавии.

— Ну, тогда, — говорю, — он действительно самый верный ленинец.

Поговорили мы еще в том же духе об Аркашиных предках, и он ушел. Но дело на этом не кончилось. Скорее, только началось. Аркаша продолжал строить свою судьбу, с одной стороны, в рамках советских реалий, а с другой — в духе будущих рыночных отношений. Его оппозиция между тем фиксировала в специальном дневнике каждый его шаг. На студии Аркаша творил чудеса. Передачи были у Дормана отменены, и на их фоне на какие-то мелкие проступки оставалось только закрыть глаза.

Только вот проступки становились все бессовестнее. Особенно один меня возмутил.

Здесь надо отметить, что Аркаша всегда хорошо одевался. Не как мы все, сибиряки. И костюмчики у него с иголочки, и брючки особенные, и свитерочки разные, пуловерчики — в общем, чего у него только не было. И как-то раз купил я себе золотую печатку, перстень. Красивая дорогая штука за 120 рублей, — почти месячная моя зарплата. Увидел ее Аркаша и говорит:

— Какая прелесть, какая прелесть!

— Да, Аркаша, всем нравится, — говорю.

— Продайте мне.

— Нет, не продам. Иди в магазин, там, может, еще есть.

— Нет там, я уже бегал, смотрел. Вообще золота нет.

Тогда вообще золото просто так не продавали. Даже на свадьбу — только по письму ЗАГСa можно было приобрести. А мне эта печатка по блату, через знакомую досталась.

И вот пристал ко мне Аркаша.

— Вы мой френчик видели? Черный, с красным подкладом. С деревянными пуговками.

— Очень, — говорю, — понравился.

— Он всем нравится, но я могу уступить только вам.

— И за сколько ты его брал? — спрашиваю.

— За 150, в Риге. Но вам дешевле отдам. Я два раза одевал, значит, уже он не новый. Давайте так: вы мне печатку золотую — я вам френчик и две бутылки молдавского коньяку.

Как раз на такой коньячок у меня давно глаз горел. А френчик и вообще был моей мечтой. Очень я в нем хорошо смотрелся. И я согласился.

Аркаша тут же притащил френчик, две бутылки коньяка, забрал перстень. Одну бутылку мы приголубили сразу же, на что Аркаша пообещал ее заменить, раз он пил (но так и не заменил). В общем, остался я приобретением доволен. Местные девочки на меня оборачивались, а мне, двадцатипятилетнему парню, лестно. И все хорошо, и спасибо бы Аркаше, но...

Прилетаю я в Тюмень в командировку, ужинаю вечером в ресторане. Играет музыка, публика танцует. Смотрю, в углу сидит парень точно в таком же френчике. Я подошел, извинился, поинтересовался, где он такой френчик взял. Сказал, что в Риге. Тогда я спросил, за сколько он его покупал. Оказалось — всего за двадцать один рубль! Меня как кипятком обварили. Это ж надо — всего за двадцать один! А Аркаша сказал — за сто пятьдесят. В семь с лишним раз, выходит, я продешевил.

Вернувшись в Комсомольский, пригласил Аркашу к себе домой. Аркаша приходит. Сажая его против себя. У меня две бутылки водки на столе, булка хлеба и нарезанная рыба.

— Садись! — говорю. — Сейчас тебя водкой напою, а потом набью морду.

— За что? — удивляется он.

И я рассказываю ему, как он меня крупно обманул. Аркаша очень расстроился,

что его раскусили, очень расстроился. Но расстроил его даже не сам этот факт, а возможные его последствия.

Дело в том, что он собирался стать кандидатом в члены КПСС. И такой вот прокол! А самое для него неприятное то, что одну из рекомендаций должен был дать ему я. И какая, спрашивается, может быть после этого рекомендация?

Аркаша, значит, все это быстренько просек, связал с тем, что евреев и так в партию с распростертыми объятиями не берут. Как, впрочем, и вообще всякую-разную интеллигенцию и ИТР. Зеленая улица — только гегемону-пролетариату.

Тогда, кстати, и своего рода «такса» была: три к одному — за трех принятых в партию рабочих одно место интеллигенту, инженерно-техническому работнику или руководителю доставалось. Соотношение это выдерживалось жестко. И правильно. Поскольку к тому времени КПСС становилась уже не рабочей, а партией бюрократов.

Так что Дорман со своими делами мог с приемом в партию и «пролететь». Очередной раз ему сейчас влипнуть было никак нельзя. А он влип.

Но Аркаша тут же нашелся.

— Виктор Андреевич, давайте так: вы не передумайте насчет рекомендации, а я сейчас же исправлюсь. Френчик этот вам дарю. И возвращаю золотую печатку. Но у меня предложение. Вы на севере — свой парень, часто бываете в командировках...

Я действительно любил командировки, интересных людей, экзотические места. Так что Аркаша прекрасно знал, что говорил.

— ...Вы привезете мне шкурки трех соболей, у охотников купите. Они стоят по шестьдесят рублей каждая, а я вам дам за них по восемьдесят. И мы в расчете. Но надо в месяц уложиться.

Я задумался. Рекомендация рекомендацией, а деньги всегда нужны. Тем более что френч и печатка возвращаются. А со шкурками, получается, и навар неплохой.

Аркаша в охотничьих делах ничего не соображал, и я был не лучше. Полетел я в одно охотничье хозяйство, где жили ханты и манси. Национальный поселок. Прихожу к одному знакомому парню — знаменитому охотнику по тем местам, депутату Верховного Совета РСФСР. Он был ханты по национальности, но человек очень интересный. Он меня очень хорошо встретил, строганиной угостил. Беседуем. Я о нем передачу должен был делать, кинооператора ждал. Когда выпили, разговорились, я говорю:

— Слушай, мне надо несколько шкурок соболей.

А он мне:

— Ты что, не знаешь, что не время. Старые шкурки все сдали, а сейчас охотиться нельзя, потому что соболя не созрели, не сезон. Шкурка не будет иметь хорошего качества меха.

— Да мне так, лишь бы на мех было похоже, — говорю.

— Ну, брак-то у меня вон на крыше. Где дырка от выстрела не в том месте, где еще что. Залезешь завтра, наберешь сколько угодно, там полно брака.

Назавтра я залез на крышу. Там действительно было море бракованных шкурок, которые по каким-то причинам под нужную кондицию не подходили. Целый большой мешок меха я там набрал, большой мешок. Привез в Комсомольское.

Но их еще выделывать надо, шкурки. Была у меня знакомая, заведующая магазином — старая фронтовичка, интересная женщина, очень много орденов имела. Когда-то я о ней писал, и ей понравилось. А у нее хобби было — шкурки выделывать. И замечательно у нее это получалось. Я с ней переговорил. Она говорит — неси, сделаю. Оставил ей мешок и ушел. С ее мужем посидели вечером, попили, поговорили. На другой день она мне звонит:

— Витя, дело плохое. Шкурки-то — брак сплошной.

— Ну, а что делать?

— Что делать. Выкидывать! Они вообще никуда не годятся.



А шапки соболиные, воротники женских пальто — были пискom тогдашней моды. Норка соболям и в подметки не годилась.

— Сделай тогда так, чтобы шкурки хоть на время походили на соболиные.

Фронтовичка моя пообещала. Через пару недель звонит: приходи. Штук восемь ей удалось выбрать, сделать.

Забрал я восемь соболей. Прихожу к Аркаше, говорю, что задание его выполнено и даже перевыполнено.

— Вот, — говорю, — у меня восемь соболей, но я тебе отдам только три шкурки, как обещал.

— Не-не-не, — загорелся Аркаша. — Забираю все восемь.

— У меня родня есть, — начинаю я для приличия ломаться, — мне на подарки надо...

Короче говоря, Аркаша сгрел у меня все восемь шкурок. Принес 640 рублей, по восемьдесят за каждую. На Большой земле это уже по двести рублей стоило. Отдал печатку и еще две бутылки бабушкиного коньяка в придачу.

Через некоторое время, когда я был в командировке, ночью по межгороду Аркаше звонит бабушка из Тирасполя. А поскольку я, Дорман и Войцицкие были на одном параллельном телефонном номере, Саша Войцицкая, подняв трубку, стала свидетельницей следующего разговора, который потом мне и пересказала.

— Ты чего звонишь по ночам? — спрашивал внук, на что из трубки вырывался истошный вопль:

— Аркаша, ты что прислал? — визжала бабушка.

— Как что? Соболей.

— Какие это соболя? Там тебя обули. На них даже Бобик наш не ложится. Пока твои соболя до меня доехали, вся мездра облезла...

И долго она выла и смертельно сокрушалась, что внучка обманули и на такие деньги развели.

Аркаша расстроился. И как только услышал, что я появился у себя в квартире, тут же прибежал ко мне. И прямо с порога:

— Вы почему меня так обманули? Я вам печатку отдал и 640 рублей за шкурки заплатил. Это кошмарные деньги! А на ваших соболей даже Бобик не ложится.

— Аркаша, я что, специалист, что ли? — отговариваюсь. — И меня также надули.

— Вот езжайте туда и разбирайтесь.

— Да охотник тот в тайгу ушел. На год. Где я его там искать буду?..

Короче говоря, разругались. Он требует назад деньги, а я говорю, что нет их у меня давно — пропил (хотя целехонькие они у меня лежали).

Аркаша ходил, ходил. Я сжалился, звоню. Неси, говорю, коньяк. Приносит две бутылки.

— Вот, Аркаша, тебе пятьсот рублей, больше у меня действительно нет, и давай выпьем.

Аркаша молниеносно пересчитал, сказал, что это те самые купюры — он их помнит, которые мне за шкурки давал, и остался очень доволен, что хоть пятьсот выручил. Потом выпили, помирились.

Такая вот у нас с ним получилась коммерция. А уходя в тот день от меня, он сказал:

— Там, где вятский прошел (а я — вятский, с Кировской области родом), там ни хохлу Кочкаренко, ни Дорману-еврею делать нечего.

Потом Аркаша стал кандидатом в члены КПСС, а через год состоялся его прием в партию. Прием этот тоже можно назвать уникальным. Партийная организация вместе с Аркашей, кандидатом, у нас состоит всего из шести человек. Но процедура, на которую обычно уходило от силы пять минут, растянулась на сей раз на весь день. За два года работы на студии Дорман столько всего наворотил, что собрание вспоминало его подвиги и фокусы двенадцать часов кряду, а протокол партийного собра-

ния разбух до 48 страниц машинописного текста. В райкоме партии потом за голову взялись и ужаснулись тому, что творится в студии телевидения. Хотя вообще-то разные распри, конфронтации в творческих, медицинских, педагогических и тому подобным коллективах — дело обычное.

Аркашу на собрании большинством голосов (три против двух) мы все-таки приняли. Причем три — это голоса тех, кто давал рекомендации (куда ж деваться, если дал). Но в прениях припомнили Аркаше, какой он «хороший», и те, кто «за», и те, кто «против».

Однако прием на собрании — полдела. Надо еще, чтобы его утвердили на бюро райкома партии. Поехали мы с Аркашей в райком. Я Дормана представлял. Ему задали ряд вопросов. Аркаша был в ударе и очень хорошо на них отвечал. Дальше все прошло без сучка и задоринки. Решение первичной партийной организации — принять Аркадия Борисовича Дормана в ряды ленинской Коммунистической партии Советского Союза — утвердили. Аркаша стал полноправным членом КПСС. Он был очень доволен и на радостях предложил членам бюро отметить это дело молдавским коньячком.

Во времена развитого социализма к подобным предложениям относились в партийной, да и в любой другой среде, вполне лояльно, можно сказать, нормой жизни считали. Первый секретарь сказал только:

— Сейчас спустимся в столовую (там «греческий зальчик» был для начальства). Нам быстренько накроют, и мы твоим коньячком тебя и поздравим.

Спустились. Сидим. Мы с Дорманом и члены бюро райкома: прокурор района, начальник милиции, три секретаря, заведующий орготделом, а еще начальник Советского районного отделения КГБ майор Шашорин. Все пьют Аркашин коньяк, поздравляют. Но все знают, что Аркаша еврей, а у евреев с партией напряженка. Не очень-то она их в свои ряды пускает. Времена были еще те. И вот майор Шашорин, размякнув от коньячка, задает вопрос:

— Аркадий Борисович, скажите: а вот если бы райком не утвердил решение партийной организации о приеме вас в партию, как бы это повлияло на вас?

И Аркаша с доброй душой и безоглядной откровенностью человека, радостно уверенного в том, что все уже позади, отвечает:

— Так у меня, товарищ майор, только два пути: либо в партию, либо в Израиль. Третьего не дано.

За столом сразу тишина. И первый секретарь майору:

— Ну, ты и спросил! Ну а он и ответил! Как на духу...

И смуглый от природы майор Шашорин стал вдруг блее простыни. Его, здорового и крепкого мужика, всего трясло. Наверное, от страха, что такое было сказано при нем, а он еще и пьет вместе с этим человеком. Майор тяжело встал и на деревянных ногах вышел. Настолько все это бедного чекиста ошарашило.

А еврей Аркаша Дорман, отказавшийся от пути в Израиль, долго еще потом шел по верной дороге КПСС.

Подарок к юбилею

Работал в нашем районе собственный корреспондент областной газеты Борис Андреевич Сухов. Личность неординарная. Я не встречал журналистов с таким упорством в достижении цели. Но если уж он освещал какую-то тему, то знал ее четко, дотошно. В социалистической экономике хорошо разбирался. Да и во многих вопросах общественной жизни. А посему любил поучить всех, вся и всему, начиная от политики, кончая нравственностью. Любил поговорить и о способностях руководителей данного региона мылить и действовать по-новому.

Партия, кстати, этого всегда требовала. И каждый съезд, каждый пленум призывал: «Мыслите, товарищи, по-новому». Звал к новым вершинам, к новым победам.

Призывы эти эхом немедля повторял и Боря Сухов. А вот по многим конкрет-



ным вопросам текущей жизни района имел он особое мнение. Так, в рубрике «Школа коммунистического труда», которую вело местное телевидение, рассуждая о способности руководителя вести предприятие к новым вершинам, Сухов в качестве примера называл имена людей, способных, по его мнению, на это, и наоборот. И перечень сей приводил местное руководство в изумление. Один штришок. Располагался на территории района крупнейший в Советском Союзе леспромхоз — современнейшее предприятие с переработкой древесины прямо на месте. Леспромхоз прекрасно работал, и в этом была огромная заслуга его главного инженера Фалолеева. Так вот, когда Сухов начинал разглагольствовать о местных руководителях, способных двигать производство вперед, он утверждал, что Иванов — да, сможет, и Сидоров тоже, а Фалолеев — навряд ли, поскольку ему это и не дано. И подобные категорические выводы, идущие вразрез с действительностью, Борис Андреевич позволял себе в телеэфире не раз.

На него обижались, ему указывали на недопустимость, ругали. Но он не обращал внимания. Был, что называется, неуправляем. Но, поскольку являлся все-таки представителем областной газеты, его побаивались, начиная от первого секретаря райкома и кончая всеми остальными — мало ли что в голову такому взбредет. От дерьма подальше — говорили.

Было это в конце 1970-х, АТС до глубинки тогда еще не дошли, связь через коммутаторы держали. И вот однажды поступает на коммутатор из области звонок и мужской голос говорит:

— Здравствуйте, девушка! С вами говорит редактор областной газеты. Прошу соединить с Суховым.

Но поскольку Борис Сухов приучил к порядку не только районное начальство, но даже и телефонисток, девушка ответила:

— Не могу соединить.

— Почему не можете?

— Не велено.

— Как это не велено? Редактор звонит.

— Ну и что, что редактор. А Борис Андреевич не велели.

— Почему не велели? Чем он занимается?

— Они сказали, что они думают.

— Что же получается — Борис Андреевич один в области думает? Соединяйте!

— Не могу, не велено.

— Тогда соединяйте с первым секретарем райкома партии. Пусть идет и включает мне линию!

— Ну, на вашу ответственность.

Николай Яковлевич, редактор, стал ждать. Личностью он был заметной, интересной, пользовался большим авторитетом в области. А что такое редактор областной партийной газеты в те времена? Это член бюро обкома партии, член облисполкома, депутат. Это очень крупная фигура в масштабах своего региона. Газет тогда боялись, к их мнению прислушивались.

Соединила, наконец, телефонистка Николая Яковлевича с Борисом Андреевичем.

А надо сказать, что вся связь областной газеты со своими собкорами осуществлялась через стенографисток. Они передавали указания. Вот их телефонистки включали, больше никого.

— Борис Андреевич, здравствуй.

— Здравствуй, Николай Яковлевич, как там поживаешь? Все в газете нормально?

— Да у нас-то все хорошо. Тут, Борис Андреевич, такая темка есть.

— Ну и что мне сделать?

— Сделай, пожалуйста, хорошую, крепкую, умную, какую ты можешь, статью.

— А вы, Николай Яковлевич, хоть знаете, что такое статья? — услышал редактор в ответ.



— Да уж, поди, знаю. Все-таки редактор областной газеты и твой начальник.

— Да нет, не знаешь, раз с таким вопросом ко мне звонишь. А я вот знаю. И кое-кого могу подучить, как надо статьи писать.

Редактор начал выходить из себя — что еще за новости? Яйца взялись курицу учить. Да еще столь беспардонно.

— Ты меня давай не учи, Борис Андреевич, — сурово сказал редактор.

— Николай Яковлевич, — не обращая внимания на грозные ноты в голосе шефа, парировал Сухов, — мне с места виднее, какую статью писать и как.

— Ты мне сделай не какую и как, а именно такую, как я сказал. И ничего другого мне не надо. Газете тем более.

Борис Андреевич опять за свое: дескать, не понимает редактор, что такое статья...

Николай Яковлевич грубо матюгнулся, что с ним крайне редко случалось (довел его Сухов до такой степени), и бросил трубку. А потом вызвал к себе стенографистку:

— Машенька, звони Сухову и передай ему, чтобы он писал заявление на увольнение с сегодняшнего же дня и уматывал из газеты к чертовой матери.

Стенографистка быстренько перезвонила и все в точности передала Борису Андреевичу.

— Они обиделись... — саркастически хохотнул Сухов в трубку. — На что обиделись? На правду? Так вот, Маша, передай редактору, что он ничего не соображает в газете, а тем более как писать статьи.

Маша и это добросовестно передала. Редактор не стал вступать в дальнейшую перепалку.

Через некоторое время Борис Андреевич остыл. Походил по своей холостяцкой квартире в райцентре, оценил сложившиеся обстоятельства, пришел к выводу, что палку-то он явно перегнул, придерживать лошадей надо было и не плевать против ветра — редактор все-таки... Но что теперь делать, раз так вышло — умерла, значит, умерла!

Загоревал Бориса Андреевич и решил с горя выпить. Пошел в магазин, купил водку. Вернулся домой, сел, выпил, задумался, как же из этой ситуации вывернуться. К редактору и на прием-то не так-то просто попасть, а он его по телефону ум-разуму учил...

Было уже далеко за полночь, когда Сухова осенила блестящая мысль, что в таких случаях самое лучшее — это извиниться, попросить прощения.

Не откладывая дело в долгий ящик, снял трубку, вызвал Тюмень, назвал квартирный номер редактора. Часы показывали два часа ночи.

Редактор страдал бессонницей. И только начал задремывать, как зазвонил телефон. Подниматься, брать трубку не хочется, заснуть бы окончательно, но вдруг что случилось. Может, в типографии какая проблема. Поднял трубку:

— Здравствуй, Николай Яковлевич, — услышал голос Сухова. — Ты что там, все переживаешь?

— Слушай, Сухов, это ты переживай теперь. Чего я-то буду переживать? Ты уволен.

— Ах, уволен? Правды-матки боишься, да? Я что хочу сказать-то, — понесло Борю в прежнем направлении по тем же кочкам. — Лучший способ разрешить нашу с тобой ситуацию, Николай Яковлевич, — друг перед другом извиниться.

— Сухов, на часы посмотри — два часа ночи!

— Ой, извиняюсь, извиняюсь, кладу трубку.

Боря положил трубку, налил стакан водки, выпил, походил и снова пришел к прежней мысли, что надо перед Николаем Яковлевичем извиниться. «Сейчас же ему позвоню и скажу — извините, я погорячился днем», — решил Боря, забыв, что совсем недавно именно с этим намерением тревожил редактора своим звонком.

Около четырех утра в квартире редактора снова зазвонил телефон.



— Нам надо бы извиниться, — услышал Николай Яковлевич знакомый голос.

— Нам уже с тобой ничего не надо. Ты помни это, Сухов, и прекрати мне домой звонить! — рывкнул разбуженный редактор...

Сухова редактор уволил. Но как-то не в своей тарелке себя чувствовал. Николай Яковлевич позвонил первому секретарю райкома партии и попросил:

— Что было, то было, но не сучки же ему теперь на лесосеке рубить. Дай ему какую-нибудь работенку почище!

Как не дать, когда член бюро обкома просит!

И устроили Сухова воспитателем в общежитие.

Приближалось 60-летие Советской власти. Страна в целом и каждый в отдельности готовили к знаменательному юбилею подарки. Свой творческий подарок готовил и Боря Сухов. О нем он талдычил на каждом углу, утверждал, что равного ему не будет во всем СССР, что такое сделать никто не догадается. Когда просили приоткрыть завесу тайны, Сухов загадочно улыбался и выдавал какой-то ребус: будет, мол, ровно шестьдесят — шестьдесят на шестьдесят, шестьдесят лет и столько же подарков. В райкоме партии об этом тоже были наслышаны, но о каких подарках конкретно шла речь, ума не могли приложить. Знали только, что, уйдя из газеты, Боря освоил искусство резьбы по дереву.

А буквально накануне 60-летия Советского государства Сухов умер.

Когда его хоронили, заведующая отделом агитации и пропаганды райкома партии сказала:

— Он ведь какой-то подарок к юбилею готовил. Мужик-то, в общем, неплохой был, неглупый. Наверное, и подарок интересный.

Решили посмотреть, что же это за подарок. Перерыли квартиру. Под кроватью нашли ящик. Открыли и ахнули! В ящике, как солдаты на параде, вытянувшись по стойке смирно, стояли вырезанные из дерева шестьдесят мужских членов!

Да уж... До такого точно бы никто не додумался. Сухов и здесь оказался весьма неординарным. А остолбеневшим райкомовцам показалось, что Борис Андреевич, издевательски усмехаясь, передает им таким образом свой прощальный привет.

Облик морале, или Как коммунист коммуниста спас

В советское время существовала партийная учеба, система политического просвещения. Перед началом учебного года, в сентябре, проходили семинары, готовили пропагандистов, инструктировали. И каждый год наш райком партии арендовал местный Дом рыбака для пропагандистов района. Человек по сто туда выезжали. Там кровати, постели, все условия для сна и отдыха. Завозили из ресторана поесть-выпить. Продукты дефицитные — копченые колбасы, балыки, икра красная и черная. В пятницу заезжали и в воскресенье поздно вечером возвращались.

Съезжались на эти мероприятия в основном молодые мужики лет до сорока и такие же женщины. Все оторвались от семей и дорвались до прелестей вольной жизни. Все, конечно, — коммунисты, люди априори высокоморальные. Но на дворе золотое «бабье лето». Природа шепчет о любви. Вокруг полно деревьев, кустов, за каждым из которых можно уединиться, травку примять. Можно и в спальнях корпусах полежать, под простынками. Тут никакой партбилет не удержит.

В общем, как говорится, музыка играла... И в первый же вечер, натамцевавшись, разбрелись новообразовавшиеся парочки для дальнейших утех по окрестным зарослям.

За банкетным столом остались только первый и второй секретари райкома партии. И второй рассказывал первому о своих былых любовных похождениях. О том, как это было здорово, какая любовь — аж искры из глаз летели! — была. Рассказывал он своему шефу не хуже Шахерезады три дня и три ночи. Первый только головой успевал мотать. Но слушал внимательно.



Мне не раз доводилось бывать в Доме рыбака на тех славных «семинарах», но в этот раз его окончания я не дождался. В воскресенье утром ко мне подходит секретарь нашего парткома и говорит:

— Давай-ка дуй домой. Ты (а я у него заместителем был) должен завтра везти Дорохина в райком на утверждение — исключение из партии.

— А что у него?

— Да жена его постоянно застукивает у чужих баб.

Дорохина я знал. Невысокого, метра полтора, росточка, очень худой парень лет тридцати с небольшим. Не на что «глаз положить». Но, как видно, «пошел в корень». И бабы его любили, души в нем не чаяли. Жене это, конечно, надоело. Она стала бомбить партком. Приходит к секретарю парткома, мужа приводит и рассказывает — так-то и так. Сама здоровая, а он маленький. А в нашем шахтерском поселке все друг друга знают. Чуть что — «сарафанное радио», по секрету всему свету.

— Вот сегодня от Маньки Ивановой забрала. Это ж надо такое! — кипит возмущением жена Дорохина. — И каждый день откуда-нибудь я его вылавливаю. Надоело! Он коммунист, принимайте меры.

Секретарь парткома сидел не свежий, маялся утренним похмельем. Ему было очень тяжело, совсем не до Дорохина и уж тем более не до его жены. Но делать нечего, надо проводить воспитательную работу:

— Эх, Дорохин, Дорохин! Ты что, не можешь по-другому, чтобы никто не знал и все такое? Вот жена на тебя жалуется, скандалы у вас. Зачем тебе это надо? Вот смотри, я, например...

Жена Дорохина, это услышав, побледнела, потом покраснела.

— Так и ты тоже кобель! — закричала.

Хрястнула по столу хозяйственной сумкой, развернулась и со словами «я в райкоме на вас управу найду» — ушла.

Она и райком достала. И вот итог — исключение из партии. Осталось на бюро райкома утвердить. А меня из-за этого лишили удовольствия вместе со всеми в Доме рыбака на прощальном банкете посидеть.

Ладно, вернулся в поселок. Утром нахожу Дорохина. Он уже знает, что ему светит. Садимся мы на автобус, приезжаем в райком. Наш вопрос — последний. Такого рода вопросы всегда «на закуску» выносились. И вот настал наш черед. Завожу я бедолагу Дорохина. Сидят за длинным столом наш первый секретарь, члены бюро, а рядом стоит Иванов, который трое суток рассказывал о своих любовных похождениях. После семинара пропагандистов все далеко несвежие. Особенно первый секретарь. Откровенно носом клюет. Я доложил, что вот так-то и так, партком предлагает исключить Дорохина из партии.

Процедура партийных «разборок» имела свои особенности. Каждый член бюро отвечал за какой-то свой «штрафной сектор». Один за аморалку, другой, скажем, за технику безопасности, третий за медицину и образование и т. д. За аморалку в нашем райкоме отвечал второй секретарь Иванов. Тот самый, которому, если ему верить, и Казанова в подметки не годится.

— Ах, Дорохин! Это ж надо до такого докатиться! В то время когда вся наша страна строит социализм, когда она встала на трудовую вахту в честь очередного съезда партии, ты, коммунист Дорохин, так себя ведешь! Разве так можно? Нельзя, Дорохин! Тебя из одной чужой постели вытаскивают, и пока жена разбирается с твоей любовницей, ты уже к другой в постель. Разве так можно? Нет, нехорошо, Дорохин...

А потом в благоговейной тишине (перебивать его никто не смел) сказал свое слово первый секретарь:

— Ох, Иванов, Иванов! — покачал он головой. — А врать, а врать! Ужас! Ты мне три ночи рассказывал, как тебе с чужими бабами было хорошо, а Дорохину почему-то от этого нехорошо. Ну, почто так получается в жизни? — И ко мне:

— Медведев, что решил партком, какое наказание?



А у меня про «исключение» из головы выскочило, я и говорю:

— Строгий выговор ему.

— Так зачем же ты сюда шел за строгим выговором? Мы ведь не утверждаем строгие выговора, это ваши, парткомовские дела. И что вы этого Дорохина маете? — И, уже обращаясь непосредственно к нему: — Иди с Богом, да не хулигань!

Ушли мы с Дорохиным. А наутро до меня дозвонился заведующий орготделом райкома партии, голос его был сердитым и властным. Чувствовалось по всему, что он уже побывал у первого на ковре и отхватил крепких словесных затрещин. И говорит мне так, что телефонная трубка в моей руке дребезжала:

— Ты чего там незнанку на заседании бюро замутил. Ты же с «исключением из партии» Дорохина приводил, а сказал «строгий выговор». Всех в замешательство ввел. Теперь мы тебя должны будем наказывать.

— Подумаешь, нашли преступление. Одним коммунистом больше, одним меньше, что в этом партия потеряет...

— Ты брось там оппортунизм разводить. Это тебе...

— Извини, — говорю, — я ведь не штатный аппаратчик. На общественных началах. Вот и запутался...

После этого Дорохин долго еще был членом родной Коммунистической партии.

«Коммунист»

Ежегодно (или через год) осенью порою в партийных организациях проходили отчетно-выборные собрания, где избирали на новый срок секретарей партийных организаций или парткомов. Была это очень ответственная кампания для всех партработников и коммунистов.

Готовилось нечто подобное и в колхозе имени Свердлова. Но тут был нюанс. Прежний секретарь скоропостижно скончался. Колхозные коммунисты позвонили в райком — что делать? Им сказали:

— Избирайте срочно нового до отчетно-выборного собрания!

А осень уже свои права зиме сдавала. Ледостав шел, по реке — шуга. И прогноз погоды весьма неутешительный. Места глухие. В ту пору ни туда не въедешь, ни оттуда не выедешь. Для отправки представителя райкома надо вертолет заказывать, а это и дорого, и вертолетов свободных нет. Партийная организация в колхозе небольшая. И первый секретарь дал команду — пусть проведут собрание самостоятельно, без райкомовского участия.

Колхозные коммунисты собрались. Было их человек двадцать, в основном приехавшие по распределению молодые учителя, фельдшер, такой же молодой, и нездешний председатель колхоза, агроном. Сельская интеллигенция, в общем. Местный народ они не особенно знали.

И пришел на собрание один мужичок. Звали его Иван Важенин, но среди односельчан у него кличка была — «Коммунист».

Общественную работу, а тем более партийную нагрузку никто не любит, все, как могут, от нее отбрыкиваются. И тут вдруг кто-то из присутствующих сказал:

— А что мы гадаем? Вон сидит «Коммунист»! Изберем, да и пусть работает.

Сказано — сделано. Избрали.

Важенин отнесся к этому с очень большим энтузиазмом. Начал проводить собрания, вникать во все дела колхозные, организовал партийную учебу. И когда однажды в колхоз заглянул секретарь райкома партии посмотреть, как дела в колхозе, он увидел, что все здесь хорошо, а в партийной организации — и вообще прекрасно. И партийная, и комсомольская, и профсоюзная учеба налажены, коровы хорошо доятся, рыба ловится, сдается государству. В общем, все замечательно! Об этой партийной организации в газете написали, похвалили Ивана Важенина, что вот, мол, когда человек по-настоящему болеет за свое дело, то и в хозяйстве, и в делах



партийных и общественно-политических все ладится. И результат налицо: в деревне пить меньше стали, дисциплина повысилась, даже самодеятельность в клубе зародилась — хор появился.

Прошло полтора или два года. И все бы ничего, только вот колхоз начал хиреть. Председатель, молодой парень, опустил руки, решил уезжать, его не отпускали. Хозяйство между тем сбросило обороты, потеряло темп и все такое прочее.

А секретарь Иван Важенин продолжал проводить собрания, читать «закрытые письма» ЦК.

Кстати, о «закрытых письмах». Их присылали под строгой охраной в специальных красивых красных папочках, в которые были вложены несколько листочков текста. Секретарь парторганизации или же представитель райкома собирал коммунистов и зачитывал содержание этих листочков. Обычно секретов там никаких не содержалось, но партийным чиновникам, особенно из центрального аппарата, надо было показать, что они хотя бы таким образом советуется с рядовыми коммунистами. Чтобы потом отчитываться на съездах и прочих партийных форумах. Ну, а «закрытые» — для пушей важности.

Дела в колхозе имени Свердлова шли все хуже. Падеж скота начался. Вызывают председателя колхоза вместе секретарем парторганизации на бюро райкома партии. Вопрос стоит остро: как это из передовых хозяйство сразу скатилось в худшие? Еще и падеж скота. Хор прекратил петь, разбежался. А с чего тут петь при таких делах? Перестала деревня петь. Зато пить начала. И чем хуже дела в колхозе, тем сильнее.

Председатель отчитался, его, естественно, пропесочили по первое число. А потом первый секретарь и говорит:

— Ну а ты, коммунист Важенин, куда смотрел?

— А ты что, Петрович, обзываешься? — обиделся Иван.

— Как это я обзываюсь? Коммунист — это высокое звание.

— Для кого высокое звание, а для меня — погоняло.

— Что? Погоняло! Да ты!.. Да мы тебя сейчас за такие слова из партии вычитим! — взбеленился первый.

Важенин пытался вставить свое лыко в строку, но зашумевшие вслед члены бюро не давали ему слова сказать и тоже всяк на свой лад стращали:

— Да вот если бы был сейчас 1937 год, под расстрел тебя сразу! А ты стоишь тут, партию позоришь! А еще коммунист!..

— Я сказал, не дразните.

— Что значит — не дразни? — опять возник первый секретарь. — Тебе говорят, коммунист — высокое звание.

— А я еще раз объясняю: для кого звание, а для кого прозвище.

— Да в чем дело? — совсем занервничал первый секретарь. — Принесите его учетную карточку! Мы сейчас во всем разберемся и вкатим ему такой выговорщик! А может, даже и исключим.

— А меня неоткуда исключать, — говорит Иван.

Побежали в орготдел, в сектор учета искать учетную партийную карточку коммуниста Ивана Важенина. Все перерыли — нету!

— Да как же нету, когда он секретарь парторганизации? — недоумевает первый.

Разводят руками — нету!

— Так, — вопрошает ничего не понимающий первый, — где твоя учетная карточка?

— У меня ее и не было вовсе, — отвечает Иван.

— Так ты же коммунист.

— Еще раз говорю — не дразнись! Никакой я не коммунист. Погоняло это. А вышло-то как. Я люблю поговорить. Не дурак. Дельные вещи иногда могу сказать. Меня в деревне и прозвали «Коммунистом». На перевыборное партсобрание я просто так, из любопытства зашел. А потом смотрю — все новенькие, дела-то не знают. И когда предложили мне возглавить колхозную партийную организацию, я

согласился. Однако меня никто не спрашивал, член я партии или не член. Но раз товарищи просят, я не стал отказывать. Работал, как мог. В газете писали — не хуже других.

Совсем уже обалдевший первый секретарь на всякий случай переспрашивает:

— Так все-таки ты коммунист или не коммунист?

— Повторяю для непонятливых: коммунистом никогда не был. Но вам помогал. Кто бы там еще, кроме меня, делал ваши дела, мать эту голубую?

Первый почесал затылок и сказал:

— Ну и дела! Теперь на весь Советский Союз прославимся... — Но тут же нашелся: — Давай, Важенин, решим так: садись и оформляй документы в партию!

— Не буду, — заартачился Важенин. — Зачем? Чтобы вы меня каждый раз чуть что вот так же драли, как Сидорову козу? Да ни в жизнь!

Дело, конечно, постарались замять. Но до обкома оно все равно дошло. Узнав о случившемся, там так перепугались, что вскоре чуть ли не весь орготдел областного комитета КПСС прибыл проверять райком — а все ли здешние секретари партийных организаций и члены бюро райкома партии коммунисты. Проверили от и до, вдоль и поперек. Вроде бы все. Ладно. Пронесло тучу мороком.

А Ивана Важенина прижали еще раз как следует, и он дал согласие вступить в партию.

И в тот же день все провернули без всяких испытательных сроков. Вызвали фотографа. Тот прибежал в райком, сфотал Ивана, быстренько изладил фотографии. Их вклеили в партийные документы. В них клей и чернила не успели просохнуть, а Важенину уже вручили партийный билет. И поехал Иван Важенин, солнцем палимый, в свой колхоз уже в новом для себя чине. Не стало у него погоняла «Коммунист». Осталось одно высокое звание — Коммунист. Но им он гордился меньше, чем прежним своим погонялом.



Лета ЮГАЙ

ХОДИТ ПО НЕБУ ПАСТУХ

Из цикла

«Записки странствующего фольклориста»

ГОРЮЩИЦА

1.

Думала: «Господи, поштё он умер?
Штё бы показался, штё бы пришел».
Дума-то дурная, молодая ещё,
Много силы в этакой думе.

Вот я иду на погост, а там
Гроб качается у церковной крыши,
Поднимается выше, к самым крестам.
Но спустился, милый из гроба вышел.

«Коля, — зареву, — пойдём домой!» «А пойдём,
Только отпрошусь у нацальника одного».
Вот мы заходим в казённый дом.
Двери, коридоры — и никого.

Двери, коридоры и кабинет.
Там мужик — красивый, рубаха белая.
«Штё, — реву, — ну как? Отпустили, нет?
Как я без тебя? Штё теперь мне делать?»

«Не реви, — говорит он, — бежим скорей».
Побежали мы через лес и поле,
Крепко руки сжав до самых дверей,
Вот уж дом, порог — глянь, а нету Коли.



Просыпаюсь я. Свекровь смотрит строго,
 На дворе уж рассвет, пора начинать дела.
 «Матушка, — говорю, — ведь Колю вела-вела,
 На крыльчке он, да не перейти порога».

2.

Слышу в первую ночь: ходит он по избе.
 Я прижала к груди младшего паренёчка.
 Походил, ушёл. Я молчу, при себе
 Свою думу держу, свою смутную ночку.

На вторую пришёл, полом скрипит,
 Да уж стал задевать меня, гладить стал со спины,
 Обхватила сына. Свекровь с ребятами спит,
 Да блестит подоконник в свете мёртвой луны.

В третью ночку опять, и ложиться стал.
 Так тихонько ложится ко мне, обниматься хочет.
 Побежала к тётке я, в дом у моста:
 «Ведь приходит Коля мой, уже три ночи!»

«Душегубица! — тетка как закричит. — Ксти
 Двери, окна, порог. Штё надумала?! Ой, беда, беда...»
 Нашптала мне: «Отпусти его, отпусти».
 И уж больше он не бывал. Не было никогда.

ПОЛУДНИЦА

Не ходи на поле, когда солнышко высоко.
 Не ходи на полдень в эту полную тишину,
 Когда закипает воздух, небо как молоко,
 Замолкают птицы и камнем идут ко дну.

Не качнётся колос, не пролетит паут.
 Переломится время стебельком под стопой —
 И увидишь, как девушки в красных рубахах жнут
 Или пляшут в поле и тянут в пляс за собой.

У них косы — горячее золото, лик пригож.
 Сарафаны — красное знамя, как ни скажи.
 Они ловят детей, зашедших в густую рожь,
 Чтоб уже никогда не выйти из этой ржи.

РУСАЛКА

У нас сейчас в Яхренъге русалок нет.
 Русалки-ти в больших реках, в Сухоне все.
 Вот говорили, деда моего дед
 Поймал такую рыбину в сеть,
 Хотят они делать пирог ли что,
 Лежит она в сених ли где.



Вдруг бабы в крик: «Что взял в воде,
Отнеси назад, пропадём а то!»
Дед пошёл проверить: открывает рот,
«Положи, где взял», говорит рыба-га!
Отпустил, где река выходит на поворот,
Было глубже тогда, совсем глубота...

... А над всей деревнею ночь бела,
Рассыпаются птицы — велик и мал.
А под берегом всплеск — то ли ком упал,
То ли Рыба из Сухоны заплыла.

НАИГРЫШ

Ходит по небу пастух, обут в глухие меха.
Самого почти не видать в тёмном небе густом.
Он улыбкой похож на нашего пастуха,
Только телом чёрен, да крутит тонким хвостом.

Его рожа небесная полнее каждую ночь,
Всех коровушек ясных Звёздочками зовут,
Ну а день переждать он их уведит прочь,
Лишь светлеет небо, алеет небесный кнут.

И тогда наш Гриша идёт по земле, обутый в росу.
Принимает смену, Алёнок и Зорек выводит в свет:
Барабанку слушать и день летовать в лесу,
Лешачихам от домових передавать привет.

ДОМОВОЙ

Зовут его Филимон, это он сам сказал.
Походил по мне ночью, нет, ну какая кошка:
У кошки четыре, у этого две. Вокзал
Здесь в пяти минутах. Присядемте на дорожку,
Опять возвращаетесь в бизнес свой, суету.
Я ему наливаю в блюдечко понемножку
Молочко, когда есть — и сливки. Какому коту!
Говорю ж, домовому — да это я понарошку.
А вот косы он мне не заплетал никогда...
У вас место ниже? Сядете у окошка.
Вот на память. Нет, нет, берите. Это всё ерунда.
Приезжайте в августе. В августе здесь морошка.

СЛУЧАЙ

Не, не буду, даже не вспоминай.
И пришла тебе при чужих охота!
Этот случай был — мой отец Ермолай
(Ермолаевна я) шел домой с работы.
А у них собрание к посевной,
А в деревне пиво варили. К ночи

У него было выпито. Был хмельной.
Но вообще-то не пьющий он был, не очень.

Шли и видят, баба спит у реки,
Под кустами, подол задрался. Ну вот,
Стали подбивать его мужики:
«А поставь-ка ей печать на живот!
Пропечатай её».

Председателем был
Мой отец, и печатку носил с собой.
Ну, поставил печать ей и позабыл.
А наутро ему: «Пришли за тобой.
Ну, документ ты нашел, билютень!»
Полномочий превышенье, если проще.

Он не стал дожидаться, а взял ремень
И вон там удавился в осинової роще.
Научил его бес-от, подговорил.
Бес захочет — сладит, как ни старайся...

А никто и не знал: сосед пошутил,
Мол, пришли за тобой, давай собирайся.



Дмитрий СИВКОВ

ДВА РАССКАЗА

ЧЕМОДАН «ЛЕТУЧЕГО ГОЛЛАНДЦА»

В юных головах мысли плодились со скоростью, на фоне которой даже любвеобильные кролики выглядели бы инфантильными субъектами. По вечерам помыслы о еде были главенствующими. Об этом можно судить по темам разговоров, что велись в нашем шестиместном номере на третьем этаже Дома моряков на улице Шмидта.

Учеба на двухмесячных курсах Мурманского учебно-курсового комбината ВРПО «Севрыба», где проходили подготовку матросы для работы на рыболовецких судах, заканчивалась, подъемные были уже проедены и пропиты, а на стипендию не разгуляешься. Обед по талонам в портовой столовой в течение дня поддерживал наши молодые организмы, требующие постоянного и добротного питания (полярной ночью — еще настойчивей), но к ужину приходилось рассчитывать только на себя. Расчеты не всегда оказывались верными, и тогда приходилось вместо еды ограничиваться разговорами о ней. Хотя и не в сухомятку — чай и сахар в запасе были всегда, как и литровая банка с кипятильником.

Нас было пятеро. Шестое койко-место пустовало. Время от времени его заселяли. Нередко на нем оказывался пришедший из рейса широкой души моряк. Тогда на пару дней в комнату врвался праздник под названием «ешь-пей-слушай».

Уже неделю кровать слева от входа пустовала. Поэтому, когда на пороге возник новый жилец, все оживились. Хотя энтузиазм недолго носился по номеру, скрипя панцирными сетками односпалок — по виду гость был типичным рекрутом рыболовецкого флота, только что разорвавшим грудью невидимую ленточку Полярного круга.

— Чай будешь? — с надеждой глядя на внушительный чемодан, обтянутый дерматином, спросил новичка Мишка Хренов.

— Не-а, — отклонил хлебосольное предложение сосед и задвинул свою ношу под кровать.

Хренов был самым старшим среди нас, недавних дембелей, и более опытным в житейских вопросах. Откуда-то из-под Тамбова, он мне напоминал антоновца — участника крестьянского восстания на Тамбовщине против советской власти, какими их было принято изображать в литературе и кинематографе: медведеподобный, с торсом, густо увитым волосами. Вот только вся *зловещность* улетучивалась сразу после того, как открывался фиксатый рот. Закрывался он редко, потому, как и все



трепачи, особого авторитета Мишка не имел. Но в умении раскрутить на выпивку или закуску равных ему не было. В нынешнем нашем положении этот козырь бил все остальные. Мы расположились по шконкам, как уже на морской манер называли кровати, и стали наблюдать игру в «подкидного». Козыряй, Миша!

— Откуда, земляк, будешь?

— С Полтавы.

— Полтавщина — милый край. Хлебный... — Хренов со значением подмигнул и зашел по новой: — Приехал-то когда?..

— Да вот только. С вокзала — сюда. Завтра с утра пойду в контору оформляться.

— Как — с утра?! Ты по вызову или наобум приехал?

— Чего это я наобум попрусь... Ищи дурака! Вызов есть, все как положено.

— Вот деревня! Так чего же ты расселся? Беги в контору, доложись, что прибыл. Это положено сделать в день приезда. Тут строго.

— Так ведь ночь на дворе...

— Какая ночь? Старик, она здесь круглосуточная — полярная. Слыхал, небось? Сейчас только восемь вечера, там вообще в две смены работают.

Видно было, как пареньку не хотелось снова на холод и ветер.

— Комсомолец? — выкинул последнего козыря Мишка.

— А это при чем?

— При том! Могут и исключить, а тогда уж ни заграники, ни валюты не видать. Хотя... мне-то какая забота... Так, помочь хотел по доброте душевной...

Крыть было нечем — пройдите в гардероб. Когда за суетливо отбившим полтавчанином захлопнулась дверь, Хренов принялся изучать его чемодан. Величиной с антресоль, с никелированными углами и двумя замками, такой некогда внушал уважение к его обладателю — покорителю целины и строителю БАМа. Но в конце восьмидесятых он смотрелся уже весьма архаично.

— Странный какой-то, — прокомментировал кто-то из собравшихся выставленный для обозрения раритет.

— Кто или что? — уточнил Мишка, колдуя перочинным ножом над замками.

— Да оба!

— Что верно, то верно...

— А чего, думаешь, там? — я озвучил вопрос, который томил всех.

— Макар, ты меня удивляешь! Я всегда считал тебя проницательным молодым человеком. Следи за ходом мыслей... Полтава — это Украина, Украина — это сало. Какой настоящий хохол без соленого сальца покинет незалежную? А этот жмот — из настоящих. Не сомневайся... — И добавил, уже войдя в образ: — Мужики, кто-нибудь хлеба пошукал бы по соседям, чи шо...

Все-таки этот антоновец иногда мог быть убедительным. Все пришли в движение — кто стал варганить чай, кто отправился на поиски хлеба, кто принялся расстилать на столе газету.

— Ни хрена не пойму...

Кто был в комнате, дружно повернули головы. Мишка обескураженно, безвольно опустив руки, навис над откинутой крышкой чемодана. Было отчего недоумевать — внутренности под завязку были забиты старыми журналами. Мое внимание привлекла обложка «Юности» за февраль 1973 года, цвета песочного пляжа, с изображением, в гогеновском стиле, мужчины, женщины и солнца. Рядом лежали аккуратно сложенные синие семейные трусы и майка, бывшая некогда белой, но застиранная хозяйственным мылом без кипячения до цвета ветоши. Словно какой-то беспризорник сиганул купаться нагишом... И это все! Отправляясь через полстраны, человек прихватил с собой лишь пуд макулатуры и пару сменного белья.

Истерика — мы просто ползали по полу, содрогаясь от приступов смеха. Привлеченные шумом, обитатели третьего этажа сбегались узнать, в чем дело. Объяснить было некому. Даже Мишка, водворив чемодан на место, повалился на шконку и, отвернувшись к стенке, попытался сопеть. В тот вечер мы уже не услышали от него ни слова. От хозяина чемодана тоже — он вернулся через час и сразу залез под

одеяло. По тому, как его еще долго потрясывало, было видно, что окоченел парень основательно.

Так начиналась история «Летучего голландца».

* * *

— Если у человека солидный чемодан, то и народ к нему будет относиться соответственно.

Этот постулат он, безотцовщина, усвоил сразу и навсегда. Мысль эту ему высказал дядя. Самым светлым пятном в жизни ветерана было возвращение из побежденной Германии. Племянника действительность еще в меньшей степени баловала событиями. Во всяком случае, после демобилизации ефрейтор железнодорожных войск в полтавское село вернулся с полупустой сумкой из искусственной кожи. Интерес к нему пропал после первых же танцев в местном клубе.

Когда из Мурманска пришло письмо, уведомляющее, что такому-то открыта виза для хождения на судах заграничного плавания (запрос послал ближе к дембелю и без особой надежды), он своих ошибок решил не повторять. Для начала чемодан, оставшийся от залетнего отца, потенциальный матрос забугорных рейсов наполнил журналами, от которых избавился фонд районной библиотеки. Дядька, на пенсии подрабатывающий приемщиком вторсырья в заготконторе, одобрил затею и подсобил.

* * *

— А как была фамилия того... с чумаданом?

После увольнения на берег в чилийском порту Вальпараисо, уже на пароходе (так было принято именовать любое судно), в одной из кают «Федора Конева» шла обыкновенная в таких случаях пьянка. Выпивка была с берега; на закуску, как обычно — харч с камбуза и байки. Саня Угаров, матрос из палубной команды, больше других проявлял интерес к моему рассказу про чудака с чемоданом макулатуры. Узнав фамилию, он помолчал, переживая чей-то тост, потом позвал покурить на палубу. Вышли на бак. Оперлись на борт. Закурили. Судно покачивалось на рейде, а рождественский город переливался невдалеке огнями, как новогодняя гирлянда.

После пары затяжек палубный поведаль о своем опыте общения с известной нам личностью.

— А я ведь знал этого чудака. У нас ему дали погоняло... «Летучий голландец». Понимаешь, все люди как люди — вернулись домой, сошли на берег, отгуляли положенное, потом со своим экипажем снова в море. А этот с причала сразу же в кадры к инспектору: «Когда могу уйти в рейс?» Перекантуется пару дней на железнодорожном вокзале, чтобы пятьдесят копеек в Доме моряка за койку не платить, пожрет пирожков в буфете — и снова в море.

Жадность зашкаливала так, что мама не горюй. Представляешь, заходим в Буйнос, он на камбузе берет буханку хлеба, две-три котлеты (плевать, что жара за тридцать), литровую банку компота, все это складывает в авоську — и в робе отправляется в увольнение. Неподалеку от того места, куда привозит автобус, походит по магазинам, поторгует, потом приземлится где-нибудь на скамейку и умнет все, что было в авоське. Ни песо не потратит. И ведь понятно, что не от нужды... Как-то после увольнения сидим, треплемся. Тема номер один — он. Что он такое, думаю — жмот, не более... Раскручу! Для куража еще и пари заключил — если *этот* за меня не заплатит в ресторане, то я выставлю братве литровую водки Smirnoff. За ужином подсаживаюсь к нему, говорю, мол, так и так, парень ты, вижу, серьезный, а мне партнер нужен, но такой, чтобы язык держал за зубами. Нашел, дескать, обувную фабрику, там по три бакса за пару кожаные туфли отдают. *Отбой* в Союзе будет сумасшедший. Но меньше ста пар не отпускают, а у меня только сотня долларов. Если разнести по пароходу, то все ломанутся туда — и пиши пропало, цену амиго поднимут мигом... Предлагаю ему завтра вдвоем съездить, даю ночь на раздумье... Наутро он, зарядив авоську на камбузе, ко мне поближе норовит быть. Молчит, но в автобусе сел рядом. Доехали до места, куда нас обычно привозят, поближе

к рынку и торговым развалам, вышли — он не отстаёт. Короче, созрел... Покрутил я его по близлежащим кварталам (недаром уже пятый заход в Буйнос), смотрю — паренек потерялся. Причаливаю в какой-то захудалый барюшник (он не отстаёт), заказываю, не стесняясь на тему выпить-закусить. Тот, как всегда, тормозит свою торбочку. Порубали, а когда официант принес счет, я бумажку соседу переслал.

— Оплати.

— Ищи дурака!

— Уже.

— Что?..

— Слушай сюда... Если не заплатишь этих тридцати долларов, я от тебя на окраине славной столицы Аргентины оторвусь, и ты отсюда не то что до отбытия парохода не выберешься, но и вовсе никогда. Тем более что перед уходом я намерен сообщить всем, что ты — *ruso marikone*.

— ...

— Так и быть, переведу — русский *гондурас*. Пока курю сигарету, решай свою судьбу.

А народец за соседними столиками на вид — гопота гопотой, разве что не в спортивных костюмах, как наши бандюки. Аж самому не по себе стало, когда огляделся. Ну а после слов «*ruso marikone*», которые я в запале едва ли не выкрикнул, к нам стали проявлять повышенный интерес. Хотя вряд ли только поэтому. У них ведь, сам знаешь, это не так стремно, как у нас. Если бы были где-нибудь в Саранске, то, конечно, на раздумья времени бы не дали. Давно бы накидали обоим, да и за гондурасскую тему добавили.

А так — сидим... Я треть пачки успел выкурить. Ему же хуже. За это время, чтобы не скучать, заказывал выпивку еще три раза. Короче, когда мы прибыли на пароход, то я был в меру пьян и имел в запасе литр на хороший опохмел.

* * *

С Угаровым довелось пересечься еще раз.

— Доллары, кроны, марки... Покупаю! — из обилия спекулянтских предложений, что встречали многоголосьем у входа в Дом моряков, этот голос выделялся звонкостью и жизнелюбием.

Притормозил. Так и есть — Саня! Он меня тоже узнал. Поднялись в бар отметить. Я заказал по чуть-чуть. Дело не в жадности, просто наши совместные воспоминания на большее и не тянули. Саня это понял, оценил, что не пытаюсь пристроить по знакомству валюту по выгодному курсу. Сам тоже заказал немного. Уже когда курили на крыльце по последней, когда все общие темы были исчерпаны, его лицо вдруг оживилось:

— А «Летучего голландца» помнишь? Все, спекся, в дурку приняли...

История вышла такая. Накопив достаточно валюты на депозите, он при заходе в зону беспрошленной торговли (вроде как в Панаме) отоварился по полной электротехникой — набрал видео- и просто магнитофонов. Прибыв с этим добром к себе на Полтавщину, а потом и перепродав, он мог бы чувствовать себя Рокфеллером-младшим... или дядей, вернувшимся из Берлина в сорок седьмом году. Сидел он перед отбытием в зале ожидания, в буфете, техника была в ручной камере хранения. Непонятно, как удалось местным жуликам усыпить его бдительность. Когда он пришел в себя, то не обнаружил квитанций из камеры хранения. Четыре года каторжного труда пошли коту под хвост... Тронулся умом. Впрочем, он уже таким был. Увезли. А куда — какая разница...

— Пойдем еще по чуть-чуть. Угошаю.

Через пару часов и столько же бутылочек водки я окончательно понял, что к *кидалову* бывший коллега имел самое непосредственное отношение. В рассказах захмелевшего Угарова проскальзывали такие детали, которые вряд ли фигурировали в бумагах местного райотдела. Да и совершенно незнакомого человека наш Голландец близко бы к себе не подпустил.



Как бы ни был пьян бывший матрос, но во время непродолжительной отлучки сообразил, что наговорил лишнего. Разговор перестал ладиться. Мы выпили по последней и разошлись. Я в сторону гостиницы, он — за столик в другом конце зала.

Пока я брел от «Пяти углов» до «Полярных зорь», перед глазами стояла обложка «Юности» за февраль 1973 года цвета песочного пляжа с изображением, в гогеновском стиле, мужчины, женщины и солнца, аккуратно сложенные синие семейные трусы и майка, бывшая некогда белой, но застиранная по-холостяцки хозяйственным мылом без кипячения до цвета ветоши.

Словно какой-то беспризорник сиганул купаться нагишом. Да так и не вернулся.

ВИНО ИЗ МУХОМОРОВ

Пятый день рабочей недели уже после обеда стал невозможным. Вид клавиатуры вызывал отвращение, а кофе — изжогу. Хотелось уподобиться последней болезнетворной бактерии, что в панике покинула кабинет, гонимая стойким чесночно-луковым запахом, источаемым коллегой за соседним столом. К тому же день истины для нашего еженедельника наступал во вторник, что никоим образом не стимулировало какую-либо деятельность.

В надежде как-то исправить положение, я потянулся к пульту дистанционного управления. С засветившегося телевизионного экрана полилась история о встрече Людмилы Зыкиной, певицы номер один Советского Союза, воспевающей то немногое, что было по-настоящему близко его гражданам, с легендарной ливерпульской четверкой в каком-то американском кабаке. Народу стравливали наспех (и на смех) сотворенную легенду о том, как прима стала прототипом «Люси в небесах с алмазами». Конечно, лишь монументальность рязанской бабы могла подвигнуть Леннона обратиться к кэрролловскому символизму при написании «Lucy In The Sky With Diamonds»... И «мармеладные небеса», и «калейдоскопические глаза» — это все о ней. Этот бред не тянул на маломальское соответствие действительности даже при условии, что Пол, Джон, Джордж и Ринго действительно колесили по свету отнюдь не с карамелькой за щекой, ведь первые буквы в словах «lucy», «sky» и «diamonds» составляют недвусмысленную аббревиатуру — ЛСД...

Коллеги из центральных СМИ никогда не отличались уважительным отношением к тем, кто подсел на их общепит. Еще не хватало, чтобы выходные были испорчены несварением этой галиматши... Пульт полетел в открытый верхний ящик стола. Задвинув его, я словно захлопнул крышку гроба, где упокоилось обидя на всех тех, кто считал себя вправе делать из меня идиота.

Самое время было задуматься над тем, чему в этот вечер отдать предпочтение — пиву с вяленным лещом или нескольким партиям в волейбол. Рука потянулась почесать затылок, но тут раздался телефонный звонок: поступило предложение от небольшой, но сплоченной тягой к неформальному общению части коллектива городской библиотеки посетить их после закрытия. Чтобы соответствовать, я было заикнулся о предварительном забеге в винно-водочный отдел, но получил ответ, делающий всю суету бессмысленной: «У нас все есть!»

И действительно — было: на столике, рядом со стеллажом, где солидно расположились тома четвертого издания «Большой советской энциклопедии», кроме тривиальных закусок из разряда открыть-нарезать, были сервированы экспонаты выставки «Дары природы». На эту ярмарку тщеславия каждую осень местные хозяйки и дачницы приносят не только то, что сумел родить скудный уральский глинозем, но и заготовки — незамысловатые, но по-сельски сытные и дерзкие. Назад с выставки ничего не возвращается, что дает повод работникам культуры несколько разнообразить свой досуг.

В качестве консолидирующего начала выступала трехлитровая банка, нависавшая над всем этим натюрмортом, словно Килиманджаро, лишившаяся ледниковых форм рельефа. Для полного сходства с полотнами Хейсума не хватало лишь какого-нибудь вычурного гербария и полдожины назойливых пчел. Впрочем, содержимое



банки, цветом напоминавшее турмалин и именовавшееся настойкой, отвлекало от созерцания, поэтому с лирической частью было покончено достаточно быстро. Хмельной напиток с журчанием потек в фарфоровые чашки, командированные сюда из домашних сервизов, потому отличающиеся формой, объемом и расцветкой. После первого же глотка захотелось узнать поподробней об авторе шедевра. Вкус был не похож ни на один из когда-либо пробуемых напитков. Запах вообще трудно было описать, а в послевкусии улавливались тона меда, облепихи и чаги. Но как хозяева ни старались, кроме того, что дарительницу звали Елизаветой Сергеевной, ничего более конкретного вспомнить не смогли. Да и вспоминать-то, как выяснилось, было особо нечего. Какая-то дачница, лишь недавно сторговавшая домишко на окраине нашего городка, больше напоминающего большую деревню, она не стремилась близко сойтись с кем-то из числа подобных себе или с местными жителями. Да и пожила-то с пару месяцев, не больше, пропадая в основном в лесу, откуда возвращалась с лукошком грибов и холщевым мешком. Женщины, под разными предлогами навещавшие не слишком общительную соседку, часто заставляли ее за увязыванием пучков разных трав, которыми, как утверждали очевидцы, был завешен весь чердак дома.

Когда было объявлено о скором открытии выставки «Дары природы», травница принесла трехлитровую банку с настойкой и, отвечая на слегка недоуменный взгляд курировавшего это мероприятие работника библиотеки, заявила:

— А это не на стеллажи... Эти дары природы вкусите *после*.

С тем и убыла. А вскоре ее, вместе со всеми гербариями и банками заготовок, увезла приехавшая из города «Газель». Свидетели отъезда отметили, что шофер вел себя с женщиной подобострастно и явно заискивающе, величая госпожой Элизабет.

Я еще раз склонил банку над каждой из чашек и предложил тост за госпожу Элизабет, что скрывается в миру под паспортными данными некой Елизаветы Сергеевны. Народ с готовностью откликнулся...

Когда я потянулся за сыром, то показалось, что этим занимаются лишь пальцы. Кисть оставалась на месте, а большой и указательный неестественно вытянулись и стали жить своей жизнью — переворачивать пластинки сыра как страницы книги. Такое чтение было не для меня... Чтобы как-то отвлечься от наплывающих наваждений, я отошел к окну, занимавшему большую часть стены. Знакомый вид на железнодорожные пути, до которых было метров двести, предстал в искаженном свете — до рельсов было рукой подать, словно к глазам поднесли восьмикратный армейский бинокль. Со стороны Перми приближался товарный поезд, чья скорость на подходе к станции стала заметно снижаться. По ступенькам, ведущим от водокачки к путям, быстрым и легким шагом с изящной и скромной грацией спустилась женщина, одетая так, словно актриса, игравшая Сильву, после спектакля выбежала на улицу, минуя примерку. Остановившись у самых рельсов, она стала пристально вглядываться в надвигающийся состав. Я на какое-то время отвел взгляд от ее милостивого лица, на котором блестели «казавшиеся темными от густых ресниц серые глаза», а когда посмотрел вновь, то увидел, как Аня (откуда я мог знать ее имя?) большим и указательным пальцами сдавливает нос, словно пытаюсь высморкаться, но при этом втягивает воздух в себя. Когда она отняла изящную руку от лица, на окаймляющем верхнюю губу пушке можно было разглядеть белые крупинки, от одного вида которых мои десны стали деревенеть, словно от укола новокаина в кабинете стоматолога.

Когда первый вагон товарняка поравнялся с женщиной, она суетливо стала сдвигать с руки ридикюль, выглядевший как красный мешочек. Избавившись от него, женщина бегло перекрестилась и нырнула между колесными парами второго вагона. Мне даже показалось, что в какой-то момент суицидальная особа передумала и попыталась подняться, «но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило на спину». Я резко отвернулся от окна, словно выполняя строевую команду «кру-у-угом!». Прямо передо мной оказался портрет графа Толстого. Лев Николаевич сурово свел свои косматые нечесанные брови, извлек из-под лопатообразной

бороды увесистый кукиш и погрозил им так выразительно, что показалось, классик заколачивает воображаемые гвозди.

Мне, человеку в первый раз столкнувшемуся с чем-то необъяснимым, оставалось лишь позавидовать классику, большую часть жизни прожившему в Ясной Поляне. Уже без всякой надежды на прояснение, я еще раз склонил банку с напитком над фарфоровыми жерлами...

Желание прийти в себя было столь велико, что этот порыв стал развеивать сумрак сознания. Что-то мне подсказывало, что сегодня лучше не надеяться на лучшее в этом доме. Кое-как найдя объяснение неслучившемуся, я отклонялся и выскочил в слабоосвещенный подъезд, терпко пропахший кошачьей мочой.

В эту ночь (если бы кому вздумалось так бездарно убивать время) довольно долго можно было наблюдать мужчину, марширующего по центральной улице, повторяющего строки, родившиеся под действием аммиачно-спертого воздуха. Положенные на мотив строевой армейской песни, они придавали ему новые силы и, как ни странно, нетерпение положить что-нибудь на алтарь отечества.

Под утро я все же добрался до постели и, утомленный маршированием, заснул, едва голова коснулась подушки. Но сон мой не был, как можно бы было ожидать, мертвецким. Сновидение отличалось четкостью картинки и эффектом присутствия, словно Оле Лукойе раскрыл свой зонтик с картинками. Проснувшись, я смог вспомнить его в мельчайших деталях, как фильм сразу же после киносеанса.

В том сне женщина набрала полный пакет мухоморов, выбирая при этом не перезрелые со шляпками-зонтиками, а молодые, чем-то похожие на гранаты-лимонки, и, придя домой, спустилась с ним в погреб. Она вывалила из пакета содержимое, и во тьме погреба от образовавшейся кучки поднялось холодное фосфорическое сияние, похожее на огонек конфорки газовой плиты. От него винный пресс, открытый, холодный, готовый приступить к делу, стал больше похож на орудие пыток времен инквизиции. Женщина передвинула этот «испанский сапог», повернула ручку, завертела — и пресс стиснул добычу.

Сперва тонкой струйкой, потом все щедрее и обильнее побежал по желобу в глиняный кувшин сок холодного отвратительного лета. В каждую из пяти трехлитровых банок, где с утра начала свое бурчание мутная брага, она добавила по стакану едко пахнущей жидкости, бросив вслед по горсти каких-то ягод. Наполненная содержимым стеклотара стояла на полке, поблескивая в сумраке погреба, горлышко каждой плотно перетягивали резиновые медицинские перчатки. Через какое-то время углекислый газ, вырабатываемый в процессе брожения, наполнял их, и банки становились похожи на стадо недоенных коров, которым вздумалось демонстрировать небесам свою продуктивность...

Я не стал ни с кем делиться пережитым в тот вечер. Никто из моих здешних знакомых не смог бы понять и оценить глубину падения, а давать повод для сомнений в отношении моего психического здоровья было бы неразумно.

Неделю спустя, пока по дороге с работы я терзался очередной дилеммой по поводу времяпровождения, ноги сами сделали выбор. Когда я словно очнулся от дремоты, то обнаружил себя перед невзрачным домишком на одной из окраинных улиц города. Было уже довольно темно — может, поэтому жильё Елизаветы Сергеевны (а это было оно, сомневаться не приходилось) выглядело по-театральному зловеще, словно избушка на курьих ножках в сказках Роу. Оглядевшись, я увидел еще несколько фигур. Некоторые показались мне знакомыми. Хотя клясться в этом я не стал бы — ночью все кошки серы.

На следующий вечер случилось то же самое... и на следующий, и на следующий... Что-то неудержимое влекло меня на окраину. И в этом я не был одинок. Личности, с маниакальным постоянством околачивавшиеся поблизости, примелькались. Некоторые из них и в самом деле оказались из числа знакомых. Но не близких, потому мы благополучно делали вид, что не узнаем друг друга в густых сумерках, быстро растворяющихся в темноте. Когда она становилась совсем непроглядной (власти усердно экономили на личном освещении), мы разбрелись, словно выполнив одним нам ведомый ритуал.

Наша компания напоминала котов, которых один мой знакомый время от времени приваживал валерьянкой во дворе своего дома. Себе в аптеке брал настойку боярышника, а котярам — корень валерианы, поскольку пить в одиночестве, как и всякий алкоголик, не считающий себя таковым, он не мог. Когда цирроз печени увлек мужчину в мир иной, кошачье племя еще долго ошивалось неподалеку в надежде на возвращение чародея...

Мне хотелось пива с вялым лещом, иногда — сыграть в волейбол... да и от неформального общения не отказался бы, но вместо этого я был вынужден каждый вечер, как приговоренный, совершать одни и те же не имевшие смысла действия. Когда все повторилось в десятый раз, то я шел в известном направлении уже не с пустыми руками. Наполнить десятилитровую канистру бензином еще днем любезно согласился редакционный водитель.

Пламя ринулось покорять фасад дома с энтузиазмом решившего тряхнуть стариной пожилого альпиниста. Наслаждаться зрелищем я не стал. Мало ли что... Хотя за такие дела сейчас и не вешают, водрузив на грудь фанерку с надписью «Поджигатель», но дело-то уголовно-наказуемое. Удалившись на безопасное расстояние, я решил отдышаться и бросить прощальный взгляд на творение рук своих. Оказалось, не только своих. В темноте ясно было различимо, что дом госпожи Элизабет занялся пламенем одновременно с трех сторон...

С тех пор как отрезало. Прошло полгода, и я уже начал забывать о случившемся. Оно казалось мне сюжетом виденной когда-то давно картины. Ближе к началу лета по редакционным делам я оказался неподалеку от места бывшего пожара. От голышек не осталось и следа. На их месте неунывающие таджики сооружали фундамент. Рядом стояли монументальные поддоны с блоками из пенобетона, готовые вырасти в стены.

— Представляешь, тетка эта, уезжая на зиму в Екатеринбург, застраховала свой домик на весьма приличную сумму. И случилось все как по писаному. Подозревали, конечно, хозяйку в причастности к поджогу, но подозрения к делу не пришьешь. Расследование ничего не дало — не знаю, как там перед богом, но перед законом получается, что Елизавета Сергеевна чиста. — Страховой агент, в разговоре с которым я как бы случайно коснулся этой темы, был сама откровенность, что с такими людьми случается не часто. — Скажу больше: когда стали наводить справки, то выяснилось, что с этой дамой такое случается не впервой. Прикупит себе где-нибудь домишко, поживет в нем лето, а когда зимовать отправляется в Бург, то боится недвижимостью — и та какое-то время спустя благополучно сгорает. Погорелица получает страховку, отстраивает на пепелище новый дом, затем продает его. И каждый раз — никаких улик. Правда, задержали как-то одного подозреваемого где-то под Асбестом, но он оказался придурком, нес какую-то ахинею про колдовство.

Ахинея... Я мысленно аплодировал госпоже Элизабет... или как ее там. Прочитала до точки. Мы для нее были сродни собакам, истекающим слюной при включении лампочки в лабораториях академика Павлова. Результаты оказались такими же предсказуемыми, как и у выборов при имитации альтернативы.

Хотя, верно, без шаманства не обошлось.



Станислав МИХАЙЛОВ

«ОН ЛЮБОВАЛСЯ ИХ БЕСПЕЧНОЙ ЖИЗНЬЮ...»

* * *

Лампа черная, пыльная,
Вертикаль жалюзи.
Снега линия синяя.
Семимильная жизнь.

На столешницу желтую
Тень немая легла,
За гремучей щеколдою
На снегах пепела.

Щегловитого пасынка
Посадив на мешок,
Бесприютного праздника
Отрезаем вершок.

Под хурмою и брынзою
Отцветают холста.
Над бесцветною прозою
Вечный уголь Христа.

Подмалевок — напраслина,
Перепутав цвета,
Разливается красная
На миру нищета.

Он пожаловал грешницу
Всепрощеньем своим.

Лист возлег на столешницу.
Свет раскрылся над ним.



* * *

Зине на год

Не верил в Бога, но надеялся,
Не прогневит мое незнание
Ночного озера и леса,
На утреннее узнавание

Надеялся, на все веселое
Надеялся, не понимая,
Что путь с околками и селами
И вся страна моя лесная —

Вот так растают, словно облако.
Вот так уйду навечно весь я.
По снегу молотому волоком
Без голоса и поднебесья.

Надеялся на ропот внутренний,
На опыт суетный и стыдный,
Но никого-то холод утренний
Не выдал, Коля, друг мой ситный,

Скажи — кого любить в отчаянье,
Неведомого звать в полночи,
Намеренно не замечая
Поодали стоящей тучи.

Какого основоположника
Застать врасплох на повороте —
Хотя бы одного художника
Вернуть во цвет — к его работе.

Не помня ничего — надеялся,
Молясь разбитыми губами
На дальний свет с его холмами...
.....

Туман сгустился и развеялся
Над лодками и погребам.

* * *

Опять приходила лошадь.
Ну, что я могу, опять
Поверх непосильной ноши
Стога из травы ваять?

Зачем она в ставни дышит,
Коняга, роняя ворс? —
Коняга обрыва выше
И ниже могильных слез.

Поверх нецензурной траты
Повянут друзей труды.
Пойми, за больное взяты,
Что стыд, он больней узды.



По оторопи, по взбрыку
Копыт и ходьбе ребёр
Судьбы корневую книгу
Господь на лугу простёр.

Лежать на лугу господнем
В объятых его овса,
И сном нутряным исподним
Бежать и всего и вся...

Снопом дождевым воспрянуть,
Листая колосья ржи.
И солнце лизать, как рану,
И родину сторожить.

А после, на тихом взгорье,
И выше на крутояр,
В полночном спросить укорё —
Сурок, где твой савояр?

Мы были когда-то кони,
Когда-то мы были степь,
Но лето так долго тонет,
Что больше нельзя терпеть.

Лошажья настанет осень,
Травы укоротит прыть.
Мы трав дождевых не косим —
Их некуда хоронить.

* * *

Розы швырять проститутке в постель, шалости-шутки.
Гоголю денежек дать на шинель, шалости-шутки.

Шалости-шутки — иврит продувать, с легким нажимом.
Перышком школьным зверей щекотать, с легким нажимом.

С легким нажимом пуститься в шантаж, кровью пьянея.
Сдать свой талант в погребальный багаж, кровью пьянея...

Кровью пьянея, уже не трезветь больше чем на день.
Что в этом страшного жить-умереть — больше, чем на день.

Больше, чем на день отцы не сдадут русскую букву.
Спрячь на груди шевардинский редут, русскую букву.

Русскую букву послать булавой ворогу в темя,
Буйной головушкой знать не впервой ворогу в темя.

Ворогу в темя — приелся повтор — надо к началу.
Гоголь, проснись, итальянский фланёр, надо к началу.



* * *

Мне твои брови не нравятся — узкие, злые.
Пальцы холодные, волосы цвета лисицы.
Будь у меня две легавые или борзые,
Я бы не пил молока и не ел чечевицы.

Варваром жил, окружая кострами ночевье,
С варваром дрался и пил мировую по кругу.
Братьями стали б текущие в небо деревья,
Хлебом — танцующий уголь.

Платья твои я бы отдал цыганской ораве.
Родинки, кожу гусиную, татуировки
Выменял на чернокосую бабу без правил —
Дети чумазые будут от черноголовки.

И обучал бы их не в эпицентре культуры,
В кадровом центре доярок — ленивых отличниц.
Жили бы счастливо дочери — круглые дуры,
Дочери их бы, вестимо, учились на птичниц.

Серая, старая, серая степь дождевая.
Туча, ползущая грузно по краешку рая.

Черные куры и жизнь простая, как просо.
Черные кудри, чернее столетнего граба.
Только откуда у птички моей чернокосой
Правнучка вылезет, надо же — курочка-ряба?

Вот и не верь после этого в бабушку Вия,
Все мы в одной хлебопечке, одной тестомеске.
Брови не нравятся мне твои — узкие, злые,
Куры не нравятся, дактиль в слепом переплеске.

* * *

Елене Богдановой

В гримуборной зеркала простужены —
Морщатся, прищуриваются.
На холсте отечного лица
Сумеречные проступают ужасы.

Обморочным веером хватается
Леди Макбет за померкший свет.
Местный рубенс сочинил портрет —
Черно-бурю лисой похвастаться.

Танцевали роли и любовники.
Роли привставали на пуанты.
Приставали глупые поклонники.
Годы шли и требовали платы.

На актрисе старой, кто он? — женится?
Так ли сяк ли рюмочка в антракте.
Был, конечно, бледный мальчик Женя,
Перевоспитывал и проявлял характер.



Леди Макбет, больше не злодействуя,
 Курит и покашливает сухо,
 Но порода, сука лицедейская,
 Мясо ест без запаха и звука.

Пьяная на пятом подозрении,
 Пастижорша пудрит ей власа.
 Тени обнимают голоса,
 Эхо голосов целует тени.

МАКОВСКИЙ

Евгению Иорданскому

маковский ласкает хаос, целует космос,
 папиросу прикуривает, попутно поминая хайдеггера.
 собачья письменность заглядывается на людскую повесть.
 холодно так, что не хватает характера
 согреться сколько-то — на огни трактира:
 господи прости, и простатит выводит.
 маковский смотрит на обломки мира,
 опорожнив пузырь, на холода выходит.

маковский смотрит на облака мира —
 анатолий владимирович маковский, толя.
 рукою правую обнимая мольера,
 левою уильяма и лира его короля.

нина садур все про панночку,
 а толя про петра степанова.

вот не стало михал михалыча, не поговорили,
 мясников с поповым сидят на ступенечке.
 всю новосибирскую поэзию уже зарыли,
 а что осталось — так то маленечко.

что я могу вспомнить, сытый и постарелый,
 о голодном его, ненасытном воображенье.
 калевала-калевала, говорят карелы...
 а маковский мне о блоковской жене.

люба менделеева де не дева...
 нина грехова горбатая королева.

когда мы с ним разговаривали никакие,
 он мне математику раскладывал, как карты,
 поминутно поминая киев
 и спартанцами убитых детей спарты.

жанна владимировна что-то говорит ивану,
 и становится близким ее незваное.

надеюсь на молодых, как ни на кого не надеюсь,
 это из тацита вытащил я цитату?
 над нами небо, а над небом деус.
 в тридевятом царстве встретимся, в тридесятом.



* * *

Было холодно, молодо, ясно.
Дети спали в господском снегу.
Хриплым голосом Абея Ганса
Подзываю слугу.

Вас прадедушка в Англию выслал,
Не бавария, так кострома.
Сочиняю какие-то числа,
Пью винцо в синема...

И внезапную бонапартию,
Как простуду, тащу от реки,
Женераль, не лечите Россию
Мановеньем руки.

Вам чудские пожалятся немцы,
Чугунками по льдинам долбя —
Как птенца принесли в полотенце
Крест любя.

Все болтают пустые невестки,
Приживая детишек от слуг:
Княже Невский, поют, княже Невский,
Кременчуг погорел, Кременчуг.

Ежли новые станут тевтоны
Есть глазами отеческий дым —
Менделеев, вложившись в патроны,
Ломоносова пустит по ним.

* * *

Над Караканом облако восходит
Одной ему известною тропею,
И смотрит вниз на маленькую землю,
Как на ребенка в тесноте сосновой,
На девочку, уснувшую в лесу
Высоком.

Над Караканом облако восходит,
Как нянюшка в переднике холщовом
С прижатою к груди молочной кринкой,
С лазревой сединкой в волосах,
И сосны вековые молодеют.
Смеются.

Над Караканом облако восходит,
В соседней деревушке колокольцы
Перекликают сонные подворья,
И воздух полыхает медом, мятой,
И вновь грибное созревает лето
Над Караканом.

* * *

Он любовался их беспечной жизнью...

М. Степаненко

Не перечитывай прочитанную книгу,
Особенно главу ее вторую,
В которой говорится о повторах,
О взвешенных поступках вслед поспешным,

Опавших листьев невозвратный шорох
Признав случившимся и неизбежным.

Не пересчитывай потери — их несметно.
В главе четвертой, третьей объяснение,
А пятая — сплошной слепой петит, —
Щекотка, холодок, расстройство слуха. . .

Как медленно, как долго снег летит,
Чтоб камень мягче стал и легче пуха.

.....

Он любовался их беспечной жизнью,
Он расставлял их в шахматном порядке,
А после все порядки упразднял.
Слова, словечки, словеса — без спросу

Входили в дом, где дымный столб сиял
Во славу Баха, в обращенье к Босху.

Он любова. . .



Александр ЛЕЙФЕР

«ГРИБНОЙ СУП» И ДРУГИЕ НОВЕЛЛЫ

К СВОИМ ВЯТСКИМ ПОЛЯНАМ

Не слышал я (может, пропустил?), чтоб как-то отметили у нас юбилей омского писателя Бориса Малочевского (1923—1997). А в апреле 2013-го ему исполнилось бы 90 лет.

Человеком он был закрытым, внешне неброским. Закончил филфак нашего Омского пединститута, военное училище. Демобилизовавшись, вначале преподавал, затем поступил в редакцию «Молодого сибиряка», вскоре стал ответственным секретарём газеты. О его строгости на этом посту, о его доскональном знании профессии газетчика мне не раз рассказывал работавший с ним в молодые годы журналист Валерий Зиняков, с которым мы были друзьями. Потом в течение многих лет Борис Александрович являлся собственным корреспондентом московской «Медицинской газеты». Рассказы начал печатать ещё в середине 50-х. И среди них немало таких, которые и сегодня читаются без всякого «напряга».

Хорошо помню, как в конце 60-х он, уже член Союза писателей, поддержал только что приехавшего в Омск Михаила Малиновского, тогда ещё ходившего в «молодых литераторах». Ещё говорят (это уже на уровне легенды), что в середине 70-х годов, воспользовавшись своим статусом корреспондента центральной газеты, Б. Малочевский заставил администрацию туберкулёзной больницы принять на лечение Аркадия Кутилова — того из-за его бомжевания брать в медучреждение не хотели; вполне можно предположить, что это продлило Аркадию жизнь, — ведь тогда ему сделали удачную операцию, которая на время приостановила процесс, и поэт протянул ещё десять лет.

Знал я Бориса Александровича много лет, относился он ко мне благожелательно, но ни в каких дружеских отношениях мы не находились. Только один раз оказался я у него дома — когда в 1983 году по заданию газеты брал у писателя интервью. Жил он на улице Десятилетия Октября — над известным тогда каждому в Омске книжным магазином «Подписные издания». А нынче, решив немного написать о Борисе Александровиче, я разыскал в своей библиотеке его изданную ещё в 1980 году небольшую книжку «Вятские поляны». Так называется и открывающая её повесть. Которая мне лично из написанного Б. Малочевским нравится больше всего.

О чём эта повесть? Если внешне, то о коротком отрезке жизни скромной провинциальной девушки — железнодорожной кассирши Лёли. «Все Лёлины дни похожи один на другой, ничего не менялось, менялись только времена года: зима — весна — лето — осень». Это первая фраза повести. Фраза, которая, пожалуй, много читателя и отпугнуть может: для чего же дальше читать, если «ничего не менялось»?



А с другой стороны — повесть своеобразно рассказывает и о жизни страны. О жизни, проявившейся в судьбах Лёли и других героев произведения. Это закономерно. Настоящий писатель, говоря о малом, всегда имеет в виду и большое.

1953 год, потрясая всех смерть диктатора. Б. Малочевский хорошо сумел передать атмосферу той весны, атмосферу тревожного и в то же время радостного ожидания перемен. Постепенно, от страницы к странице знакомимся мы с героиней повести и так же постепенно начинаем проникаться симпатией к ней, уважать. Стойко переносит Лёля бесславное крушение своего первого чувства. Красавец Геннадий оказался заурядным сердцеедом, стремящимся во что бы то ни стало «на все сто» провести двенадцать дней профсоюзного отдыха. Лёля мечтательна и романтична. Вслушиваясь в названия незнакомых железнодорожных станций, она начинает представлять себе, как там живут люди, там — на далёкой станции Ерофей Павлович, в городке Аркадак, на разъезде Бобр... И почему-то «чаще и сильнее всего остального влекли Лёлю к себе Вятские Поляны». Лёля симпатична и внешне: у неё «пышные волосы каштанового цвета, и чистое лицо, и ясные сероватые глаза, и хороший рост». Всё это очень нравится человеку, который появляется в её жизни, — Василию Макаровичу Вовкодавенко.

Действующих лиц в повести немного. И после Лёли наиболее подробно и интересно разработан этот образ. Вовкодавенко — завхоз вокзала, а также знакомый Лёлиной тётки, которая в потенциальном родственнике души не чаёт. Это фигура — тут ничего не скажешь. Человек не без «философии». «Надо, чтобы дистанция существовала, — рассуждает он. — Того, кто к тебе за чем-нибудь обращается — всё равно за чем: хоть за билетом, хоть за мясом, — надо, Лёленька, всегда на расстоянии от себя держать, раз он в тебе нуждается и от тебя зависит. Иначе сразу же охамеет человек!» Вовкодавенко, как и тысячи других людей, потрясён смертью вождя, вначале плохо представляет себе, как без него жить дальше. Он раздражён переменами, происходящими вокруг. Например, он крайне возмущён тем, что переоборудовано его любимое детище — железнодорожные кассы, где деньги и билеты передавались через лоток, а кассир и пассажиры видели только руки друг друга. В новых же кассах между кассиром и пассажирами лишь стекло, — всё видно, всё открыто. И Вовкодавенко возмущён: «Только не стало хозяина, который всех на дистанциях держал, смертный пот ещё на нём не высох, — и что пошло? Уже охамели люди». Вот и встречаются два таких разных человека — романтическая, мечтательная Лёля и уверенный в себе и в том, что он знает жизнь, Василий Макарович. И Лёля, подавленная кажущейся ей бесперспективностью собственной судьбы, вначале покорно следует за новоявленным женихом.

Повесть «Вятские поляны» была первой у Бориса Малочевского, до этого он писал только рассказы. И выдержана она на какой-то особой, негромкой и тёплой, ноте. Да, негромкость — вот, пожалуй, именно то слово, которым можно определить интонацию «Вятских полян». Может быть, это оттого, что негромка была вначале сама жизнь главной героини. Сказано «была» потому, что от страницы к странице Лёля всё пристальнее вглядывается в окружающих и окружающее, в саму себя. И совершает поступок, невероятный с точки зрения так называемого здравого смысла: рушит собственную свадьбу, когда для торжества уже и баранина с водкой заготовлены, и гости позваны. Это именно поступок, и вместе с автором веришь, что он-то и сделает громче и осмысленнее Лёлину жизнь, что не за горами у неё свои Вятские Поляны, своё счастье. А неудавшийся жених воспринимает крушение свадьбы как бунт, как вызов, брошенный не только ему лично, но и всему обществу. «Вы у меня ещё попрыгаете, — кричит он. — Думаете, если хозяина нет, так вы, сопливые ещё, уже сами с усами? Не выйдет!»

...Пожалуй, не преувеличу, если скажу, что в этой повести писатель проявил главные качества своего таланта: умение тонко подметить детали окружающего, видеть за обычными, бытовыми явлениями и случаями события крупномасштабные, волнующие многих людей.

И ещё об одном — о том, что большинство произведений Б. Малочевского населяют простые, обычные люди. Он много ездил по стране, хорошо знал их и с любовью описывал в своей прозе. В его автобиографическом эссе «О ненаписанном» говорится об этом следующее: обыкновенный человек «потому и обыкновенен, что трудно провести грань, где кончается его долг и начинается его подвиг. Но, чёрт возьми, как нелегко писать об обыкновенных людях! Наверное, так же, как и о великих, ей-богу, не легче» («Писатели о себе». Новосибирск, 1966).



Мне удалось немного посотрудничать с Б. Малочевским уже в новые времена — когда мы начали выпускать альманах «Складчина». Для третьего его выпуска (1997 г.) писатель дал рассказ «Мечта Димки Воронова». Хороший, добротный и умный рассказ, ещё раз показывающий, что Б. Малочевский чётко чувствует нерв времени. Но, увы — фамилия автора забрана в альманахе чёрной рамкой, выхода «Складчины» из типографии он совсем немного не дождался. Я передал несколько экземпляров вдове писателя — суровой, немногословной даме, которая, как рассказывали, была во время войны фронтовым хирургом.

БИБЛИОТЕКА НИКОЛАЯ КОЛЫЧЕВА

Хочу рассказать о человеке, который без лишнего шума и пиара построил вторую (после областной Пушкинской) по своему размеру и технической оснащённости омскую библиотеку. Уверен, что не все её и в Омске-то видели. Это Научная сельскохозяйственная библиотека Омского аграрного университета. И вот что вспоминает главный инициатор строительства библиотеки — экс-ректор университета Николай Матвеевич Колычев: «Построить библиотеку “самую-самую” было моей давней мечтой. И она прорвалась наружу на одном из учёных советов. Я объявил о необходимости строительства библиотеки, не имея ни рубля даже на проект — настолько было сильно моё желание, настолько верил, что мы построим! Влекомый этой необузданной идеей, в порыве страсти (не будем подбирать слова — не столь важно) первым вложил в эту свою идею весь свой месячный заработок. Не знаю, какой эффект испытали в тот момент мои коллеги, но я испытал огромную искреннюю радость, до слёз разволновался, когда мои первые помощники в этом меня поддержали. Так появились первые средства, что позволило начать разработку технической документации...

...А мы активно продолжили сбор средств — прежде откликнулись бывшие выпускники нашего вуза, преподаватели и студенты. Никого, тем более студентов — не принуждали. Несли добровольно. Многие “спонсоры” — будучи руководителями строительных и прочих компаний, предлагали безвозмездно “кто чем богат”: кирпич, цемент, даже, помнится, зерно. Огромное им спасибо. Особое спасибо Л. К. Полежаеву — выпускнику нашего вуза. Будучи тогда губернатором, что немаловажно здесь отметить, он не просто по “служебным обязанностям” обратил внимание на нашу инициативу, а, уверенно заявляю, искренне, по внутреннему побуждению, принимал личное участие в строительстве. <...> Губернатор в тот же месяц перечислил 15 миллионов рублей — он умеет слово держать. А там и из Москвы деньги пришли» (Из сборника «Это нашей истории строки (Омскому государственному аграрному университету — 90)». Омск, 2008).

Заселять новое здание библиотеки стали в 2010 году. Ещё в декабре предыдущего года наша писательская организация проводила семинар молодых авторов в старом здании. В нём было холодновато, мрачновато. Потолок одного из залов на всякий случай подпирала брёвна, недаром вскоре в здание перестали пускать не только читателей, но и персонал. А в мае 2010-го вышел альманах «Складчина», целиком составленный из произведений «семинаристов», и его презентация состоялась уже в новом шикарном здании. Перед началом презентации нам устроили что-то вроде экскурсии — провели по основным помещениям, показали знаменитую пермскую мебель, десятки уже установленных и ещё не распакованных компьютеров (всего их в библиотеке более 150-ти).

О том, что представляет собой библиотека, сказано на её сайте: «Научная сельскохозяйственная библиотека (<http://lib.omgau.ru>) создана в 1918 году и является старейшей вузовской сельскохозяйственной библиотекой в Сибири. Общее количество единиц хранения составляет более 900 тысяч экземпляров. Особую ценность представляет фонд редких книг, насчитывающий свыше 6000 документов — это издания XVI — начала XX веков на русском и иностранных языках. Электронные ресурсы библиотеки представлены внутренними и внешними полнотекстовыми, библиографическими базами данных. Библиотека Омского аграрного университета как хранитель изданий, имеющих общественно значимую научную, историко-культурную ценность, включена в “Общероссийский свод книжных памятников”».

Сегодня Николай Матвеевич уже не ректор ОмГАУ, просто преподаёт в нём свою ветеринарию. Занят другими делами и заботами. А библиотека стоит, выполняет свою замечательную работу. И будет стоять ещё много, много лет и десятилетий.

Родился Н. М. Колычев в 1940 году в райцентре Омутинское Тюменской области. После 8 класса начинал учиться в техникуме, но окончить его не удалось из-за семейных обстоятельств. Работал землекопом, бригадиром и агентом по снабжению в Тюменском стройтресте, потом электромонтажником в СМУ-3. Среднее образование получил в школе рабочей молодежи в 1959 году, а в 1960 г. поступил в Омский ветеринарный институт. Во время обучения подрабатывал в ночных бригадах в горводоканале, на пятом курсе устроился туда начальником мехмастерских. В 1965-м после окончания ветинститута по личному желанию попал в Князевский совхоз Называевского района Омской области, работал там главным ветеринарным врачом. В 1968-м поступил в аспирантуру кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии ветинститута. В 1971-м защитил кандидатскую диссертацию, а в 1984-м — докторскую. Работал ассистентом, старшим преподавателем, секретарем парткома ветинститута, проректором по учебной работе. В 1985-м был избран ректором ветинститута. С 1994 года по январь 2010-го — ректор Омского государственного аграрного университета.

Доктор ветеринарных наук, награждён орденом Почёта, золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью», имеет звания «Заслуженный деятель науки РФ» и «Почётный работник высшего профессионального образования России». Академик Международной академии высшей школы, автор более 300 научных трудов, в том числе 6 монографий, 5 патентов на изобретения и более 10 учебников и учебных пособий. Автор книги «Четверть века и вся жизнь. Воспоминания, размышления, портреты» (Омск, «ЛЕО», 2008).

...В заключение — ещё одна цитата: «Если испугаться, поддаться разрушительной силе кризиса — сомнёт, завалит, как лавина. А если подняться над трудностями, бытовыми мелочами (хоть и цепляют они крепко, не хотят отпускать), не дать им задушить себя в холодных костистых объятиях, то и кризис в какой-то момент увидится своей оборотной стороной — как начало нового дела, новой жизни. Кризис резко обостряет ситуацию, вынуждает сосредоточить все силы в рывок и вынырнуть».

Это тоже из воспоминаний бывшего ректора.

ВСПОМНИМ ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА

Каждый раз, когда прохожу по второму этажу омского Дома печати мимо кабинета, где когда-то работал художник и фотограф Виктор Резниченко, у меня сжимается сердце. Много лет то и дело забегал я в эту длинную, как пенал, темноватую комнату, где безвылазно — с утра и до вечера — ежедневно трудился её хозяин, заведующий отделом иллюстрации «Омской правды» Виктор Резниченко (1930—1996).

Виктор любил гостей, здесь я встречал его многочисленных друзей. Разумеется, прежде всего это были люди, имеющие отношение к фотографии, — летописец Омского нефтезавода Евгений Мамакин, известный фотохудожник, певец послевоенного Омска Михаил Фрумгарц, вечно куда-то спешащий Ваня Синичкин, немногословный Борис Чигишев — да мало ли кто ещё... Но круг знакомств хозяина этого насквозь прокуренного кабинета не ограничивался только профессиональными интересами. Сюда заходили инженеры с завода им. Баранова, где в военные годы начался трудовой путь Виктора — вначале в литейном цехе, а затем в заводской многотиражной газете. Здесь бывали врачи, приезжие журналисты из районов, офицеры, артисты музыкального театра. Многие любили и ценили Виктора Николаевича, считали за удачу хоть на пять минут забежать к нему — замечательному, остроумному собеседнику, доброжелательному, располагающему к себе человеку.

Родился он в Ленинграде, в 1930-м. В 1941-м вместе с родителями был эвакуирован в Омск. Рисовать любил с детства. Когда 15-летним поступил трудиться в литейку авиазавода им. Баранова, то помимо основной работы выпускал здесь боевые листки «Всё для фронта!», рисовал карикатуры, писал плакаты. В 1960-м году редактор «Омской правды» Иван Дмитриевич Фадеев пригласил Виктора Резниченко в свой



коллектив. Что для журналиста из скромной многотиражки было, конечно же, немалой честью. И. Д. Фадеев имел хороший нюх на хорошие кадры и ошибался редко. В этом издании Резниченко плодотворно проработал 35 лет.

Практически ни один номер газеты не обходился без его «руки». Это снимки, а также многочисленные рисунки — к фельетонам, очеркам, статьям, рассказам, дружеские шаржи, постоянная рубрика «Улыбка художника», праздничные плакаты на первую полосу и т. д., и т. п. — всего и не перечислишь... Не раз я наблюдал, как Виктор, обалдевший от вечной газетной спешки, от своего крепчайшего «Беломора», от телефонных звонков, выскакивал в редакционный коридор с готовым рисунком, хватал любого проходившего мимо человека за рукав и приказывал: «Читай вслух — медленно, громко и по складам!» И тогда на всю редакцию звучало: «С Новым го-дом, до-ро-ги-е то-ва-ри-щи!» или другой какой-нибудь подобный плакатный текст, в котором, увлекшись красотой эксклюзивно рисованного шрифта, вполне можно было пропустить, например, «о» или «а» в слове «товарищи». Ещё и не такое случается в газете...

Неоднократно при мне к Виктору приходили дети или внуки тех, чьи отцы и деды погибли на войне. Нужно было увеличить или просто привести в порядок старую, чаще всего любительскую, фотографию — сделанную на фронте, а то и довоенную, порой единственную, а потому — драгоценную. К таким просьбам он всегда относился с максимальным вниманием, хотя повозиться каждый раз приходилось немало — вначале оригинал переснимался, потом полученный отпечаток ретушировался, а затем переснимался ещё раз, после чего ещё раз печатался. Находилась в кабинете Резниченко достопримечательность, не заметить которую было просто невозможно, — стоящий у входа огромный, почти в рост человека, деревянный ящик. Хранилось в нём настоящее богатство — тассовские фотоснимки, начавшие приходить в редакцию из Москвы ещё в довоенные времена. Их — как прошедшие в газете, так и оказавшиеся «лишними» — хозяин кабинета бережно хранил, сортировал по хронологии, прекрасно понимая, что с каждым годом ценность этой фотолетописи только увеличивается. Сейчас содержимое ящика находится в госархиве.

В последнее время Виктор много занимался ретушированием идущих в газету снимков, делал эту нудную и тонкую работу тщательно, не давая себе никакой поблажки. А потом пришло то, что мы называем сегодня «перестройкой». И вместе со многим нужным и хорошим, «новый НЭП», к сожалению, привнёс в нашу жизнь и немало такого, что переставило куда-то на последние места уважение и бережное отношение к человеку, тактичность, понимание... Всё это заменено теперь показной тягой к «целесообразности» и «оптимизации». Уволен из «Омской правды» Резниченко был резко, грубо, без всякого предупреждения — чуть ли не в самый день своего 65-летия. Пенсионером пробыл меньше года — инфаркт. А я уверен, что в своей насквозь пропахшей куревом, редко проветривавшейся рабочей комнате он, «законсервировавшийся» в такой обстановке, благополучно трудился бы ещё добрый десяток лет...

ИЗ РАССКАЗОВ О ТИМОФЕЕ БЕЛОЗЕРОВЕ

Поэт и Пиночет

Было это 11 сентября 1974 года. В Омской писательской организации, в маленькой темноватой комнате, расположенной возле деревянной покосившейся лестницы, которая вела на второй этаж, сидела небольшая мужская компания. Комнатка эта, находящаяся в некотором отдалении от двух других, где трудилось руководство и где проходили официальные писательские собрания, негласно как раз и предназначалась для таких вот неофициальных посиделок. Здесь и покурить можно было от души, и поговорить на любую тему, и — чего греха таить — сдобрить разговор глотком-другим-третьим какого-нибудь незамысловатого народного напитка, продававшегося неподалёку — в гастрономе на улице Ленина, имевшем из-за своих архитектурных особенностей фольклорное название «кругляк».

Отвлекусь и поясню, что зайдя в эту весьма популярную среди творческой интеллигенции Омска торговую точку, можно было обойти все её прилавки по кругу и



вернуться к входной-выходной двери уже с другого конца. Отсюда и название. В центре этого круга тоже были устроены торговые места. В частности, там всегда угощали соками, и я выпил там не одну, должно быть, сотню стаканов томатного сока, разбалтывая в них перед употреблением немного соли из стоящей тут же полуплитровой банки, стоило это полезное удовольствие 10 копеек. Географическое расположение «кругляка» было таково, что в нём часто можно было встретить ту или иную творческую личность. Например, знакомого артиста — неподалёку, в шаговой, так сказать, доступности находились три из четырёх омских театров — драматический, юного зрителя и музыкальной комедии (да и до четвёртого, кукольного, была всего одна остановка). Захаживали сюда также мастера кисти и резца — до Дома художника и художественно-графического факультета пединститута тоже рукой подать. Но ближе всех находились всё-таки писатели — упомянутые в самом начале этого повествования три комнаты издавна были отведены им в угловом двухэтажном купеческом здании на Ленина, 21 — над расположенной внизу общепитовской столовой.

* * *

О том, насколько популярным было данное торговое учреждение в литературной среде, можно судить по следующему примеру. Однажды мы отправились в него с писателем Петром Карякиным. И уже на подходе к крыльцу магазина встретили огромного человека, одетого в синий, выдавший виды рабочий халат. Невольно заставляло внутренне содрогнуться его лицо, вся правая сторона которого была страшно изуродована давним ожогом; правый глаз, который уцелел, видимо, каким-то чудом, смотрел не прямо на тебя, а куда-то в сторону, что ещё больше усугубляло жуткое впечатление.

— Привет! — увидев человека в халате, сказал Пётр Петрович. — Знакомся, — наш молодой литератор.

Я назвалса и тоже пожал протянутую огромную руку, вся ладонь которой представляла собой одну большую мозоль. Карякин угостил своего знакомого «Беломором», из их короткого разговора было видно, что знают они друг друга уже давно.

— Наш брат, фронтовик, в танке горел, — пояснил мой спутник, когда мы пошли дальше. — Приятель мой, грузчиком в «кругляке» работает. Помогает, когда надо, с этим делом.

Знакомство, прямо скажем, было завидным: в нашем государстве, периодически устраивающем вокруг торговли «этим делом» запретительные ритуальные танцы, такая помощь всегда была очень даже не лишней.

* * *

Но вернёмся, однако, в 11 сентября 74 года.

Среди нашей небольшой компании был в тот день и известный детский поэт Тимофей Белозёров. Нахохлившийся, тёмнолицый, он сидел в сторонке, у окна, в общем разговоре не участвовал — курил и, судя по всему, был чем-то своим озабочен.

А разговор у нас шёл о Чили. Именно 11 сентября исполнился ровно год, как в этой далёкой южноамериканской стране был совершён кровавый военный переворот. Все газеты Советского Союза (некоторые из них лежали на нашем столе среди пельменей, бутылок и тарелок с нехитрой закуской) вышли со статьями, напоминающими о трагических событиях, рассказывающими о том, как генерал Пиночет захватывает всё большую власть, устраняет конкурентов, продолжает расстреливать политических противников. Именно об этом главным образом мы и говорили.

— Какой ещё такой Пиночет?! Какая хунта?! — вдруг подал голос Тимофей Максимович. Видимо, он очнулся от своих одиноких дум и прислушался к нашим разговорам.

В комнате установилась недоумённая тишина.

— Ведь там теперь Сальвадор Альенде?! — всё в том же вопросительно-восклицательном тоне продолжал Белозёров.

— Как? Ты что же — не знаешь, что его убили?!

— Кто убил?

— Вот Пиночет и убил. Не сам, конечно, по его приказу.



И мы с горячностью принялись разъяснять Тимофею что к чему — произносить имена Пабло Неруды и Виктора Хары, разворачивать газеты, где были фотографии и Альенде, и солдат в касках, и превращённого в концлагерь стадиона в Сантьяго...

* * *

...Часто вспоминаю этой случай. Ведь, пожалуй, для понимания творчества Тимофея Белозёрова он сможет дать не меньше, чем иная умная литературоведческая статья.

В каком исключительно своём — духовно закрытом, интимном — мире нужно было жить этому талантливому человеку в то насковозь политизированное время, чтобы в течение целого года «не пускать» в себя ненужной для его главной, поэтической работы информации. Ведь о Чили то и дело тогда говорили по радио и телевидению, писали в журналах и газетах. Всячески муссируя чилийскую тему, наши СМИ, конечно же, стремились прежде всего «прищучить» главного врага СССР — США, чьи спецслужбы, разумеется, приложили к сентябрьскому перевороту свою руку. И вот всё это прошло мимо поэта, мимо той волшебной кухни, где «варились» его предназначенные детям чудесные стихи.

Грибной суп

Вот убей — не помню, в какой именно город посылали нас тогда с Тимофеем Максимовичем Белозёровым выступать «по линии» Общества книголюбов... Твёрдо помню, что находится этот городок на железной дороге, т. к. и туда, и обратно ехали мы на электричке. Твёрдо уверен также, что был это не Называевск, — в него «пилить» долго, три почти часа, мы же доехали гораздо быстрее. А поскольку в нашей Омской области на железной дороге расположены всего три города (не считая, разумеется, самого Омска), то остаётся всего два варианта — это был либо Калачинск, либо Исилькуль. А вот тот или другой, вспомнить ну никак не могу... Не помню также, где именно выступали мы в самом городе (а ведь выступали же, т. к. пробыли в этой командировке чуть ли не неделю). Но одно выступление, состоявшееся, как любят выражаться жители райцентров, «на периферии», т. е. в каком-то из находящихся неподалёку от данного городка сёл, я запомнил хорошо и ниже расскажу о нём.

Пока же о грибном супе.

В день приезда, устроившись в гостинице, мы перекусили в расположенном на первом этаже ресторане, а потом каждый по своему маршруту. Я, как всегда, топтал пряником в книжный магазин, надеясь, что в нём удастся купить что-то такое, чего нет в Омске. А Тимофей, пробормотав: «Пойду просто прогуляюсь», — пошёл в другую сторону. В гостиницу я вернулся расстроенный: книжная охота оказалась неудачной. Времена, когда в райцентрах можно было запросто наткнуться на книжный дефицит, прошли. Теперь и сельский читатель включился во всесоюзную интеллигентскую забаву — погоню за хорошими книжками.

Зато Тимофей пришёл со своей прогулки довольный:

— Представь себе, в здешнем продмаге грибной суп продают! Новосибирский!

— Грибной суп?

— Ну, да! В Омске его чёрта с два купишь...

И он выгрузил из карманов на стол десятка полтора небольших ярких пакетиков.

— Ты что, не ел такой?!

— Да как-то не приходилось...

— Сходи и купи обязательно! Не пожалеешь — вкуснятина невероятная!.. Иди прямо сейчас, пока магазин не закрыли!..

Настроение у моего старшего товарища было явно приподнятое.

Ни за каким супом я, конечно, не пошёл, сказал, что устал, спать хочу.

«На фига мне этот суп?» — думал я про себя. И про себя же удивлялся такой гастрономической страстности Тимофея Максимовича — никогда не приходилось наблюдать его с этой стороны. В кафе Дома актёра, на различных банкетах и тем более во время «творческих» посиделок в писательской организации мы ели по принципу «лопай, что дают» и на эту тему вообще никогда не говорили. А он, оказы-



вається, гурман...

За время нашего пребывания в данном районном городке Тимофей ещё раз два напоминал я том, что мне надо бы сходить в продмаг. И в день отъезда, незадолго до электрички я совсем уже было собрался туда идти, как тут выпал удобный случай потихоньку попросить даму из местного отделения Общества книголюбов составить мне протекцию в книжном магазине. Та прямо при мне сделала соответствующий звонок (мол, продайте нашему гостю что-нибудь из последнего привоза), и я помчался по уже знакомому адресу.

— Ну, купил? — спросил Тимофей, когда я вернулся в гостиницу. Он уже собрался и ждал меня, чтоб вместе идти на вокзал.

— Понимаешь, Тима, — начал оправдываться я, — мне же книжный устроили, вот я там все деньги и просадил, на электричку только и оставил...

— Зря, зря...

Тимофей Максимович был явно раздосадован, чуть ли не расстроен. Во всяком случае, всю дорогу до Омска он предпочёл молчать.

На привокзальную площадь мы выходили через цокольный этаж вокзала, и когда в зале ожидания поравнялись со скамейками, Тимофей остановился возле ближайшей и поставил на неё свой портфель.

— Притормози-ка на минутку, — сказал он мне, и, вынув свёрток с грибным супом, отделил мне половину пакетиков.

Как я не отказывался, подарок был вручён.

Чувствуя себя в чём-то чуть ли не виноватым, я поплёлся к автобусной остановке. Доехав до своих Нефтяников, я тотчас же принялся кашеварить, при этом в точности следовал полученной от Т. М. инструкции: задействовал сразу два пакетика, добавил в кастрюльку пару нашинкованных картофелин, а в самом конце — ещё и репчатого лука, тоже мелко нарезанного. Разлил по тарелкам — себе и отцу, добавил сметаны.

И — честное слово! — ну никакого особенного райского наслаждения не почувствовал: похлёбка и похлёбка, горяче сыро не бывает, — с дороги почему бы не выхлебать... И вообще — отношение моё к еде воспитано, видимо, ещё бабушкой, Глафирой Алексеевной; она, бывало, когда я в детстве начинал за столом капризничать, всегда говорила одно и то же: «Ну-ка, перестань над тарелкой выкомаривать, двадцать первого года на тебя нет! Чем бы брюхо не набито, под рубахой не видать...»

...А Тимофей, как и обещал, позвонил на следующий же день. И уж тут я не поспешил на комплименты в адрес супа.

— Ну, то-то, а ты не хотел...

На другом конце телефонного провода мной явно были довольны.

* * *

А теперь, поскольку обещал, расскажу, как, выражаясь бюрократическим языком, «в рамках» этой же поездки мы выступали в сельской школе (название села, разумеется, тоже из головы давно уже улетучилось). Хотя вряд ли я смогу своим нехудожественным пером описать это так, как оно того достойно.

...Оказалось, школу эту Тимофей когда-то уже посещал, и нынешний приезд был оговорён заранее. Поэта ждали, готовились, я понял это, едва мы переступили школьный порог: на видном месте висел большой приветственный плакат с его именем. Стены коридора, ведущего в актовЫй зал, были украшены детскими рисунками, выполненными по мотивам его стихов. В самом зале, кроме рисунков и другого плаката, была устроена ещё и выставка книг Т. М., в нескольких местах висели его большие фотографии. Дети (а собралась вся школа — от первого до одиннадцатого класса) были принаряжены, девочки — в белых фартуках. Играла музыка. Несмотря на зимнее время, были и цветы.

— Тимофей, — растерявшись, предложил я, — может, я того — к зрителям пойду сяду?..

— Нет-нет, этого не поймут: как так — приехал аж из самого Омска, промолчал и уехал? Давай выступай первым, скажи что-нибудь про Достоевского, ты же знаешь — они теперь и его проходят...

Хорошо, у меня с собой были большие фотографии, которые когда-то подарил мне телережиссёр Юрий Шушковский, снявший в своё время документальный

фильм о невольном пребывании Фёдора Михайловича в Сибири. С ними мои полчаса прошли как-то незаметно, и я высвободил оперативный простор для главного гостя.

И тут началось. После короткого слова поэта, его стихи стали читать и петь сами дети. Они делали это сольно, вдвоём, втроём и целыми ансамблями. Под музыку и акапельно. Они танцевали, разыгрывали по стихам короткие сценки, выходили на подмостки в костюмах то Огородного Подрастая, то Дяди Гриши-Водовоза, то Буки... Потом они начали дарить Тимофею Максимовичу изготовленные собственными руками подарки — кукол (опять же — Бук и Подрастаев, Снеговиков и Лисовинов), какие-то корзиночки, коврики, шкатулки, аппликации, фанерки с выжженными на них картинками, листочки и тетрадки с собственными стихами...

Те, кто постарше, протягивали книжки или блокнотики для автографа, а малыши старались просто подойти поближе и во все глаза смотрели на гостя, наиболее смелые стремились потрогать его за полы и рукава пиджака...

В конце концов, гвалт в зале установился основательный. Но он нисколько не смущал Тимофея. Я внимательно наблюдал и за ним, и постепенно мне стало казаться, что каким-то чудесным образом разгладились его глубокие морщины, распрямились сутулые плечи, и вообще — он как-то посветлел и даже помолодел лицом. И уж совершенно точно: никогда до этого не видел я его так открыто, искренне и светло улыбающимся. Абсолютно счастливый человек стоял в окружении таких же счастливых мальчишек и девчонок...

...Было это, кажется, где-то во второй половине 70-х.

Что я тогда приобрёл в райцентровском книжном магазине, тоже напрочь не помню...



ПОВЕСТЬ О ПРИНЦЕ ИОШИЦУНЭ

Четыре радости отпущено Японии — созерцание луны, *цкими*, созерцание выпавшего снега, *юкими*, созерцание багряных листьев клена, *момиджи-гари* и созерцание цветов сакуры, *ханами*, но лишь сакура считает всех и вся — бедных и богатых, умных и глупых, элегантных и грубых.

Описать чудо цветения сакуры невозможно — японская вишня не растет в Европе и не похожа на нашу вишню. Есть сакура в садах Кью в Лондоне и перед Белым домом в Вашингтоне, но там она выглядит экзотической чужестранкой, а не волшебной феей, как у себя на родине. Зрелище цветущей сакуры подобно электрическому удару, ее праздничная нездешность не дает людям заниматься чем бы то ни было.

Фронт сакуры продвигается с юго-востока. Сначала ее десант высаживается на юге Кюсю и почти одновременно в Токио, затем проникает в Киото, в долины, а потом — в горы, и так до вершин гор и до холодного Хоккайдо.

Главная прелесть сакуры в непрочности ее цветения — она отцветает за несколько дней, и поэтам ее облетающие лепестки служат символом бренности и мимолетности жизни. А затем что мимолетность сакуры светла, светло относятся японцы и к смерти. Мурасаки Шикибу писала:

*Жизнь скоротечна,
Но не грусти:
Созерцай уходящие дни,
Как осыпающиеся лепестки сакуры на склоне.*

Лепестки сакуры очень нежно осыпаются — бело-розовым дождем, и при легком ветерке со стоящей на холме сакуры лепестки летят дугой. Мимолетность цветения вишни привела к следующему обмену стихами между Ариварой Нарихирой и девушкой из Столицы. Редко навещавший ее дом Нарихира зашел однажды полюбоваться распустившимися цветами вишни. Упрекая его за редкость визитов и подчеркивая свою верность, девушка сказала:

*Говорят, мимолетен цвет вишни и зыбок,
Но ждал человека, проходящего раз в год.*

На что Нарихира ответил:

*Если бы я не пришел сегодня,
Завтра, как снег, осыпались бы эти цветы.
Нет, символом постоянства их не назовешь.*

Лучше всего созерцать сакуру в старой Японии, в краю Ямато, неподалеку от Киото, где каждая пядь земли и каждое дерево полны аллюзий. Ведь что скрывать — *ханами* требует вживания в японскую культуру. Две весны я встречал в Японии, но в свою первую весну я даже не заметил сакуры, а во вторую я ходил за ней и пил под



каждым деревом. Так и родники — увидит человек родник в Святой земле, ухоженный руками поколений, и сердце сожмется. Но стоит приехать в Лапландию, где текут бесконечные горные реки, и остаешься к ним равнодушным — ведь они и сами не знают своего имени. Иными словами, как говорил Лис Маленькому Принцу, «пока не приручишь, не заметишь разницы между мной и другими лисами». Пока Япония не приручила меня, я не замечал красоты сакуры. Но более того — только в Ямато сакура приручена и действует безотказно. Здесь в садах Киото можно увидеть невероятную пестроту старинных одежд аристократов, выходящих на ханами:

Князя с коня спешила сакура! —

как писал Исса. Но подлинное ханами не требует роскошных одежд.

Кто лежит, накрывшись циновкой, когда цветет весна?

— спрашивает Басё, и комментаторы говорят, что поэт имеет в виду бедного самурая-ронина или бродягу, лежащего под деревом под циновкой вместо нарядных одежд. Его ханами сродни медитации дзен, его циновка — путь к озарению.

Ханами всенародно и многогранно. Кучка придворных в шелковых кимоно в саду Киото — это ханами. Одинокий поэт под расцветшим старым деревом — это тоже ханами. Но и парк Уэно в Токио, где по вишневым воскресеньям собирается до полумиллиона человек и циновки плотно покрывают всю площадь парка, где пьяное и грубое мужичье, обездоленные чиновники и служащие, рабочие автомобильных заводов сидят плечом к плечу на километры — это тоже ханами.

Нас не смущала кажущаяся вульгарность всенародного празднества, когда простой люд радуется случаю выпить и закусить на травке. Массовость — издержки всеобщей любви, и нет такого дерева на Стрекозиных островах, в тени которого не сидят, не пьют и не веселятся во время цветения. Лепестки летят с деревьев в чаши саке и на закуску, как писал Басё:

*Под деревом,
и в супе, и на рыбе —
Цветы!*

Цветение вызывает подъем духа, позволяющий смириться с вульгарностью.

*Желтые разводы на снегу
новогодним утром
не мешают мне,—*

сказал поэт. Новый год, как и цветение сакуры, приносит покой и просветление, и человек, идущий поутру в храм — первый раз в новом году — не огорчается, увидев, что кто-то поссал на белый снег.

Тот, кто не может смириться с этим низменным аспектом ханами, не поймет и его высшего аспекта — дзен-буддийского смирения и приятия мира.

Трудно найти самое лучшее место для ханами. Иногда одна ветка тронет больше, чем целый вишневый сад. Но есть одно место, где нельзя не охнуть.

Коре-ва коре-ва то бакари хана но Иошимо-яма.

(Только «ох» да «ах» и слышно — цветы на горе Иошино), —

пишет поэт. И тут сила в аллюзиях. У каждого народа есть места, о которых нечего сказать чужестранцу. Какой японец поймет, почему достаточно упомянуть Иерусалим, чтобы сильнее забилося сердце? И как нам понять, почему сакура на горе Иошино — это уже поэзия?

Гора Иошино находится в сердце старой Японии — Ямато, к югу от старой столицы — Нары, и близко к очень старой столице Асуке. В древние времена двор часто переезжал, а с ним двигалась и столица вокруг этих мест — от Осаки до Асуки. Сейчас от этих древних столиц остались только развалины, деревья и храм на месте бывшего дворца. Два дня о двуконь от столицы до глухомани Иошино. Что же особенного в этой горе?

В чудном английском приключенческом романе Фредерика Форсайта «Псы



войны» (по сказанному у Шекспира в «Юлии Цезаре»: «На всю страну монаршим криком грянет: “Пощады нет!” — и спустит псов войны») наемники производят переворот и захватывают власть в маленькой африканской стране, потому что в ее глуши таится гора, состоящая наполовину из чистой платины. Японская реальность восхитительнее африканской выдумки — гора Иошино состоит целиком из румяного серебра чистой сакуры.

Это невероятное зрелище — куда ни глянь — вся гора бела и румяна, как Возлюбленный в Песни Песней. Откуда взялась дикая японская сакура — неизвестно, но гора Иошино — это эпицентр ее весеннего взрыва. Мы останавливались там на храмовом постоялом дворе, и из окна была видна та же невероятная розовая белизна горы. Людей почти не было — далеко и трудно добираться от Токио или Осаки. По воскресеньям, конечно, полно народу, но по воскресеньям мудрый сидит дома. Многие трактиры построены, как древнеизраильские *бамот* — высоты для созерцания, и в них окосевший в доску от цветов путник может пить вместо саке — чай из сакуры, соленый и редкий.

На Иошино можно выбирать себе цвет вишни по настроению. Хочется только что распустившихся цветов — идешь вверх, хочешь мягкой тоски облетающих лепестков — идешь вниз. На горе старинные языческие храмы: маленькое капище — *джинджа* бога воды, брата Аматерасу, типичного доимперского бога. Во дворе храма — одно дерево — цветущая сакура, но с веранды — вид на всю гору. Здесь останавливался на последнее ханами Иошицунэ, когда он уже был беглецом, вне закона, по пути на север, подальше от державного гнева брата.

* * *

Это было восемьсот лет назад, в конце блистательного периода Хэйан, лучше которого, видимо, Япония не знала. Хэйан был наименее «японским» периодом — тогда еще не было суровых самураев с их варварски-рыцарским кодексом чести *бушидо*, не было междоусобных войн, не писали коротких стихов *хокку*, не ели сырой рыбы *сашими*, не сидели на *татами*.

Император и придворные жили в Хэйан-Кё (теперешнем Киото), построенном по образцу китайской столицы Чанг Ан. Этот город, с широкими улицами и дворцами, давший имя периоду Хэйан, называли просто Столицей — Мияко. Жизнь в Мияко была утонченная, элегантная, декадентская, совсем не суровая. Придворные соотязались в красоте кимоно, в составлении ароматных благовоний, в написании стихов, в мимолетном покорении нестрогих красавиц. Аристократы писали по-китайски, женщины — по-японски: так возникли «Повесть о принце Гэндзи» и «Записки у изголовья».

Любимым поэтом был китаец Бо Цзю И: хотя китайцы предпочитали ему Ли Бо и Ду Фу, японцы ставили выше всех Хяку Ракутэна, как они величали его, читая на японский лад китайские иероглифы. Стихи Бо Цзю И взял с собой принц Гэндзи в ссылку в Сума, и с ним боролся бог японской поэзии Сумишио в пьесе «Ракутэн», защищая японский народный дух от заморских влияний.

Война не интересовала придворных этого золотого века. Они никого не убивали и не казнили: на тысяче страниц «Гэндзи» умирают только от любви. А тем временем на востоке, подальше от столицы, выросло драконово семя воинственных рыцарей, с неодобрением посматривавших на блеск изнеженной столицы.

Последующие поколения японских историков и моралистов разделяли это восточное чувство. Они не одобряли «безнравственный и распущенный» Хэйан и предпочитали более «мужественный и строгий» период правления самураев, период Камакуры. Японцы, получившие от китайцев идею ян и инь, мужского и женского начал, могли бы сказать, что переход от Хэйан к Камакуре был переходом от женственности к мужественности.

Шотландский мужественный историк Джеймс Мердок так крыл хэйанскую аристократию: «Фривольные дилетанты, гнусно развратные, изнеженные и женственные, припудренные поэтишки, не способные дать отпор врагу» (почти дословно повторяя филиппики хмельных ирландских националистов против Блюма, героя «Улисса»).

Не уступал ему и Николай Конрад: «В своем могучем кулаке неукротимый Тайра Киёмори крепко сжал дряблый, погрязший в интригах, выродившийся, всеце-



ло увлеченный обманчивым блеском чинов и церемоний двор, скрутил некогда надменных канцлеров Фудживара» (немудрено, что он так слабо перевел хэйанскую прозу «Гэндзи» — и поэзию — «Повести Изе»).

Другие историки понимали, что в сочетании этих двух начал возникла новая Япония, идеал которой был утонченным и изящным, но и несокрушимым и мощным. Этот новый идеал описал поэт:

Стальной клинок в шелковых ножнах.

Иошицунэ, воплощение этого дворянского идеала, стоит между Хэйаном и Камакурой, между аристократией и самураями: он уничтожил Хэйан, будучи сыном этого периода, и привел к власти воинскую касту. Так Троцкий похоронил демократию и отдал власть Сталину. Такой человек не мог не погибнуть, погубив собственные корни. В новой, сталинской России не было места Троцкому, в камакурской Японии не был нужен Иошицунэ. Они оказались вторыми героями революций.

Революционные герои ходят попарно, как дошкольники в детский сад, чтобы подчеркнуть двойственность, инь и ян мира: Сталин и Троцкий, Робеспьер и Баррас, Иошицунэ и Иоритомо. Один герой побеждает врагов революции и остается жить в легендах, другой побеждает победителей и остается жить. Иошицунэ остался в легендах.

Интересная историческая aberrация: полководец Иошицунэ, воин, победивший во многих битвах и сражавшийся за новый военный режим, остался в легендах как человек *ancient regime*, как последний аристократ, хоть он таковым и не был. В более поздних легендах он совершенно бездеятелен, его защищают, за него сражаются, но он не принимает участия в боях.

Чтобы подчеркнуть его аристократическую бездеятельность, женственность Хэйан и молодость героя, его и по сей день так изображают на сцене: ребенком — в торжественных пьесах Но, где его играет ко-ката — ребенок, девушкой — в разноцветности Кабуки, где его играет онна-гата. И на рисунках он тоже похож на девушку, даже на весьма вольных рисунках, изображающих его в объятиях многих женщин, включая несравненную Шизуку Гозен — его спутницу и соратницу, обычно одетую как юноша.

Но художник вынужден показать то, на что актер может лишь намекнуть, и чтобы напомнить нам, что это не девушка, а сам принц Иошицунэ — к его нежным членам пририсован огромный хер. Несмотря на полную обоснованность этого напоминания о мужском и стальном начале героя, жизнь принца была коротка, как срок сакуры под весенним ветром.

*На этом свете
Лишь цвет вишни
Сострадание поручику.
Весенний ветер.*

Мимолетен весенний ветер, недолговечен цвет вишни, быстро опадает он, осыпая цветом страну. Похож на ветер и цвет вишни был тот поручик, которого просит пожалеть поэт, — так называли принца Иошицунэ, подобно тому, как солдаты именovali Наполеона капралом. Его жизнь состояла из созерцания цветов и битв с врагами, а завершилась поражением и самоубийством в возрасте 30 лет. Поэтому третью строку четверостишия надо читать: милость к падшим.

В те годы два могучих воинственных клана боролись за власть в Японии: дом Тайра, или Хэйке, и дом Гэндзи, или Минамото. Отец Иошицунэ, Иошитомо, был главой клана Минамото, и особенно неудачливым. Когда Минамото атаковал Хэйке в первый раз, он не присоединился к нападавшим, потому что не верил в возможность победы. Иошитомо оказался прав — Хэйке разбили наголову взбунтовавшиеся Минамото и заставили Иошитомо доказать свою верность страшным способом — принести им голову зачинщика — своего отца. Он выполнил это требование, а через несколько лет сам встал во главе восстания против Хэйке. На этот раз он сам лишился головы. В «Повести о доме Тайра», рыцарском романе тех времен, говорится: «Один раз он был за Тайра, и те заставили его отрубить голову своему отцу, другой раз он был против Тайра, и они отрубили ему самому голову».

Победа Хэйке была полной — по сравнению с ней меркла власть старых аристократических родов. Ни Фудживара, ни Сога, ни Нодонобе не достигали такой пол-

ноты власти. Хэйке, как и их враги Гэндзи, были рыцарями-самураями, а не аристократами (хотя и те, и другие вели свой род от императоров), и их победа уже знаменовала начало конца аристократии. Однако Хэйке перебрались в столицу, в Мияко, и попытались стать новыми, и лучшими, аристократами.

Такой была их победа, что в те дни говорили: «Кто не Хэйке, тот не человек». Но победители проявляли милосердие по традиции Хэйана: они были последними победителями, не вырезавшими побежденных под корень. Сказителей и летописцев последующих веков, привыкших к новым нормам, поражало, что дети побежденных Гэндзи не были погребены живьем, а женщины не казнены.

Легенда объясняет это чарами овдовевшей Токивы, матери Иошицунэ. Она была так хороша собой, что победитель Киомори, глава клана Хэйке, сохранил жизнь детям Иошитомо в благодарность за ее милости. Токива вернулась в Столицу и там вышла замуж за придворного. Ее сын, маленький Иошицунэ (тогда он носил еще «детское имя» Ушивака-мару), был отдан в монастырь на горе Курама близ Киото с тем, чтоб он стал монахом. Его старший брат — от другой, главной жены Иошитомо — Иоритомо был сослан на восток в Ито, на полуостров Изу.

«Жизнь качнется вправо, качнувшись влево» — эти стихи русского поэта описывают последующие годы. Казалось, Минамото — в пыли и грязи, а Хэйке — на гребне славы. Но прошло лишь несколько лет, и дом Тайра рухнул, и падение его было полным и страшным. «Как пали Тайра!» — ахал не один японский поэт, вторя словам Давида на смерть Саула и Ионафана: «Как пали сильные!»

Последствия этого падения были гораздо более глубокими, чем можно было ожидать. Действительно, война между Гэндзи и Хэйке, японская война Алой и Белой Роз, воспетая в несчетных сказаниях и легендах, началась как обычная феодальная передрага, но обернулась Армагеддоном, гибелью старой японской придворной культуры Хэйана и возникновением Восточной столицы, Камакуры.

Поэтому рассказы, связанные с этой войной, лежат в основе по крайней мере четверти японских классических произведений, подобно европейскому Эль Сиду или Роланду. На русский переведена «Повесть о доме Тайра» и роман о Иошицунэ — но мы будем следовать циклу пьес *но*, связанных с его именем.

Первая из пьес о Иошицунэ начинается с его детства, когда, сын казненного вельможи, опальный принц рос в монастыре Курама. Сейчас до горы Курамы можно доехать на трамвае из Киото — короткая загородная прогулка, но тогда гора слыла «местом не столь отдаленным».

Восемьсот лет назад, чудным весенним днем, настоятель монастыря Курама вывел своих питомцев — юных принцев — на ханами. Курама не славится избытком сакуры, разглядеть ее трудно, она сединой поблескивает на темной голове горы, а добраться еще труднее — цветы растут в самой гуще. Тем трогательнее должна быть лужайка с цветущей сакурой на Кураме, найти ее — все равно что найти клад. Настоятель знал, где растет сакура, и именно туда он вывел своих питомцев. Но, выбравшись на полянку, они увидели, что под самым красивым деревом сидит грязный и оборванный старик. Демократический закон ханами:

*Увидел весенние цветы — можешь войти в сад.
Под цветами различия нет
меж князем и нищим, меж сыном и бродягой.
Таков обычай весны, —*

в стихах Бо Цзю И объясняет, почему старика нельзя было прогнать, как отгоняют муху, сидящую на картине. Человеку, проникнувшемуся духом ханами, как Исса, сказавший:

под цветами чужих не бывает, —

грязный старик не помешал бы, но монахам Курамы такие чувства были чужды. Они решили уйти сами. Только один маленький принц Ушивака-мару — Иошицунэ — остался на поляне.

*Страннику под вишней в цвету,
путнику в непогоду,
другу, любящемуся луной,
не закажи пути.*



Старик понял, что от него отвернулись, как от грязи, этим ясным весенним днем, он почувствовал в одиноком мальчишке близкую душу:

*Ты — как цветок в запретном саду,
Сакура зацветет и в будущем году,
но встретятся ли вновь два человека?*

Ушивака-мару был одинок — в монастыре Курамы учились сыны знатнейших родов страны, меж них и сын Кио-мори, главы рода Тайра.

*Его все обожают — и монахи, и дети,
им восхищаются, как сакурой в цвету,
а от меня отвернулись и цветы, и луна.*

Но старик утешил его:

*Ты сам как луна,
как луна Курамы,
скрытая за высокими деревьями.
Ты — сакура, что цветет в глухомани,
где никто не видит ее красоты.
Было б лучше, коль сакура в чаще зацвела б позднее,
когда отцветет сакура в других местах, тогда ее искали бы.*

Иными словами, жаль, что расцвет Иошицунэ выпадает на дни Тайра, что ему не дано повременить до тех пор, пока не осыплется цвет Тайра.

И тут грязный старик преображается — он приобретает свой подлинный облик и становится троллем горы Курама — *тенгу*. Тенгу, эти древнейшие духи или божества низшего порядка, сродни русским лешим или скандинавским троллям, но отличаются длиннейшим носом, сближающим их с Приапом (длинный нос тенгу больше похож на фаллос, чем на острый нос Буратино). Тенгу — духи гор и лесов — старше имперских и даже доимперских богов.

Вот он, подлинно японский апофеоз: тенгу, властитель горы Курама, не ведет мальчика к зарытому кладу, не оделяет его волшебным даром — он сажает его себе на плечи и летит с ним в непролазные заросли, в чащу, где цветет никем не виданная горная сакура,

Сакура, что цветет в глухомани, где никто не видит ее красоты.

Второй моей японской весной я растянул себе цветение сакуры на много недель, от первых лепестков под Токио до цветения храмов Киото, от безумия дикой *ямазакуры* на горе Иошино до поздней *яззакуры* о восьми лепестках в Наре и до зацветшей в мае вишни на берегу холодного Японского моря. Видел я сотни и тысячи паломников, собравшихся под этими странными бело-розовыми цветами на ханами, но лучшее ханами на свете было, наверно, ханами мальчишки в деревянных сандалиях и старого носатого лешего тенгу.

*Вспышка серебра на горе
озарит
грубый плащ старика,
деревянные сандалии мальчика.*

А затем тенгу горы Курама обучил юного принца владеть мечом — да так, что ему не было равных. Когда обучение закончилось, тенгу решил испытать Иошицунэ. Когда принц пришел на полянку, где его обычно ждал леший, он столкнулся с двумя лешенятами — маленькими, заносчивыми, задиристыми. Потом леший спросил принца, удалось ли ему справиться, и Иошицунэ ответил: «Прости, учитель, сначала я хотел разбить их наголову, чтобы похвастаться своим искусством, но затем я вспомнил, что это — твоя родня, и не побил их».

Его смирение покорило лешего. Ученик должен быть смиренным и покорным — учат китайские летописи. Китайская легенда — она тоже была превращена в пьесу *но* — говорит о Косеки, который хотел научиться бранному искусству. Учитель захотел испытать его терпение и уронил туфлю во время верховой прогулки. Косеки спешился и подал учителю туфлю. Учитель снова уронил туфлю, и Косеки снова спешился и подал туфлю. Когда они проезжали по мосту, учитель уронил

туфлю прямо в реку, кишащую драконами и чудищами. Но Косеки кинулся в реку и достал туфлю. Тогда учитель убедился в его смирении и обучил всем тайнам ремесла.

Так же поступил и тенгу — он научил Иошицунэ несравненно владеть мечом. На большой скале Иошицунэ сделал зарубку роста — метр сорок (она сохранилась и поныне), и бежал из монастыря. В одной из пьес рассказывается, что мальчишка Иошицунэ нанялся провожатым к купцу. Ночью на них напала знаменитая шайка разбойников «Белые волны». (Собственно говоря, многие шайки носили это имя — как в России пятидесятых годов в каждом городе была своя «Черная кошка».) Во главе «Белых волн» стоял Кумасака, несравненный фехтовальщик. Но Иошицунэ не дрогнул:

*Он раздвинул двери и ждал набега белых волн.
Как грохот белых волн о скалы их боевой клич.*

Разбойников потрясло это зрелище: проворный, как бабочка или птичка, двенадцатилетний мальчишка с коротким мечом отразил их нападение и в единоборстве сразил Кумасаку.

Его следующее памятное единоборство произошло уже в Столице. В д'артаньяновском порыве Иошицунэ решил сорвать сто плащей с прохожих на мосту Годжо. Из ночи в ночь он стоял на мосту и сражался с прохожими. По городу поползли слухи, что двенадцатилетний мальчишка с коротким мечом охраняет по ночам мост Годжо и никого не пропускает, не сорвав плаща.

Но вот его вызов был принят — мастер бранных искусств, огромный монах Мусаши Бенкей решил пойти ночью на мост и сразиться с ним. Слуга Бенкея попытался отговорить его:

— Этот странный гном, отродье эльфов, может причинить немалый вред подобным членам моего хозяина. Во всей столице никто не может сравниться мощью с этим чудищем.

Но Бенкей не послушался и пошел ночью на мост Годжо.

Киото сгорел почти целиком во время гражданских войн XV века, а то, что осталось — сожгли воинственные монахи с горы Хэй полвека спустя. Поэтому мало что осталось от периода Хэйан — дворец в Уджи, в 15 км от Столицы, да и все. Но и новые места, и новые улицы носят те же названия, что и в древности. Годжо — Пятая Улица — есть и в сегодняшнем Киото, и туристы задерживаются на построенном в прошлом веке мосту Годжо, показывая детям на место, где сражались Иошицунэ и Бенкей.

Между монахом и принцем разгорелся бой:

Легким взмахом меча он отбил лезвие секиры,

вновь и вновь бьет Бенкей —

вновь и вновь отражены его удары...

Тысячу раз они схватились,

наконец секира выпала из ослабевших рук Бенкея.

Изумленный монах спросил соперника:

— Кто ты, столь юный и хрупкий, но дерзостный и отважный?

И тот ответил:

— К чему скрывать? Я Минамото Иошицунэ.

Бенкей, узнав, что перед ним один из князей Гэндзи, поклялся в вечной верности, верности на три жизни, потому что связь между родителями и детьми — связь одной жизни, связь мужа и жены длится две жизни, но связь вассала и сеньора переживает три перевоплощения.

С тех пор Бенкей не расставался с Иошицунэ: двухметрового роста монах, родной брат Малютки Джона и монаха Тука робингудовых легенд, он всегда стоял на защите принца со своей огромной секирой. Бенкей — это символ феодальной верности. В более поздних легендах он полностью заслоняет собой Иошицунэ и погибает, чтобы дать принцу спокойно дочитать сутру перед смертью.

Вскоре после бегства Иошицунэ из монастыря его старший брат Иоритомо поднял мятеж против Хэйке, принц присоединился к восставшим и добился победы над Хэйке в двух судьбоносных морских баталиях у Яшимы и у Дан-но-Ура.

Если встреча Иошицунэ с тенгу Курамы проходила под знаком сакуры, его победа у Яшимы напоминает *момиджи-гари*, красоту листьев клена, плывущих по



реке. Хейке были в красных одеяниях, сторонники Иошицунэ — в белых. Оба цвета обыграны в легендах. Разбитые Хейке бросились бежать, увидев стаю журавлей, — они приняли белизну птиц за сверкание белых знамен Гэндзи. После победы Минамото море у Яшимы уподобилось осенней реке — красные стяги и мантии Тайра плыли, как листья клена, сорванные ветром.

Яшима — высокий плоский мыс на «Четвертом острове», Сикоку, на мысу — храм. Здесь происходит действие одной из самых грустных пьес о Иошицунэ. Как и большинство пьес *но*, она начинается с прибытия двух монахов на берег Яшимы. Они встречают солеваря и просят ночлега в его жалкой хижине. Он отказывает — в его хибарке нет места для гостей, но они просят снова: ведь они приплыли только что из столицы, Мияко, и не знают, куда идти. И тут солевар меняется, как будто упоминание Мияко преобразило его:

— Итак, вы из Мияко. Тогда оставайтесь — я тоскую по Мияко.

— Посмотри на журавлей — они летят в облаках в Мияко, — отвечает хор.

— Я тоже жил в Столице, — говорит солевар, и монахи понимают, что перед ними не простой рыбак. Монахи расспрашивают его о битве при Яшиме и он рассказывает:

— Ладьи Хейке стояли близ берега, Гэндзи расположились на песчаном берегу. В тот день Иошицунэ надел алую шелковую мантию и пурпурные доспехи. Он встал на стременах и выкликнул свой девиз. Как он был великолепен! На веках моих запечатлелся его образ.

И тут рассказчик оставляет обличие солеваря. Перед монахами — призрак Иошицунэ.

*Облетившие цветы не вернутся на дерево,
разбитое стекло не станет целым,
былого не воротить,
но я возвращаюсь к этому берегу.
Моя душа не знает покоя, не ей суждена нирвана,
как волны, я возвращаюсь к этому берегу.*

Иошицунэ пересказывает самый знаменитый эпизод битвы, показывающий его душу, душу очень молодого воина (в «Сказании о доме Тайра» этот эпизод дан в совсем иной версии, здесь, как и повсюду — версии пьес *но*):

— Иошицунэ уронил копье и его подхватила волна. Был час отлива и копье унесло вдаль, но он не хотел отдать копье врагу и поплыл на коне в море, близ ладей врагов. Те пытались зацепить копье багром, но Иошицунэ оттолкнул багор, схватил копье и вернулся на берег.

Канефуса упрекнул его:

хоть ваше копье и драгоценно,
не след рисковать из-за него жизнью.

Иошицунэ отвечивал:

— Я не думал о риске и о смерти,
но я все еще не снискал славы, и я боялся,
что враги посмеются над моим скромным копьем
и ослыжат меня за простоту его древка.

Победы при Яшиме и Дан-но-Ура завершили войну. Иошицунэ вступил в Мияко, и император присвоил ему высокий придворный ранг. Иоритомо оставался у себя в Камакуре. Он получил звание сегуна и принялся создавать подлинный центр власти на востоке. Заодно он приказал убить всех Хейке. Младенцы были утоплены или зарыты в землю живьем, дети постарше зарезаны. В Камакуре росли холмы из отрезанных голов. Иошицунэ, напротив, запретил своим солдатам грабить завоеванные города и избегал кровопролития.

После того как «внешние враги» были уничтожены, Иоритомо взял курс на уничтожение бывших соратников. В особенности он возненавидел младшего брата, победоносного Иошицунэ. Принц долгое время надеялся, что брат сердится на него лишь по недоразумению, и вместо того, чтобы двинуть на него полки, опальный командарм отправился на поклон к сегуну. Иоритомо даже не разрешил брату войти в свою столицу, в Камакуру.

Неподалеку от Камакуры стоит маленький храм Кошигэ — от него можно пешком дойти до прекрасного пляжа с белым песком. В храме Кошигэ сидел принц



и слал бесконечные письма брату Иоритомо, сидевшему в двух километрах от него. На письма не было ответа. И тогда Иошицунэ предпочел бежать, но не взбунтовался, не нарушил верности вассала и младшего брата.

Во время долгого бегства к самоубийству и гибели он остановился в храме на горе Иошино на свое последнее ханами. Верно сказал поэт:

*Песни бойцов
грустнее песен поэтов
на горе Иошино.*

Люди получают то, что просят. У императора Суинина, говорится в «Коджики», было два сына. Он спросил их, что им хочется больше всего.

— Я хочу лук со стрелами, — сказал старший.

— А я хочу стать императором, — сказал младший.

И император дал старшему лук со стрелами, а младшего сделал своим наследником. Царь Соломон просил мудрости, Иошицунэ просил умения владеть мечом. Ремесло солдата — грустная наука. Война — первоисточник творчества от Песни Деборы до Илиады. Но я согласен с японским поэтом — наверное, и на кургане Трои песни бойцов были грустнее песен поэтов.

Несколько пьес воспевают последнее ханами Иошицунэ на горе Иошино, и все они связаны с Шизукой Гозен, танцевавшей на веранде храма бога воды, под сенью цветущей сакуры. Но если первое ханами принца — на Кураме — было полно надежд, второе — на Иошино — уже носило в себе трагедию, предчувствие гибели, с которым неразрывно связан Иошицунэ.

Почему именно Иошицунэ, а не более удачливый воин, например, Иоритомо, стал национальным героем Японии? Ведь на Западе героем становится победитель, даже если он погибает, добиваясь победы. От Ахилла до Наполеона европейские герои — герои-победители. Специалист по Японии и лучший переводчик Сей Сёнагон, Айвэн Моррис, покончивший с собой на вершине блестящей карьеры, объяснял это специфическим японским «культулом неудачи». По его мнению, японцы любят поражение и потерпевших поражение героев, вроде Иошицунэ.

Его книга «Благородство неудачи» — одна из лучших книг о Японии. В ней, как в пантеоне, стоят образы трагических героев: борцов за императорскую власть во время сегуната, борцов против иностранного влияния при Мэйдзи и камикадзе, этих героев-самоубийц. Если бы в нашей традиции было бы что-то подобное, главным героем Библии оказался бы царь Саул или его сын Ионафан, а не победитель Давид. (Благородство поражения понимал Якир, пивший «за успех нашего безнадёжного дела».) И даже в недолгой карьере Иошицунэ японцы неизменно останавливаются на самой мрачной и безысходной полосе его жизни — бегстве на север.

Довольно долгое время принц скрывался в сердце Японии и даже бывал в Столице. Но Иоритомо не успокаивался — он посылал новые отряды своих солдат на поиски беглеца, и Иошицунэ пришлось продолжить свой путь. Он решил бежать на крайний север Японии, в полунезависимое княжество Ошю, которым владела северная ветвь Фудживара. Для этого надо было пересечь всю Японию. С принцем оставалось лишь несколько человек, когда он добрался до Японского моря, до залива Цуруга. Каждый этап пути Иошицунэ послужил материалом для пьес и баллад.

Залив Цуруга — место расставания Иошицунэ с Шизукой Гозен. По настоянию соратников принц отослал Шизуку, чтоб спасти ее от опасностей морского пути, и сколько она ни уговаривала его, ей пришлось отправиться обратно под защитой двух дружинников. Не успела отчалить ладья, как дружинники предали своего сеньора и отвели Шизуку в Камакуру, к Иоритомо.

В том же камакурском храме, где меня посвящали в таинства чайной церемонии, стоит малый павильон Вакамия — в нем танцевала Шизука Гозен перед Иоритомо и его подручными, танцевала и пела песни, восхвалявшие Иошицунэ. Ей недолго оставалось жить — в тюрьме в Камакуре она родила сына Иошицунэ, и по приказу Иоритомо новорожденному младенцу размозжили голову о камень на берегу моря. Шизука ушла в монастырь, где и умерла неполных двадцати лет от роду.

Не успела отчалить ладья Иошицунэ от берегов Цуруги, как приключилась беда: из моря поднялись утонувшие воины Хейке, те, кого он погубил при Дан-но-Ура, Яшима, Ичи-но-Дани. В панцирях, с мечами и копьями, призраки обрушились на ладью, стараясь потопить ее. Воины обнажили мечи, но Бенкей читал сутры, отгоняя



призраков. Под конец он взмахнул своей широкой секирой и они исчезли в море. По сей день японцы называют один вид крабов «воинами Хейке» и в фильме «Квайдан» крабы превращаются лунными ночами в рыцарей и пируют на берегу моря.

Разбитая ладья Иошицунэ пристала к берегу и беглецы продолжили свой путь пешком по берегу в сторону Каназавы. Побережье близ Каназавы холодное и полудикое, узка дорога на север, во владения князей, неподвластных Камакуре, с одной стороны — горы, с другой — море. На единственной дороге — застава Атаки.

На всех заставах была введена боевая готовность, а здесь в особенности: шпионы Иоритомо донесли о вероятном пути принца и даже о выбранной им и его спутниками маскировке — они намеревались пересечь заставу в облиции *ямабуши* — бродячих горных монахов, собирающих подаяния для своего монастыря. Командиром заставы был назначен князь Тогаши, особо преданный Иоритомо. Он всерьез отнесся к донесениям и за день до прихода дружины принца снес головы трем монахам *ямабуши*.

В последнюю минуту Бенкей, полностью доминирующий в пьесах про Атаку, решает одеть принца мальчишкой-носильщиком, «чтобы скрыть его благородный облик». Иошицунэ — его играет ко-ката, мальчик лет восьми — соглашается. На заставе у «монахов» требуют подтверждения их бона фиде: грамоту от монастыря, *канджинчо* (так называется пьеса «Атака» на сцене Кабуки). Бенкей не теряет, вынимает чистый белый свиток и начинает импровизировать *канджинчо*, грамоту, говорящую о заслугах, достоинствах и святости монастыря Тодайджи близ Нары и необходимости в дополнительных средствах для его перестройки.

На стражу это производит сильное впечатление, они «в страхе и с содроганьем дают им пройти». И когда путники уже были готовы тронуться в путь, один из стражников заметил нежную красоту Иошицунэ и закричал: это беглый принц! Но тут верный Бенкей засмеялся и ударил тростью носильщика, подгоняя его. И командир заставы сказал: «Нет, это не Иошицунэ, никогда вассал не посмел бы ударить своего сеньора». Действительно, страшнее греха, чем тот, что взял на душу Бенкей, нельзя было и придумать — никогда, ни в коем случае не должен был дружинник поднять руку на своего князя.

Легенда говорит, что командир заставы князь Тогаши узнал Иошицунэ, но, восхищенный преданностью Бенкея, совершившего страшный грех во имя принца, дал им пройти беспрепятственно. Тогаши пожертвовал своим долгом вассала Иоритомо во имя «милости к падшим», искренности (*макто*) и *моно-но аварэ*, туманного и основного японского понятия, которое Моррис переводит как «пафос вещей», Конрад — как «чувствительность или трогательность вещей».

Выпив вина со стражниками, Бенкей и Иошицунэ с друзьями продолжают свой путь, чувствуя, что как будто выбрались из гадючьего гнезда, как будто наступили тигру на хвост.

Такими словами, «тора-но-о», «Хвост тигра» назвал Куросава свой фильм, киноверсию «Атаки». Фильм был сделан в 1946 году и запрещен американскими оккупационными властями как «националистически-милитаристский».

*Запустение Атаки коснулось моего сердца.
Вдали снежные горы,
узкая дорога между холодным морем
и чахлыми соснами,
на краю света, вдали от Столицы.
Дай нам, Боже, такого комзаставы,
какого ты дал Иошицунэ в ту ночь.*

Последняя пристань, Голгофа крестного пути принца лежит на далеком севере Хонсю, в полутора километрах от высящегося и по сей день храма Чузонджи. Буддийская часовня Иошицунэ-до отмечает место, где стоял дом, построенный для него владыкой Ошю, Фудживарой Хидехирой, между рекой Коромо и замком.

Старый Хидехира, приютивший Иошицунэ, стал принцу вторым отцом — тем более что осиротевший в младенчестве Иошицунэ не знал своего настоящего отца. Когда Иоритомо потребовал выдачи Иошицунэ, Хидехира отказался наотрез. Иоритомо стал собирать войска — ему в любом случае хотелось уничтожить относительную независимость северных Фудживара. В это время умер девяностолетний Хиде-

хира, и его сыновья решили потрафить владетелю Камакуры, преподнеся ему драгоценный дар — голову Иошицунэ.

Вся армия Ошю — тридцать тысяч самураев — участвовала в штурме дома Иошицунэ, в котором находились девять защитников и молодая жена Иошицунэ. Рыцарский роман XIII века «Слово о Иошицунэ» рассказывает, как мужественно отбивались осажденные, как пал Бенкей, разя дружины врагов своей секирой, как последний защитник убил жену Иошицунэ и кинулся встречать смерть на поле брани, как Иошицунэ, не видевший среди нападавших достойных противников и не желавший дать низменным дикарям-северянам возможность хвалиться победой над ним, покончил с собой, читая сутры. Он совершил идеальное самоубийство воина — *сецуку* (харакири).

Его голова была отделена от тела, помещена в уксус для сохранности и доставлена в Камакуру на радость Иоритомо. Эта низкая измена не помогла сыновьям Хидехиры — Иоритомо все же напал на них, и меч Иошицунэ и секира Бенкея более не защищали их. Владетели Фудживара поплатились головами за доверие сегуну и выдачу гостя.

Но народ не хотел смириться с грустным концом — поэтому говорят, что Иоритомо был обманут, а Иошицунэ и Бенкей пересекли пролив и через Хоккайдо и Сахалин добрались до азиатского материка. Не прошло и нескольких лет, как Иошицунэ снискал себе новую славу — на этот раз под именем «потрясателя вселенной» Чингисхана. В подтверждение этого рассказа добавляют, что имя Иошицунэ, написанное иероглифами, можно прочесть «Чингихей» — почти «Чингисхан», и даже годы совпадают. По другой версии, Иошицунэ добрался до Китая и стал основателем Маньчжурской династии.

Но, видимо, несмотря на многие чудесные избавления, державный гнев Камакуры все же настиг принца в далеком северном замке, причислив его к лику святых мучеников. Через восемьсот лет я совершил паломничество по следам Иошицунэ — и увидел камень, на котором он отметил свой рост перед уходом с горы Курама на войну, мост, на котором он сражался с Бенкеем, берег, с которого он командовал битвой у Яшимы, залив Цуруги, где он отплыл в изгнание, храм у Камакуры, где он писал брату бесконечные письма, надеясь на примирение, террасу, с которой он созерцал цветы вместе с Шизукой Гозен на горе Иошино, заставу Атаки, где он наступил тигру на хвост, замок, где он совершил самоубийство — но так нигде и не повстречал похожего на девушку юношу с тонкими стальными запястьями и шелковой кожей, с легкой статью лейтенанта десантного батальона, бесшабашного и непокорного, но он, конечно, был в это время в другом месте.



«ДУХОВКА»

В «застойные» времена существовала в нашей компании традиция: первый гост был: «Духовность! Духовность! Духовность!» Троекратно повторенное, слово это придавало процессу выпивания несколько туманный, но, несомненно, возвышенный смысл. В него вкладывали разные значения, но причина была одна: желание вырваться из обыденности, найти свое истинное предназначение. Лишенная ярких красок, городская жизнь была пуста и скучна, а где-то там, за горизонтом открывались просторы, овеванные романтикой. В 1960-х годах романтической считалась профессия геолога, им посвящали песни знаменитые композиторы, а вскоре и сами они запели под гитару. В студенческих компаниях распевали «Все перекаты да перекаты...», и эти нехитрые слова манили подниматься в горы, сплавляться по рекам, петь у костра «а я еду за туманом, за туманом», а вернувшись в свои НИИ, почитать «самиздат», обсуждать политические новости и маршруты будущих походов. Так прошли три десятка лет, пока разом не кончились и застой, и НИИ, и самиздат, остались лишь туман, безработица и бескормица.

Иное дело странствия в духовных сферах, которые для простоты именовались просто «духовкой». Здесь путеводителями служили переводные брошюры о всякой всячине: оккультизме, гностицизме, астрологии, хиромантии, магии, йоге, буддизме, наполнявшие самиздат. За неимением более основательных сведений они были руководством к действию, и результаты не замедлили сказаться.

Однажды после выступления поэта Олега Охупкина его спросили:

— Вы, судя по стихам, христианин?

— Православный я, — с достоинством отвечал поэт.

— Вот это жалко, — огорчился слушатель. — Сейчас уже вся молодежь — буддисты.

— Неужели вся? — усомнился поэт.

— А вы приезжайте к нам в Калугу и сами убедитесь.

Известие, что вся калужская молодежь подалась в буддисты, было из разряда «новостей духовки», равно как повальное увлечение йогой по руководствам, почерпнутым из брошюр. Часами сидеть в «позе лотоса», медитировать, глядя на голубую вазу, пить воду через нос, стоять на голове — было известно, что это путь к духовному просветлению, и неопиты не скрывали своих достижений. Для непосвященных, при всем их почтении к просветлению, в этом было много новизны. Однажды в гости к знакомому приехали из Москвы два парня и девушка, практикующие Тантра йогу. Они объяснили хозяину, что выходят в астрал с помощью секса, а поскольку девица была одна на двоих, ей приходилось выходить в астрал в два раза чаще. В остальное время она до одури пугала хозяина, появляясь голышом, но в мотоциклетном шлеме, защищавшем ее бедную голову от напора космической энергии. Впрочем, в Питере хватало и своих оригиналов. Так, поборник просветления М. очень любил ходить в гости. Оказавшись за столом, он ставил перед собой две банки — пустую и



наполненную маслянистой травой, и, причмокивая, жевал траву, а разжеванное выплевывал в пустую банку. Остальные гости тут же теряли аппетит, а М. пояснял, что высасывает из растений животворную солнечную энергию. Насосавшись, он вставал на голову возле стены и стоял так до конца вечера. Гости мрачнели, но терпели, понимая, что это «духовка». М., безусловно, достиг просветления, поскольку впоследствии чудесным образом сплавил за границу скрипку Страдивари.

Запретные имена, идеи и мистические прозрения рубежа XIX—XX веков, сведения о недавнем, в сущности, прошлом приходилось собирать по крупицам, по редким упоминаниям, цитатам, комментариям, но искатели не жалели сил. В середине 1970-х годов я познакомилась с одной из таких искательниц, Ириной, которая приехала в Судак к ученицам Рудольфа Штайнера, поселившимся здесь полвека назад и уцелевшим в пору гонений на антропософов. А до этого, рассказывала Ирина, они несколько лет были сотрудницами Штайнера и, по слухам, сохранили записи его лекций и письма. Мы шли мимо виноградников и мазанок, свернули к блочному дому, и она сказала: «Похоже, это здесь».

Лестницу покрывал слой слежавшейся пыли, пыль была и на площадке перед дверью, в которую позвонила Ирина. Казалось, что в этом доме никто не живет, но дверь открыла маленькая, стриженная в скобку старушка и выжидающе смотрела на нас. Ирина поспешно сказала: «Здравствуйте, я вам писала, просила о встрече, и вы согласились». Женщина подумала и ответила: «Да, помню. Проходите в комнату, только разуйтесь». Мебель в комнате была, что называется, с бору по сосенке: обшарпанный канцелярский стол, кожаный диван, грубо сбитый стеллаж, напольные часы в футляре красного дерева и акварели на стенах. Из соседней комнаты вышла вторая старушка, они сели рядом, и стало заметно их сходство: хрупкие, блеклые, как ночные бабочки, с одинаковым, подчеркнуто внимательным выражением лиц. Они умели держать паузу, эти антропософские дамы, и Ирина смешалась и заговорила почти просительно. В Москве сейчас огромный интерес к антропософии, регулярно проводятся семинары, но проблема в нехватке литературы, особенно материалов, полученных из первых рук. Они несколько лет были рядом со Штайнером, слушали лекции и, возможно, сохранили конспекты, письма, записи — нельзя ли их посмотреть и что-то скопировать. Старушки вежливо улыбались, но не спешили отвечать, и Ирина сменила тему.

— Это у вас Волошин? — спросила она, указывая на акварели.

— Волошин, — эхом отозвались они.

— Вы были знакомы?

— Знакомы... Может быть, чаю?

Это прозвучало как вежливый отказ продолжать разговор, но Ирина не сдавалась. Конечно, их право распоряжаться архивом, но нужно думать о будущем, они немолоды, и что станет, когда... Они бегло переглянулись, и та, что открыла нам дверь, сказала: действительно, были и записи лекций, и письма Штайнера, и переписка с друзьями из Гётеанума, но все давно сожжено, хранить было слишком опасно.

— А по моим сведениям, — возразила Ирина, — несколько лет назад к вам приезжал человек из Германии и видел архив.

Услышав «по моим сведениям», старушки насторожились и медленно, почти по слогам, повторили, что все сожжено. Возможно, они приняли нас за гэбистов, а Ирина сделала последнюю ошибку, предложив купить архив. После этого нас попросили уйти, и мы вышли на пыльную улицу.

— Нет, вы видели! Они не понимают, что через год-другой все окажется на помойке! — возмущалась Ирина. — В принципе у них нет ничего ценного, только письма Штайнера, и будет ужасно, если они пропадут.

— Все-таки это их письма, и они вправе ими распорядиться, — заметила я.

— Да нет никаких прав, — с досадой сказала Ирина. — Они сами музейные экспонаты, какие у них могут быть права?

Я подумала, что эти хрупкие тени прошлого, возможно, и живут так долго, чтобы сохранять свое бедное сокровище, но оценить их доблесть уже некому. В конце улицы открывался вид на развалины древнего порта, византийскую базилику, генуэзскую крепость. За два тысячелетия здесь сменилось столько племен, наро-



дов, верований, событий, что энергия прошлого определяла нынешнюю жизнь. Судак связан с современностью не больше, чем генуэзская крепость с времянками возле стен, и белобрысые девочки, потомки послевоенных переселенцев, зовутся здесь Афродитами, Дианами или, на худой конец, Анжеликами. Случалось, что и обитатели санаториев, согрешившись и разнежившись, начинали ощущать дыхание древности и предавались странным фантазиям. Одно лето в Судаке прошло под знаком реинкарнаций: в доме наших друзей то и дело появлялись люди, помнившие свои прошлые рождения. Все они были вождями, королями, фараонами, феодалами, но почему-то особенно часто — Нефертити. Когда очередной «Нефертити», директор универсама, потя и нервно хихикая, живописал нескромные прихоти в его бытность женой фараона, мы решили, что реинкарнаций с нас довольно. Однако однажды я сама стала жертвой своеобразной реинкарнации.

В 1960-х годах заметное место в советской культуре занимали сюжеты об ученых, особенно о физиках, о них снимали фильмы, писали романы, и образы талантливых интеллектуалов были на редкость привлекательны. От них зависело будущее человечества, они с готовностью жертвовали собой во имя науки и были ослепительно остроумны. Обитали эти избранные в особых местах — академических городках, доступ в которые был открыт совсем не всякому, поэтому я удивилась, получив письмо из такого городка. Его автор, физик М-кий, прочел самиздатский сборник моих стихов и отзывался о них лестно. В следующих письмах он рассказывал то о концерте пианистки Марии Юдиной, то о встрече с актерами Театра на Таганке, то о фильмах, известных нам только по названиям, — у жителей академгородков были особые привилегии. Так длилось около года, пока не пришло письмо, которое я не поняла, хотя перечитала два раза. М-кий сообщал, что прочел мое новое сочинение и хотел бы кое-что уточнить. Например, почему я утверждаю, что Черчилль обитает на Сатурне за то, что пил и курил сигары, откуда эти сведения? И как быть с Пушкиным, который любил женщин и шампанское, неужели он тоже на Сатурне? Еще любопытнее ему показалось утверждение, что негры черные, потому что произошли от дьявола, а Гитлер был черным магом. Я читала и чувствовала, как подступает тошнота, и первая мысль была — «посадят». Почему, за что посадят, — не важно, с этим у властей не было затруднений. Странные вещи происходили и раньше: я получала письма, где на конверте были лишь название улицы и моя фамилия, а однажды открытку из Вены с текстом «Задание выполнил, как передать?» Приятель сообщал, что купил для меня лекарство, но, судя по датам, открытку изучали больше месяца. За Черчилля и Гитлера вряд ли посадят, а вот за негров вполне может быть, интернационалисты хреновы.

Но самым оскорбительным было то, что М-ский не усомнился в авторстве, хорошо же он обо мне думает. Отвечать я не стала и скоро нелепая история стала забываться.

Однако через несколько месяцев пришла бандероль с кипой машинописных страниц и письмом от М-кого. Он укорял себя за оплошность, он не заметил, что у меня и сочинительницы совпадают имя и фамилия, но отчества разные. Впрочем, он даже рад совпадению, потому что моя тетка замечательный человек, она психолог, эксперт в области паранормальных явлений, кроме того, она участвовала в программе подготовки космонавтов — очевидно, на случай их встречи с Черчиллем. Работа Е. И., которую он по ошибке приписал мне, создана под влиянием Блаватской и сочинений Фламариона о множестве обитаемых миров. Я не стала выяснять, кто такой Фламарион, и принялась за чтение ее собственного сочинения — пьесы, которую М-кий рекомендовал как лирико-философскую и просил прислать отзыв. О, какая тоска накрыла меня с первых страниц, какие горести школьных лет, казалось, давно забытые. У меня начисто отсутствовали способности к точным наукам, физика, астрономия, алгебра, геометрия, формулы, схемы не вмещались в мою голову и приводили в отчаяние. И сейчас я заново вспомнила серые обложки учебников и свои унижения и беспомощность.

Тетка моя была человеком ученым и героиню выбрала под статью себе — Гипатию Александрийскую, знаменитого философа, математика и астронома... Действие происходило на кровле Александрийской библиотеки, где Гипатия и Орест объясня-

лись в любви, то и дело сбиваясь на посторонние темы. Выглядело это примерно так: «Любимый, если косинус и синус...», затем следовал монолог о синусе и косинусе, Орест развивал тему, и, придя к согласию, они снова вспоминали о любви. Глядя на звезды, они рассуждали о строении Вселенной, перемежая сведения из учебников нежным воркованием «любимый мой», «божественная», что вызывало легкую оторопь. Затем появился отец Гипатии, завел разговор об астрономии, астрологии и прочих увлекательных вещах, но тут ворвалась толпа фанатиков-христиан, и несчастная Гипатия погибла от удара астрологией по голове.

Честно говоря, я жалела не только Гипатию, но и себя, потому что М-кий ждал отзыв, а написать, что и сочинение про Сатурн, и пьеса, и, вероятно, все остальное — претенциозный бред, было невежливо. Я написала письмо с вымученными похвалами, но М-кий, человек проницательный, разгадал уловку и ответил, что, судя по всему, я недостаточно внимательно прочла пьесу и не поняла глубину замысла. На том мы окончили диалог, потом я уехала в другую страну и потеряла его из виду, однако через несколько лет получила весточку. М-кий писал, что ушел из института, разочаровался в науке, потому что в ней нет понятия «духовность», а именно она определяет настоящее и будущее мира. Сейчас он занимается уфологией и паранормальными явлениями, много публикуется, читает лекции, и число его единомышленников неуклонно растет. Я не стала гадать, как духовность связана с летающими тарелками, потому что продолжение письма было еще интереснее. В прошлом году они с женой, известной мне Е. И., проводили исследования в Сызрани, и оказалось, что треть ее населения — пришельцы из этих самых тарелок! Под гипнозом они рассказывали о своей планете, о космических странствиях, а очнувшись, впали в отчаяние при виде знакомых улиц и блочных домов и со слезами умоляли отправить их обратно. Мне жалко этих бедняг, они ничего не знали ни о «духовке», ни о прочих соблазнах, за что же сводить их с ума?



В БОЛГАРИИ РУССКИЙ СОЛДАТ

*6 ноября на погосте села Налобиха, что в Косихинском районе Алтайского края, навечно упокоился Алексей Иванович Скурлатов. Ещё одной живой легендой в нашей жизни стало меньше. Как и **просто солдатом** Великой Отечественной войны, каким считал себя этот человек, известный, без преувеличения, всему миру по песне «Алёша» и одноимённому памятнику советскому воину в болгарском городе Пловдиве.*

Не знаю, как сейчас, но четверть века назад зал ожидания в здании вокзала станции Овчинниково отличался от сотен подобных ему на сибирских железных дорогах художественным полотном в золочёной раме, почти полностью занимавшим стену против окошечка кассы. На картине был изображён памятник солдату в распахнутой плащ-накидке, с опущенным автоматом в правой руке и обнажённой головой. На длинной и широкой лестнице, ведущей к пьедесталу, по-летнему одетые люди. Ближе к переднему плану — женщина, окружённая стайкой ребят, а прямо на зрителя спускается мужчина в скромном строгом костюме. Рослый, голубоглазый, уже в возрасте, но не очень похожий на каменного солдата.

«Скурлатов!» — всё же догадался я, приехавший к Алексею Ивановичу по командировке от журнала «Земля Сибирская, Дальневосточная». Главный редактор этого некогда очень популярного, но давно уже сгинувшего издания писатель Иван Фёдорович Петров напутствовал в путь-дорогу такими словами: «О Скурлатове, как о герое, уже писано-переписано, а ты с ним просто поговори — по-человечески...»

От станции Овчинниково до селения Налобиха, названного так по протекающей вблизи речушке, — рукой подать. Здесь Алексей Иванович родился и вырос, отсюда ушёл на войну, сюда и вернулся, награждённый за форсирование Днепра орденом Красной Звезды, а за солдатскую удаль — медалью «За отвагу». Поднимал целину, возглавив в родном Косихинском районе первую комсомольско-молодёжную бригаду, пахал и сеял, был признан заслуженным комбайнёром РСФСР...

— А как на пенсию по инвалидности прогнали — пошёл слесарем на Овчинниковский мотороремонтный завод, — привычно рассказывал Алексей Иванович. И разговора «по-человечески», наверное, не сложилось бы, не обмолвись тут я, что тоже слесарил на Омском агрегатном...

Скурлатов, видимо, родился в рубашке: и живой остался, и с первого боя не знал, что такое отступление. Освобождал и Клин, и город Белый, и Ржев, и Калинин, и сжимал, уничтожая в тисках, Демянскую группировку врага, покуда не получили его родные и близкие такое извещение:

«Ваш сын красноармеец Скурлатов Алексей Иванович в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, был убит 7 марта 1943 года и похоронен в деревне Верёвкино Старо-Русского района Ленинградской области...»



А месяца через два, когда его уже оплакали, — солдатский треугольник: «*Простите, что долго не писал. Меня немного контузило, отдыхаю в госпитале, а госпиталь в городе Осташкове...*»

До контузии, с которой Скурлатов промаялся в госпитале три месяца, он служил в особом лыжном батальоне пулеметчиков. Батальон входил в 250-ю стрелковую дивизию, позже ставшую Краснознамённой Бобруйской ордена Суворова II степени. В её составе 5 декабря 1941 года боец Скурлатов и принял первый бой под Москвой, у деревни Крюково, где теперь город Зеленоград, — это в сорока километрах от столицы.

— Про Крюково, где погибает взвод, есть песня. Знаешь? — спросил меня Алексей Иванович.

Я кивнул.

— Но это не про наш взвод, — сказал он. — Наш только наполовину выбило...

Из госпиталя Скурлатов уже не попал в своё соединение — направили командиром отделения разведки 234 артиллерийского полка 188-й стрелковой дивизии. Засекают огневые точки противника, начиная с пулемётных гнёзд и кончая батареями, обозначать ориентиры на вражеской территории для их последующего обстрела, наносить на карту абрис местности, где будут вестись бои, — это стало его непосредственной работой, военной, понятно.

Я рассматривал фотографии, слушая короткие, идущие точно из окопа, пояснения Алексея Ивановича, и с горечью осознавал, насколько оскудела талантами русская земля после войны. На войне, известно, первыми погибают лучшие из лучших. Этот вывод напрашивался сам собой, когда Скурлатов комментировал снимки с уцелевшими в жестокой сече однополчанами: «Это Владимир Александрович Кузнецов, и в Звёздном городке не было лучшего мастера по ЭВМ... А Николай Иннокентьевич Дубровицкий — старший научный сотрудник института атомной энергии, что в Томске...»

— Это тоже ученый? — вглядываюсь я в интеллигентное с седыми усами и усталым взглядом лицо. Снимок хоть и качественный, на хорошей бумаге, но явно любительский, а на его обороте вязь кириллицей: «На подарък Альёше за спомен».

— Нет, это Методи Витанов. Тогда, в сорок четвёртом, он, конечно, был моложе, — улыбнулся Скурлатов. — Митя, пусть не с нами, но тоже воевал, в подполье, в сопротивлении. Это мы так Методи между собой звали — Митя или Мефодий, — пояснил он. — И в Болгарии наш полк так и не расчехлил орудий, — уже полностью вернулся в прошлое Скурлатов, на глазах молодёжи. — Не было ни раненых, ни убитых. Не только у нас — по всему фронту...

Советских солдат засыпали цветами, зазывали в гости, выносили к запылённым колоннам блюда с виноградом, персиками, яблоками и, что скрывать, бутылки с ракией. «Из винограда, а крепкая», — сказал о болгарской водке, покосившись на жену, Алексей Иванович, но Мария Александровна будто не слышала.

Через Варну у Чёрного моря, Плевен и Стару-Загору дивизия двигалась на Пловдив, но никто ещё не знал, что война для них закончилась, последний бой отгремел ещё в Румынии, когда дивизия форсировала Дунай в районе Измаила. Была осень, но казалось, что вокруг весна — так кружил голову яблочный дух из почти сплошных садов на их пути. В Пловдиве Скурлатова откомандировали в роту связи капитана Калашникова. Восстанавливали порушенные телефонные и телеграфные коммуникации — постаралась дислоцирующаяся здесь часть СС, да и местные монархисты и фашиствующие молодчики не уставали гадить.

На новой службе Алексей сошёлся с Иваном и Михаилом. Они были старше, Иван вообще годился в отцы, но возрастом не кичились. Почтовый служащий, житель Пловдива Методи Витанов подружился с ними незаметно, но крепко, они, как говорится на Руси, стали «не разлей вода». Без Методи связисты были бы как без рук, поскольку, казалось, никто лучше него не знает города. На Митю или Мефодия он не обижался. Ему даже нравилось такое обращение. Смуглый, красивый, лет на пять старше Алексея, он, как и большинство болгар, по характеру был добрым, отзывчи-



вым и по-детски доверчивым с близкими ему людьми. А ещё очень образованным: не четыре класса за спиной, как у Скурлатова, — в университете учился. Несколько его коротких фраз — и оживали даже ничем вроде бы неприметные развалины. Богатая история Пловдива врывалась из прошлого в настоящее.

Пловдив разрушался доглат племенами готов. Вождь гуннов Атилла сравнивал его с землёй. Но эти места настолько благодатны, что возрождались даже из пепла. Город пережил византийское, а затем и пятивековое турецкое иго. Избавиться от кабалы помогла болгарам Россия. В 1877 году драгунский капитан российской армии Бурого, увлекая за собой эскадрон, переплыл студёную Марицу и на рысях первым ворвался в город, почётным гражданином которого Скурлатову, о чём он, естественно, слушая болгарского друга, не подозревал, предстояло стать. Здесь, в Пловдиве, на берегах Геброста, как в античные времена именовалась Марица, искал Орфей свою Эвридику. Пловдив — вторая столица Болгарии. А Болгария — колыбель славянской письменности. Болгарский и русский языки — языки-братья. «Вот почему нам нет нужды в переводчице, братушка», — обмолвился однажды Витанов. И спросил осторожно у Скурлатова: «А ты почему, Алёша, только четыре класса окончил?» — «Трудноди надо было зарабатывать, Митя...»

Водил Методи друзей и на Холм освободителей, откуда Пловдив виден, как с птичьего полёта. Холм венчал Русский памятник, поставленный в честь офицеров и нижних чинов, погибших в русско-турецкую войну. Другой, более известный, стоит на вершине Шипки. Здесь 30-тысячная турецкая армия во главе с Сулейман-пашой пыталась сбросить всего шеститысячный отряд генерала Столетова с перевала, чтобы занять проходы через Балканы, но за четыре месяца осады не продвинулась ни на метр... О подвиге на Шипке, правда, рассказывали политработники незадолго до перехода болгарской границы. О памятнике в Пловдиве они умолчали. Потому, наверное, что увенчан он внушительной фигурой царя Александра II. Но на постаменте выбиты названия лейб-гвардейских и армейских русских полков, бригад, батарей и отдельных команд, которые и принесли свободу стране...

Об этом почти неизвестном и в бывшем теперь Союзе памятнике Алексей Иванович вспомнил, услышав по радио песню об Алёше, который стоит над горою, но никак не сойти ему с высоты, потому что *«из камня его гимнастёрка, из камня его сапоги...»*.

Потом диктор сказала, что песню «Алёша» впервые исполнил Краснознамённый ансамбль песни и пляски имени Александрова. Стихи и музыка, написанные поэтом Ваншенкиным и композитором Колмановским, навеяны памятником Советской армии, высеченном из камня на Холме освободителей в Пловдиве. Каменного солдата-освободителя в Болгарии любовно называют Алёшей. У его подножия в любое время года всегда живые цветы. Памятник возводился два года и открыт 5 ноября 1957 года...

«Десять лет назад! А я и не знал... — сокрущённо подумал Алексей Иванович. — Наверное, как раз напротив Русского памятника “Алёшу” поставили», — мысленно прикинул он и услышал тихий плач жены.

— Что с тобой, Маша? — испугался Алексей Иванович.

— Выходит, ты меня обманул, Алёша, — плакала Мария Александровна. — Я-то думала, что война для тебя и вправду в Болгарии закончилась, а ты, получается, скрыл, что и там убивали. А ведь и тебя могли, как Алёшу, который из песни, убить. Что я тогда бы сейчас без тебя делала?!

— Это же песня, Маша, — принялся успокаивать жену Алексей Иванович. — А песня — песня и есть, в песне, может, и нельзя иначе, песня должна за душу хватать, сердце щемить...

Растрожила песня память, и Скурлатов всё чаще корил себя, что забыл он Ивана, Мишу, Методи, хотя и обещал писать после войны.

— А куда писать бы стал? — успокаивала теперь его жена. — Вы ж тогда и адресами-то не обменялись, на память молодую понадеялись, сам, вспомни-ка, сетовал... И не терзай себя. Не зря ведь говорят, что гора с горой не сходятся, а человек с человеком завсегда сойдутся. Сошлись же вы однажды с вашим Митей-Мефодием, так почему бы в другой раз не сойтись?..



Как в воду смотрела — весточку о себе Методи Витанов подал в 1972 году через журнал «Огонёк». В одном из его номеров было напечатано письмо-обращение к друзьям-связистам: «Откликнитесь, братушки, если живы!» И в этом письме Витанов рассказал о главном — почему к памятнику Советской Армии в Пловдиве прямо-таки прикипело имя Алёша.

Когда памятник только начал возводиться, Холм для Методи стал буквально вторым домом. Он проводил здесь каждую свободную минуту, выходные, помогая рабочим обтёсывать и подгонять камни постамента, разговаривая с архитекторами и скульпторами. Они понимали волнение и озабоченность почтового служащего, по его замечаниям внесли в проект даже некоторые изменения.

Об Алексее Методи вспоминал чаще, чем о других. Именно таким, как он, представлялся ему образ русского воина-освободителя, который со временем вознесётся над Пловдивом. И однажды он поймал себя на том, что машинально выводит пальцем на влажном от утренней росы камне его имя. На другой день Методи поднялся на Холм с банкой краски. «АЛША» — заалело на граните постамента. Рабочие, возводящие памятник, молча обступили надпись.

— Я забыл вам рассказать, — тихо сказал Методи, — что Алёша очень любил смотреть с Холма на наш город...

За два года строительства памятника надпись неоднократно освежалась, и к открытию монумента никто из пловдивцев его иначе уже и не называл, как Алёшей. «Алёша» стал легендой, олицетворением для болгар русского солдата, символом болгаро-советской дружбы. В одной из легенд об Алёше утверждалось, что он был первым солдатом, ступившим на болгарскую землю в сентябре 1944-го. В другой — что Алёша, рискуя жизнью, не дал фашистам угнать в неволю группу болгарских девушек. В третьей... Методи поведал истину, обыкновенную, казалось бы, житейскую историю на фоне войны, но это ничуть не умалило для болгар значения памятника. У каждого жителя Болгарии была своя встреча с русским солдатом, и имя «Алёша» стало для болгар нарицательным. А песня про Алёшу, несмотря на преувеличения её текста, сделалась в стране одной из самых любимых. Журналист радио Папазян перевёл её на болгарский язык, и песня стала гимном почти стольного града Пловдива.

«Знает ли об этом Алёша?» — спрашивал в письме Витанов. Фамилию Алёши он, к сожалению, забыл. Но что Алексей родом откуда-то из Сибири — помнил...

Журнал с письмом почтового служащего из Болгарии принёс на Овчинниковский мотороремонтный завод Андрей Усольцев, чтобы прочитать товарищам по работе, среди которых было немало фронтовиков. Слушал письмо и Алексей Иванович, тогда только начинавший работать на заводе слесарем-наладчиком. Военные ранения и тяготы всё-таки сказались, врачи перевели его на инвалидность, с трактором в колхозе пришлось на время расстаться, но без дела он жизни не представлял, поэтому уговорил директора принять его на завод рабочим.

— Никто, пусть случайно, не встречал этого Алёшу? — спросил, прочитав письмо, Андрей.

Никто, к сожалению, не встречал. Сибирь большая.

У Алексея Ивановича от волнения руки ходили ходуном. Он, тогда ещё курящий, не мог зажечь спичку, чтобы прикурить. Должно быть, изменилось и его лицо, потому что Усольцев обеспокоенно спросил:

— Что с вами, Алексей Иванович? Вам плохо?

— Нет, мне хорошо, — с трудом выговорил Скурлатов. — Столько лет... Жив, значит, Методи, помнит... — И сказал, собравшись: — Мы его Митей звали...

— Кого? — ничего не понимал Андрей.

— Методи Витанова, письмо которого ты сейчас прочитал, — ответил Алексей Иванович.

— Вы, выходит, и есть этот Алёша? — вытаращил глаза Андрей.

— Выходит, так, — вынужден был признаться Скурлатов.

— Ну и загнули же вы, Алексей Иванович! — рассмеялся Усольцев. — Алёша, во-первых, из Сибири, а мы, хоть и сибиряки, на Алтае живём. А во-вторых, что же вы раньше молчали?..



Трудно об этом писать, стыдно, но не поверили тогда Алексею Ивановичу. Мы частенько не отличаем правду от вымысла и верим чаще вымыслу, чем правде. Ложь, бывает, воспринимается нами как откровенность, а человеческая откровенность — ложью. На заводе посмеялись над будто бы выдумкой старого солдата, контуженного на войне, и забыли о ней. А ровно восемь лет спустя Андрею Усольцеву выпало отдыхать в Белокурихе — есть такой знаменитый курорт на Алтае. В комнате на двоих соседом оказался директор одной из школ Екатеринбургa, тогда ещё, понятно, Свердловска.

— Голубев, — протянул он руку Андрею.

Познакомились. Включили радио. А по радио исполняют песню «Алёша»:

*Белеет ли в поле пороша,
Иль гулкие ливни шумят,
Стоит над горою Алёша —
В Болгарии русский солдат.*

— Какой год уже с нашими ребятами из школьного клуба интернациональной дружбы ищем героя этой песни, — вздохнул Голубев, когда был пропет последний куплет, — а найти никак не можем.

— Ха! — воскликнул Усольцев. — Да я с этим Алёшей в одной бригаде вкалываю. Есть у нас такой Алексей Иванович Скурлатов — мужик хороший, справедливый, мастеровой, бывший фронтовик, да вот как узнал о письме насчёт Алёши в «Огоньке», бил себе в голову, что он этот Алёша и есть. Я его, конечно, одёрнул: перестань, мол, погибать. Он и перестал. Давно, правда, это было, больше он за Алёшу себя не выдаёт...

— Ой, парень, как бы тебе прощения не пришлось просить у этого человека, — остановил его Голубев. И попросил дать ему адрес Алексея Ивановича. Не верилось, что наконец-то попал на след, но и попытка не пытка. Очередная. За последние годы выходил он в поиске на многих людей, освобождавших Болгарию, а точнее — поддерживавших восставший народ, и их воспоминания о встречах с болгарами были схожи с воспоминаниями Витанова. Но отсылались в Болгарию фотографии с «президентом на Алёшу» — и возвращались обратно. «Нет, — отвечал Методи, — не этот братушка. Я Алёшу на всю жизнь запомнил, как и его друзей...»

Голубев списался с Алексеем Ивановичем, выпросил фотографию. И прилетела Скурлатову телеграмма из Пловдива: «Алёша!..»

Но обняться Алексею Ивановичу с Методи довелось лишь через ещё два долгих года, которые, конечно, в сравнении с разлукой почти в четыре десятилетия ничто. Болгария хоть и относилась к братской социалистической, но попасть в эту страну из советской глубинки было ох как непросто — всё-таки граница. Невидимая, но непробиваемая, казалась, стена встала между друзьями. Спасибо профсоюзному комитету мотороремонтного завода. Какими уж путями — неведомо, но удалось пробить для Скурлатова путёвку на горный болгарский курорт «Санданский».

И так совпало, что случилось это в год и почти день в день шестидесятилетия Алексея Ивановича. А родился он девятого августа. День освобождения Болгарии (сейчас, правда, уже отменённый) — 9 сентября. Тридцать восьмую годовщину своей свободы отмечал болгарский народ, когда Алексей Иванович ступил вновь, наконец, на болгарскую землю и был подхвачен праздником. Неделя, проведённая им в Пловдиве, была гораздо целебнее любого курорта. Встречу друзей в софийском аэропорту я не описываю, потому что описать ее невозможно, а фантазировать нет желания. Главное — встреча состоялась. Память то и дело возвращала помолодевших Алёшу и Методи в год 1944-й. Вспоминали Ивана и Мишу — живы ли? Методи неожиданно спросил:

— Как твоя рука, Алёша?

Пуля ударила в сорок втором, в бою под деревней Бяково, что в Ленинградской области. Осенью сорок четвёртого рука ещё прибалывала. Методи помнил всё. Но что рука! В том же бою были убиты известные всему фронту девушки-снайперы Поливанова и Ковшова. Почему он вдруг вспомнил о них, навсегда оставшихся молодыми? Может, из-за дочери Нелли и внука с внучкой, по-прежнему только обеща-

ющих вернуться из Магадана навсегда в Налобиху? Но это его боль — не надо перекладывать её на Методи. И вообще, память устроена странно — из Барнаула нёс его в Москву совершенно гражданский 35-й скорый, а он ощутил себя словно в эшелоне, составленном из теплушек, как было в декабре сорок первого. Из Москвы в Софию переносил современный Ту-154, но он измерил это расстояние точно ногами — так вдруг они заньли. А рука...

— Живая, как видишь, — показал он руку и выставил её затем в окно чёрной «Волги», несущей их из Софии в Пловдив, и упругий, пахнущий яблоками ветер будто пожал её.

— Ты и прежде так говорил, — сказал Методи. И тронул, грустно улыбнувшись, медаль «Ветеран труда» на груди друга: — За трудо-день?

— Трудодни у нас давно отменили, — сказал Алексей Иванович.

— И ещё много отменять нужно, — сказал Методи.

— Многое, — согласился с ним Алексей Иванович. — Кроме памяти.

С Холма освободителей, оберегая покой Пловдива, смотрел на них каменный Алёша...

В девяностые годы памятник Советской Армии в образе молодого русского солдата собирались снести. Но памятник устоял — пловдивцы встали на защиту Алёши грудью. Но люди не каменные, даже если они воплощены в камне при жизни, — в ночь на понедельник 4 ноября 2013 года Алексея Ивановича Скурлатова не стало. И уже не только от жителей Пловдива — от всего болгарского народа прислал на его могилу цветы Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в России Бойко Коцев. А мне, не поспевшему на похороны, вспомнилась под песню «Алёша» картина в зале ожидания станции Овчинниково — на прежнем ли она месте?



Владимир БОНДАРЕНКО

ПОДРОБНОСТИ ИНОГО БЫТИЯ

Поэзия Лидии Григорьевой — и впрямь на первый взгляд смотрится как прогулка по небесному саду. Сами названия ее книг подталкивают к такому почти молитвенному прочтению: «Сновидение в саду», «Звездный сад», «Перелетная стая садов», «Сумасшедший садовник»... Завораживает она своими радужными садами и критиков, потому названия статей о ее поэзии перекликаются друг с другом: у Владимира Яранцева «Принцип сада», у Султана Яшуркаева «Воспитание садом», у Ольги Кузьминой «Вечное цветение души»... И впрямь, кажется, что сад — ее образ жизни, сад и в реальном, земном воплощении, и в мистическом, небесном, и как философия жизни. Это и реальный уютный небольшой садик в доме под Лондоном, где мне не раз приходилось бывать, и непрерывное любование садом как прообразом Божьего мира в ее стихах, да и вся ее цветовая фотопоэзия на первый взгляд построена по принципу непрерывного цветения, отмирает один цветок, распускается другой... Но откуда же тогда берутся такие последовательные отречения от собственно сада? Есть сад, и нет сада. Что скрывается за садомаскировкой в поэзии Лидии Григорьевой?

**Как знакома мне эта телесная дрожь,
Призрак страсти усталой — несносен.
Сад проходит, как ливень;
Сад проходит, как дождь —
Осень...**

Что ищет поэтесса в своих садах, что хочет забыть, не одурманивает ли она сама себя запахами чуждых цветов? Но дурман рано или поздно проходит, и что же она видит? Зачем бродит она вдоль лиан и бамбука, в растительной глуши, да и в небесные, звездные сады зачем прорывается, от чего хочет укрыться?

**Вода колючей ряскою изрыта.
Я потому так долго здесь брожу,
Что дома ждет разбитое корыто...**

Все ее сады — это ее побег из руин дома. Вот потому, мне кажется, и остается часто она незамеченной среди равных ей по таланту сверстников. Вроде бы тянутся к ней любители пейзажной поэзии, но что-то останавливает, что-то пугает, цветы, распустившиеся и чудно пахнувшие, вдруг исчезают, проваливаясь прямо-таки в зловещую пустоту. Что это за клумба, которая внезапно зарастает бурьяном? Только принохаешься к удивительному цветку, а перед тобой — руина, и ты стоишь над развалинами своего божества. Какому любителю садовой поэзии всерьез понравится такой «сумасшедший садовник»? И потому традиционно на любом поэтическом фестивале в любой стране мира поначалу Лидию Григорьеву обхаживают любители гламурной цветочной красоты, оранжерейные любители поэзии, но, уткнувшись раз-другой в руины и миражи ее садов, быстренько от нее отворачиваются. В пантеон цариц дамской утонченной поэзии Лидия Григорьева никак не входит, не допускается.

Но эти же дурманящие запахи распустившихся цветов, эти перечисления садов цветущих, лепестков роз, русских гербариев, грецких орехов и даже плачущих, тоскующих садов и садовых сновидений приостанавливают интерес к ее поэзии у копателей поэтических глубин и критических открывателей метафизических истин, отталкивают приверженцев поэтической социальности и психологизма. Они часто притормаживают, боясь приблизиться к садовым решеткам ее поэзии. Останавливаются за сто метров, часто размениваясь на куда более мелкие поэтические явления.

Критик должен быть терпелив и настойчив, читатель должен чувствовать и слово, и смысл, дабы осознать глубоко трагическое и драматическое явление Лидии Григорьевой. Иногда и в самых причесанных ее садах творятся самые загадочные и мистические события, открывается такая правда человеческого характера и самого человеческого суще-

жизнь, везде, куда бы ее ни заносила судьба: Луганск, Краснодар, Казань, Карпаты, Москва, Лондон, Венеция...

**Пока отец летел над океаном
В нетающих небесно-синих льдах,
Созвездия лазурных незабудок
В полярный день
На небосвод всходили,
Чтоб в пустоте зияющей — сиять...**

Так что все ее незабудки, розы и сады — зияют в пустоте бездны. И как бы плотно ни высаживала Лидия ряды своих цветов, как бы ни заслонялась от смерти и болезней дурманом их аромата, трагичность налетала на нее внезапно, как ураган, сумеречная тьма, и уже в юности появляются такие знаменательные строчки: «Шестнадцать лет, шестнадцать лет. А смерти нет, а смерти нет». И это не поэтический абсурд нынешних постмодернистов, а ее поэтическое прозрение и предвидение. Она бежит по жизни в поисках своего дома по всей стране: Заполярье, Казань, Поволжье, Москва, по всему миру — Венеция, Иерусалим, Лондон, она собирает для подтверждения своей реальной и поэтической жизни подробности бытия, своего, народного, всечеловеческого, а за ней по пятам бежит «быстрая собака скорой смерти». Так уж получилось, что Лидия Григорьева изначально оказалась словно бы лишена своего дома, своего убежища, из Заполярья уехали с мамой после гибели отца, затем временные убежища по разным городам, работа на Чукотке, учеба в Казани.

Казалось бы, дом обретен, есть любящий талантливый муж, что само по себе редкость. Все мы помним скоропалительные браки Гумилева с Ахматовой, Евтушенко с Ахмадулиной, и как некое исключение — брак Лидии с Равилем Бухараевым, одним из лучших поэтов второй половины XX века. Вот он — и покой, и дом, и любимый сын. Стихи обретают свою спокойную зрелость, гармоничность, как-то отходит в сторону и тема садов. Лидия смело выходит за ограду своего сада, и небесного, и земного. Беспокойное кочевание притормаживается, приходит тоска по дому, приходит на смену увлечениям и страстям пора большой любви.

**Со стороны виднее, скажет
сторонний круче,
Он не занизит градус, ежели не соврет:
Был молодой любовник,
яростный и могучий,
Родственник стал и кровник,
и долгой любви оплот...**

Вместо блуждания в Бездне — ощущение в себе покоя и единства, глоток свежего воздуха. Стихи как бы остепенились, изредка

выстраивая себе праздники любви, праздники скитаний, праздники осознанного Бытия. Вот тогда-то и приходит погружение в подробности этого Бытия. Лишенные, может быть, эффектного блеска, карнавальности и безумия. Тут уже слышно, как дождь стучит по крыше, видно, как ветер гонит сырую листву не где-нибудь, а по Тверскому бульвару, видны и мокрые скамейки, как в замедленной съемке видим полет бабочки и цветение папоротника. Блаженство духа и плоти продолжается и в Венгрии, и в Лондоне. И над ними пела живая скрипка, а следом цыганский хор. Летние гульбища юных славан уже только в видениях поэтессы. А безумие садов осталось как бы уже на холстах таможенника Анри Руссо среди помпезных вычурных бутонов. Почему бы и не понаслаждаться дворцом творений поэтов и художников, когда «от пряных испарений и от любви кружится голова»...

Даже в пригороде Лондона, где одновременно появилась и оседлость, и неизбывная тоска по родине: «Увы, нам, милый! Как ни ерепенся — ни англичане мы, ни европейцы...», в стихах чередуются земли богатое убранство и «в чужом пиру похмелье». Летают сиятельные птицы, вокруг изобилие сластей житейских, а сердце плачет («только ежик свернулся и спит, только сердце прснулось и плачет...»), но жизнь идет, и избранник спит, как великан, разметавшись от горизонта до горизонта. Но уже порядком надоели бесконечные пространственные и духовные скитания.

**Жить, хоть в хорамах,
Хоть в лебеде,
Только бы дома,
А не везде...**

И вдруг новая черная Бездна накрыла их двоих. И первая мысль: выжил бы ее земной и родной печальник:

**В душе свинец расплавленный застыл,
В саду моем разор и окаянство.
А для того, кто так меня любил,
Я вымолю и время, и пространство.**

**Мы вместе одолели путь земной,
Который стал и чужд, и непосилен...**

Детство и юность, первые прозрения в поэзии под знаком смерти отца, зрелость совпала с трагической гибелью сына. Это тоже страшнейшие подробности житейского Бытия поэтессы Лидии Григорьевой. И прямой вопрос с неба: «Мама, зачем ты живешь, если меня уже нет?» Отвечать нечем. Только стихами, только небесными садами.

**Я вошла, а ты не дышишь.
Я молюсь, а Ты не слышишь...
Я стою, не упадаю,
Жизнь погибшую листаю
До последнего листочка...
Ты куда забрал сыночка?
Укажи мне этот путь,
Дай понять, обнять, взглянуть...**

Встреча их уже впереди, в вечности золотой. А здесь, уже как кладбищенские узоры, как цветник на могилах близких — расцветшие сады. И сколько бы их ни было, этих дурманящих цветов и садов, это все сновидение в кладбищенском саду о вечной жизни возродившихся своих близких — отца, сына, родины.

**Я отмеряю жизнь по странной мерке:
Как чертик из старинной табакерки,
Вдруг выпрыгнет наружу слово
«смерть».
«Не смей, — я говорю ему. —
Не смей!»**

И все сады становятся памятью о смерти, становятся подробностями иного Бытия. Вот тогда и открывается путь в поэзии Лидии Григорьевой от пейзажного сада — к саду печали и смирения. Сад становится как бы монастырским обетом Лидии Григорьевой, поручением, данным ей сверху, от Бога. Тогда сливаются в одно пространство и все колотые раны ее временных обиталищ, раскинутых по всей земле. Ее фотопозция объединяет венецианские карнавалы, восточные базары, иерусалимские пещеры — это всего лишь «заснеженный вид красивый», которым она окружает память о близких: «Приеду побыть с тобой, сын мой неугасимый». Это уже ее поэзия позднего созревания. И как признает сама Лидия Григорьева: «Зимнее яблоко — не бывает сладким». Любителям сладкоречивых стихов в ее поэзии нечего делать. Самый яркий и красочный ее «цветовой поток сияет изнутри / И освещает темень». И убиваться нельзя, большой грех. Вот и остается быть сумасшедшим садовником на могилах дорогих ей людей.

**Изопью водички.
Заблужусь в лесах.
Помяните, птицы,
Сына в небесах...**

Наивная правда ее с виду кружевных стихов граничит с прямой речью пророков. Она всю свою жизнь творила сама, и возносила вместе с нею, и падала в Бездну. Кто хочет и сегодня прочитать книгу откровений и сокровений, не бойтесь чарующей красоты ее стихов, за ними боль жизни, за ними маска смерти. Как родилась на хуторе Лы-

сом, в гоголевских местах, под звездным шатром, так и тянет ее всю жизнь к этому звездному саду.

**Когда я стану беднее бедного,
Когда я стану бледнее бледного,
Не хлопочите, не причитайте,
Но перечтите, но — прочитайте!**

Это было написано ею в двадцать лет, с полным осознанием возможной непрочитанности. Опасное предсказание, к счастью, не сбылось.

P.S.

И вот трагический круг поэзии Лидии Григорьевой замкнулся. В начале 2012 года, раньше времени, на пике своего творчества, скорострительно скончался ее любимый муж, яркий русский поэт, прозаик, драматург, историк Равиль Бухараев. Отец, сын, муж — три богатыря, три ярких личности, три крепких мужчины один за другим на глазах у поэтессы уходили в мир иной. Какая-то предопределенность трагической судьбы. А ведь написал задолго до ухода Равиль строчки, ставшие пророческими: «Когда уйду в казанские снега, мы разглядим друг друга в свете Бога...» И еще:

**Да разве не жаль, что я раньше умру,
Едва разглядев Бога ради,
Как сердце щемит на английском
ветру**

Твои золотистые пряди...

В 1977 году у него вышла первая книжка стихов в Казани «Яблоко, привязанное к ветке», и я в «Литературной России» написал первые заметки о нем. С тех пор и дружим. Он переехал сначала в Москву, потом в Лондон, где я у него частенько бывал. Но всегда оставался ярким и сильным русским поэтом. Он любил свой Татарстан, но перейти в поэзии на татарский язык так и не смог. Так же как Бродский не смог перейти на английский. Он завещал похоронить себя на родине в Казани. Лидия выполнила его завещание. Из Лондона тело поэта самолетом доставили в Москву. А потом спецрейсом повезли в Казань на машине через всю морозную Россию. Такую биографию выдумать нельзя, ее пишет сама судьба. В последний путь Равиля провожала вся казанская элита. Очень теплое слово сказал Минтимер Шаймиев. Поэта достойно проводили... Но что делать теперь вдове и подруге поэта? Еще глубже удалиться в свои фотопозитивские сады? Книжные сады, природные сады, космические сады. В мироздание сада, где светит солнце живых, а не мертвых.

ВСЕГДА НА «ПОСТУ»

К юбилею Александра Лейфера

Новосибирск без Омска, как Москва без Петербурга — друг без друга непредставимы эти две столицы большого ЗапСибкрая. Омск старше, историчнее, мудрее, там были Н. Ядринцев и Г. Потанин, А. Сорокин и А. Новоселов, Г. Вяткин и Ф. Березовский, Л. Мартынов и П. Васильев, без которых наших «Сибирских огней» точно не было бы. По крайней мере, таких, какими мы их знаем.

Есть у этого чудного города на Иртыше и Александр Лейфер — литератор в том смысле этого благородного слова, который предполагает профессию и состояние души, долг и призвание, служение. Все то, что когда-то так потрясло его в знаменитом омиче Петре Драверте — человеке-университете, сибирском Ломоносове начала XX века. А. Лейферу достаточно было увидеть «Библиотеку П. Драверта» в омской «Пушкинке», ее невероятное разнообразие книг — от философии до математики и палеонтологии, чтобы появилась сначала папка с материалами, а затем книга о владельце этой библиотеки, о «загадочной фигуре» сибирской науки. И словесности тоже, ибо П. Драверт имел редкий дар сочетать в себе ученого и поэта, науку и литературу, настоящую, вдохновенную.

И вряд ли молодой журналист-газетчик, десять лет отдавший своей первой книге, стал бы писать о человеке, чуждом ему по духу. Этот «дух» П. Драверта, считавшего, что «писатели недалекого будущего обязательно должны пройти через горнило естественных наук», с тех пор и сопровождает А. Лейфера. Написанная двадцать семь лет спустя книга об А. Горбане — ученом широкого физико-математического профиля, прошед-

шем путь от «диссидента» (в пятнадцать лет выступил с политическими лозунгами и был отрешен от науки) до крупного специалиста, работающего на стыке наук («нейроинформатика», «игротехника», «математическая теория эволюции»), человеке, который «талантливее Ландау», подтверждает это. «Разгадать замысел Бога...» — это ведь не только название книги о нем 2006 г., но и кредо и ученого, и писателя, и любого настоящего творческого человека. Как и название книги о П. Драверте — «Сибири не изменю!», столь же знаковое для А. Лейфера, человека и писателя твердых правил, сдержанного, не празднословного, знающего цену словам. Поэтому, наверное, его книги так невелики по объему, не достигают и трехсот страниц. И еще потому, что с того 1979 г., с «дравертовской» еще книги, у него выработалось кредо писателя, работающего в документальном жанре и утвержденное в книге «горбаневской»: «Мне как литератору всегда кажется, что живой документ или чье-то меткое наблюдение ярче высветят описываемые события, чем его пересказ или авторские рассуждения по этому поводу».

Не зря даже такая сравнительно цельная книга, как «Разгадать замысел...», названа «повестью-мозаикой», а другая — о поэте Вильяме Озолине «Мой Вильям» — «эпизодами литературной жизни». Это, пожалуй, самая известная и задушевная книга А. Лейфера, печатавшаяся в начале 2000-х гг. и в «Сибирских огнях», самая «недокументальная», хотя процентов на восемьдесят состоит из писем, газетных статей, дневниковых записей. Просто потому, что она о поэте «чистом», без той «ученой» ипостаси, кото-

рая так важна для А. Лейфера-документалиста. «Энциклопедизм» здесь другого рода, смысла и качества — человеческого, насколько человеческими, т. е. братскими, кровными, могут быть отношения между писателями.

В. Озолин сделал, казалось, невозможное, сдружив писателей от Омска до Читы, сблизив их творчески и лично до степени неформального союза. Или, как пишет А. Лейфер, со слов одного из таких «братьев», Р. Добровенского, до «необъявленного содружества литераторов-сибиряков», из которого В. Озолин сделал «культ, легенду». Р. Солнцев и Р. Филиппов, М. Сергеев и Н. Самохин, А. Кобенков и М. Вишняков, Е. Раппопорт и И. Фоянков, М. Малиновский и Г. Граубин... Для В. Озолина и «сдружества» они попросту Рома, Слава, Коля, Толя, Женя... В начале 70-х и А. Лейфер стал Сашей, расширил, благодаря «моряку и поэту» В. Озолину, свои «литературные знакомства и в географическом (Новосибирск, Красноярск, Иркутск), и — что, разумеется, главное — в человеческом смысле», — пишет он в «Моем Вильяме».

Обаянию этого непоседливого и жизнерадостного человека с большими глазами и талантом, одна из первых книг которого называлась «Песня для матросской гитары» (1972), трудно было не поддаться. Потому что В. Озолин был, может быть, самым ярким и «типичным» «шестидесятником» в Сибири, в биографии которого были и расстрелянный в 30-е гг. отец, и клеймо «сына репрессированного», и романтические профессии матроса на речном, а затем океанском судне, и журналиста на Ямале, и экспедиции в Горную Шорию и на Памир, и даже «украденная невеста» (увел жену у комсомольского ответработника), не говоря уже об учебе в Литинституте, работе на Омском ТВ и резком неприятии всего «совкового», замшелого. Главное же, что он был поэтом: для 60-х — основная «профессия», даже если формально ты не поэт. В. Озолин был тем, в ком «личность» была неотделима от его стихов, а сам он — «сплошная эмоция, сплошной темперамент», — писал в предисловии к первой книге поэта «сам» И. Сельвинский. Кстати, обложка этого первого сборника стихов В. Озолина 1966 г. «Окно на Север» со стопроцентной точностью повторяется в обложке книги А. Лейфера «Мой Вильям», второе издание которой включает в себя приличную подборку стихов поэта. Не устоял

писатель-документалист перед лирическим напором своего рано ушедшего друга, взывавшего к своим собратьям: «Звоните “ноль-три”: / Я примчусь, я приеду — / Звоните! / На сборы мне только секунды нужны».

Это «шестидесятничество», может быть, не столь горячее, видно и у А. Лейфера. И если В. Озолин терзался «двумя натурами-дурами», стремившимися как-то «поделить» его «Я», т. к. «одна — из огня, / А другая — как лед, холодна!», то А. Лейферу, «шестидесятнику позднему», их удалось примирить. Иначе не воплотилась бы в книгу такая значимая для него тема, как омский Ф. Достоевский. Не зря В. Озолин еще в 1981 г. шуточно приветствовал своего друга в письме: «Сашка, бармалей музейный!» Ибо книга эта, 1996-го года, «музейная» настолько же, насколько и личная, о личном отношении к классику, на пять лет оказавшемуся омичом. И называется она соответственно: «Вокруг Достоевского», с той же композицией «мозаики» «живых документов», которая наилучшим образом скажет об их герое, а также и о самом «собирателе мозаики», мечтающем о невозможном. Например, найти иллюстрации М. Знаменского к «Запискам из Мертвого дома» («Надо искать!» — заключает он эту главу о художнике XIX в.) или вернуть автограф «Записок...», увезенный в Америку сомнительным достоевсковедом. И больше всего ценит А. Лейфер письма — как самые «живые» свидетельства и характеристики героев своих книг, будь то П. Драверт, В. Озолин или Ф. Достоевский. Одно из них — письмо Достоевского Каткову (11.01.1858 г.) о том, что «роман мой я задумал (еще) на досуге, во время пребывания моего в Омске» — комментируется кратко-восклицательно: «На досуге!».

Из таких вот сдержанно-лаконичных и точных комментариев-откликов на события и явления текущие и минувшие, на книжные новинки, из «штрихов к портретам» людей близких и дальних, известных широко и не очень, и родилась потом книга «Блог-пост, или Кровь событий» (2012), которую можно назвать самой «лейферовской». Писатель здесь не скован обязанностью писать об одном человеке, пусть и «вокруг» него. Тут он волен сам выбирать темы, дозировать факты и комментарии. Этот, по сути, дневник, который в компьютерной субкультуре принято называть «блогом», А. Лейферу пришелся весьма по нраву за «постоянную воз-

возможность свободно, без всякой оглядки на цензуру и начальство, высказываться», — признается он. Книга хорошо читается еще и потому, что она автобиографична. Она — «вокруг Лейфера», написанная самим Лейфером, и, вслед за вступительным автобиографическим очерком, здесь о ее главном герое говорят и 17-я омская школа, где он учился, и Т. Белозеров с И. Токаревым, которых знал лично и книжно, и просталинская книга «200 мифов о Сталине» с последующей антисталинской отповедью при помощи школьных сочинений, и писательская, почти «озолинская» по своей эмоциональности, книга актера Н. Чиндяйкина.

Название этого «поста», т. е. главки о книге Н. Чиндяйкина повторяет второе заглавие книги А. Лейфера — «Кровь событий». И является ключевым для него — журналиста, писателя, документалиста, человекаведа. Тот, кто умеет остановить, запечатлеть «нечто неостановимое — само Время», написать книгу, где «запеклась кровь событий», является для А. Лейфера настоящим писателем. Это же полюбившееся ему выражение А. Герцена можно увидеть и в книге «Сибирь не изменю!», и в названии одной из главок «Вокруг Достоевского», где оно относится к письмам — как помогающим лучше других документов «понять суть человеческих взаимоотношений, заглянуть в давно прошедшее», письмам — как самому «интимному» документальному жанру. А. Лейфер тут «кровожаден» в самом лучшем, необходимом смысле этого слова, зато мало найдется собратьев-сочинителей, кого нельзя было бы уличить в литературщине — худшем из видов бескровия в литературе.

Не назовешь А. Лейфера и чистым «краеведом», хотя Омск для него не просто постоянная, неизбежная тема его книг и статей, а подлинная святыня (слово, пожалуй, не из лексикона А. Лейфера). Он из писателей *провинциальных* — а этого слова он совершенно не стесняется, — которые только благодаря провинции и приобретают точку зрения, точку опоры, способную обеспечить незамутненный взгляд на остальной мир. Дать, в конце концов, мировоззрение, ибо главные гении и их произведения родились отнюдь не в столицах, а где-нибудь подальше от них. Пятьдесят лет профессиональной работы в печати, отмеченные в прошлом году, и нынешний юбилей дают Александру Эрахмизовичу право об этом говорить. В конечном итоге он просто исполняет завет героя своей первой книги: «Решил работать лишь в провинции, находя, что нехорошо лишать благодарного читателя слова, к которому он привык».

Спустя почти сто лет и А. Лейфер мог бы повторить эти слова П. Драверта. К слову автора «Моего Вильяма» и «Блог-поста» мы уже, действительно, привыкли. Как привыкли и к редактируемой им «Складчине», продолжающей благое дело «содружества литераторов-сибиряков», так точно выразившееся в удачном названии этого альманаха, в котором нет деления на СРП и СПР (Союз российских писателей и Союз писателей России). Желаем нашему коллеге и давнему автору «Сибирских огней» и дальше быть на «посту» — на работе документальной и публицистической, «бумажной» и виртуальной. Ее в нашей литературе по-прежнему много. Как и семьдесят лет назад.



КНИЖНАЯ ПОЛКА

НЕ БОЯТЬСЯ БЫТЬ БОЛЬШИМ

Поляков Ю. Гипсовый трубоч. — М., АСТ, 2013.

Проще всего было бы назвать этот немалый текст сатирой на корыстолюбие и гедонизм «хозяев жизни» и апатию и мелкодушные аутсайдеров жизни. Но настоящая сатира никогда не была одномерной, простым фельетонным зубоскальством. В России же это всегда был «смех сквозь слезы», художественное исследование душ не мертвых, а кающихся, совестливых. Так что и сатирическими-то назвать такие произведения нельзя, даже если на это все указывает.

В романе Юрия Полякова «Гипсовый трубоч» на это указывает многое. В первую очередь фигура главного героя Кокотова, в самой фамилии которого звучит что-то легкомысленно-поверхностное и одновременно расчетливо-авантюрное: два «ко-» здесь — как два «чи-» у героя гоголевских «Мертвых душ». И действительно, выходец из простонародной семьи, вдруг почувствовавший тягу к сочинительству, в кризисные годы он начинает стряпать пошлые «женские романы» под псевдонимами Аннабель Ли, Пэт Сэлиндж и т. д. для серии «Лабиринты страсти» исключительно ради денег. Отчетливо при этом сознавая всю чудовищность сочиненной лит. продукции, губительной и для читающей публики, и для себя как писателя и человека.

Опустошение и самопоругание неизбежно привели бы конъюнктурщика к алкоголизму и гибели, если бы не «Гипсовый трубоч». Написанный Кокотовым в лучшие часы жизни, этот честный рассказ его и спасает: режиссер Жарынин приглашает его писать совместный сценарий для своего фильма именно на основе «Трубоча». Этот сюжетный ход предопределил судьбу не только бедного Кокотова, но и всего романа, более чем 1000-страничного его текста. Ибо сценарий совсем не то, что роман и лит. проза вообще. Как объясняет сам автор в послесловии, его не пишут, а «набалтывают», «на-

говаривают, наборматывают». Звучит, конечно, не очень симпатично, даже самообличительно: не бросает ли писатель тем самым недоброжелательной критике кость-подсказку, что роман несерьезен, излишне «болтлив», перегружен побочным материалом — рассказами, байками, анекдотами и прочей второстепенностью?

Но Ю. Поляков не побоялся этой «кости», сознавая, что нашел ход весьма выигрышный, настоящий «клондайк», позволяющий строить повествование на нескончаемой «побочности» и дать, наконец, своему перу подлинную свободу, одновременно развернув целую панораму жизни нынешнего общества в большом и в малом. Будущий сценарий позволяет «наболтать» такое количество весьма далекого от произведения Кокотова, на какое не всякое самое разговорчивое СМИ способно. Здесь и «сюжет для короткометражки» Жарынина о вражде двух «собачников», покупавших из питомника животных, одно страшнее другого, чтобы насолить друг другу, и про банкира, который сначала «горько оплакивал свою порушенную карьеру» в горькие партии при советской власти, а после 1991-го, сказочно разбогатев, «славил КПСС», и про «три позы Казановы», тайна которых помогла одному комсомольцу счастливо жениться, сначала едва не погубив его за связь с иностранкой...

И без того нарастающий вал этих вставных новелл разной степени сатиричности, казуальности или анекдотичности грозит перерасти в лавину, когда Ю. Поляков поселяет соавторов в «Дом ветеранов культуры» — ДВК «Иппокреново». Там что ни «насельник куш», то одна сплошная история, которую можно рассказать сразу, как биографию «последнего русского крестьянина» Агдамыча, обладателя декоративной усадьбы для натуральных съемок фильмов сельхозной тематики, или по частям, как о Болтянском-«Болте», «любимом фельетонисте Сталина», одна семейная сага которого о своем отце и братьях тянет на отдельную повесть. А еще в этом заповеднике обломков совет-

кой цивилизации живут «казак-дантист», любитель компьютерных игр Владимир Борисович; «самая красивая женщина советского кино» Ласунская; Жуков-Хаит, полувейрей-полурусский, чередующий фазы своей идентичности; Проценко, былой «гений рампы», ныне воруящий продукты из холодильников; «комсомольский старик», поэт Бездынько, которому завидовал Асеев; вдова сына Блока Саблезубова и прочие комические старухи и старики, смеяться над которыми, однако, грешно.

Тут-то и является та самая амбивалентность романа, его контрапункт, при котором сатира и юмор могут обернуться едва ли не соцреализмом. Способствует такому неожиданному превращению центральная в романе история битвы за «Иппокренино», которое вышеперечисленные «насельники куш» ни за что не хотят отдавать в руки акуле бандитского бизнеса Ибрагимбыкову. Угроза потерять свой коллективный рай в чудном уголке природы с целебным источником, вода которого превосходит все нарзаны и боржоми, вполне реальна, ибо акции ДВК, вложенные в мошеннические «мавродики» и «чемодурики» (следует гротескная история спасения Чемодуровым своей финансовой пирамиды путем грандиозной аферы с «оленьими» чудо-грибами, в которую влип директор ДВК Огуревич на горе его обитателям), оказались заложенными под ее же недвижимость.

Неравная битва со всемогущим бандитом, который может подкупить и ТВ, и судьбу, и чиновников из «Федерального управления конституционной стабильностью» («ФУКС»), можно сказать, героизирует «насельников», бесстрашно судящихся с Ибрагимбыковым. Воодушевившись, и сам Ю. Поляков делает рискованный сюжетный ход, вкладывая в руки Жарынина смертоносный кинжал мстителя, и кровь обоих погибших — режиссера и капиталиста — тут отнюдь не кинематографическая. «Набалтывание» «синописов» — вариантов сценария «Гипсового трубача» — вдруг становится сценарием судьбы, литература и кино уступают место реальной жизни. Так что недоуменный читатель спрашивает и себя: верить или не верить, и писателя: шутка это или нет?

Нечто подобное происходит и с Кокотовым, который обнаруживает, что неопасная с виду болячка оказывается симптомом онкологического заболевания. И вновь амбивалентность: героя легко излечивает от недуга инопланетянин, в этом феерическом романе, полном «стругацких» гротесков, впол-

не уместный, не «картонный». Выздоровления, однако, не происходит, и читатель вновь должен настраиваться на серьезный лад. Впрочем, знакомый с «Апофигеем» и «Демгородком», поставившими Ю. Полякова в ряд «патриотов», такими «качелями» от «смеха» к «слезам» не удивится, а только еще раз окинет взглядом это тысячестраничие. И увидит, как много тут антилиберального под маской шуток и эксцентрики, почти ильфпетровских, почти гайдаевских. И совсем не самодуром выглядит «председатель российского фонда Сэроса» Альбатросов, прогнавший «мерзавца» Кокотова с его рукописью якобы антисоветского «Тимура и его команды». Переделка гайдаровского шедевра в угоду «демократам» получилась, наоборот, просоветской, просталинской: чтобы убить тирана, Тимур, сторонник восстановления монархической династии, приказывает своей команде «учиться, учиться и учиться» — только так можно, став знаменитым, попасть на прием к вождю и убить его специальным ударом китайских кунфуистов «поцелуй черного дракона». Учеба продлилась ровно до смерти Сталина, который, оказывается, все знал и сам теперь попросил убить его, чтобы не стать жалким инвалидом. Так что разгневанный «сэросовец» прав, угадав смысл кокотовского произведения: «Ты хочешь сказать, что все хорошее в этой стране — от Сталина?» Кокотов и хотел бы стать «демократом» по всем статьям, да не может, что-то ему мешает — природная честность или наивность, природный реализм или ненависть к рыночному укладу жизни, в том числе в искусстве. Или еще что-то?

В романе много эротики, пожалуй, чрезмерно много, тем более на единицу такого долгоиграющего текста. Точнее, много нагого женского тела — прекрасного и не очень, возделенного до иступления и желаемого вынужденно, что представлено в отношениях Кокотова с Натальей Павловной Обояровой и Ниной Валюшкиной. И если первая, роковая, шикарная, «рублевская», постоянно ускользает, даже в ситуации полной доступности (героя настигает половое бессилие), то вторая доступна и телесно, и душевно, т. к. и нероковая, и нешикарная. Казалось бы, типичный любовный треугольник. Но с подтекстом, отражающим, с одной стороны, большие притязания и возможности героя, его идеализм и прекраснотелесность (не зря фамилия Натальи Павловны «Обоярова», а называет она его своим «рыцарем»), а с другой — его подлинное лицо, реальное состояние тела и души, его зерка-

ло (не зря «Ниненыш» крайне честна, порядочна, преданна и чужда всяким «Рублевым» и однополю любви).

Эта «человеческая» эротика явно противопоставлена «книжной», всем этим «Преданным объятиям», «Полыньям счастья», «Сумеркам экстаза» — всем сочиненным Кокотовым семнадцати романам о чужих страстях и экстазах. И только в «Гипсовом трубаче» он рассказал о любви настоящей, потому что случилась она с ним самим в пионерском лагере, где он был вожатым. А мужчиной стал на свидании со своей будущей женой возле фигуры этого трубача — одной из эмблем советизма и соцреализма. И это вновь дает повод поразмышлять о том, все ли фальшиво, пафосно, мертво было в советской цивилизации, если настоящую любовь герой испытал в той еще жизни, пионерской, «тимуровской», по-настоящему живой. Кстати, Наталья Павловна тоже из той, пионерской эпохи, ибо была подростком в отряде Кокотова, тайно влюбилась в него, и уже в новой эпохе тщетно стремится свои детские «эротические фантазии» воплотить во взрослые отношения, вопреки социально-сословному неравенству обоих.

Но вот многозначительная деталь: на встречи с Кокотовым она неизменно приносит фаянсовую фигурку гипсового трубача, но в знак ли неудовлетворенных фантазий? Скорее, характеризуя своего «рыцаря», обозначая промежуточность героя, который очень хочет, но почему-то не может. И не только потому, что возникают всяческие помехи их близости (то бракоразводные дела с очередным мужем, то внезапная томительная исповедь о всех своих мужьях и «женах», то немощи телесные и душевные Кокотова), а потому что сам Кокотов таков. Он «гипсовый» по своему советскому прошлому, и «трубач» по своей человеческой сути — неугомонный, творческий, «фаллический», живой человек с живыми желаниями. «Гипсовый» тут не значит «закостеневший», «замшелый», «совковый». Наоборот, это своего рода корсет — разумное, сдерживающее начало, генетически заложенное в человеке и писателе до «новорусской» эры.

Так думать позволяет одно из речений, скопом приписываемых героями поэту Сен-Жон Персу: «Искусство — это безумие, запертое в золотую клетку замысла». На самом деле это афоризм не настоящего Сен-Жон Перса (А. Леже), Нобелевского лауреата, жившего в первой половине XX века, а того самого Жарынина, который эту клетку для Кокотова открыл, выпустив «безумие»

их сценарного искусства на волю. Тем самым и определяется роль этого взрывного режиссера-говоруна в романе: провоцировать Кокотова и сам роман на бесконечность переделок, перетрясок, перестановок в сюжете и действующих лицах сценария и всего романа. Не будь этой непрерывной череды историй о Пэт Сэлэндж, покупающей оргазм Мэрилин Монро, о «голой прокурорше» с любовью правоохранительницы к преступнику, о «Скотинской Мадонне», о «старом козаке Розенблюменко» и многих, многих, многих других, не вязались бы соавторы в запутанные дела ДВК и не ждал бы их столь необычный исход.

Сам же роман венчает не столько эпизод с «концом *фильма*» (известный в литературе жанровый оберег писателя от упреков в волонтаризме), сколько послесловие самого Ю. Полякова «Как я ваял “Гипсового трубача”», воспринимаемое как часть романа и его подлинный конец. Хотя искушенному в творчестве писателя не привыкать: «Козленка в молоке» предваряло «Как я варил “Козленка в молоке”», а «Парижскую любовь Кости Гуманкова» — «Как я писал “Парижскую любовь”». Но здесь все-таки случай особый. Оказывается, что роман этот весьма давнего («древнего») происхождения, задуманный еще в середине 70-х из лирики пионерлагерных лет, когда автор был, конечно же, вожатым. Увы, Ю. Полякова, как нарочно, отвлекали всякие другие дела, в том числе пребывание в ДВК (в действительности: «Дом ветеранов кино»), где он познакомился со знаменитым сценаристом Е. Габриловичем на почве написания сценария по своей повести «ЧП районного масштаба».

Прошел будущий автор «Гипсового трубача» и через тернии политических страстей («Надо ли писателю участвовать в политических битвах? Убежден: надо!») и непонятного охлаждения к старинному замыслу, и через иску «Грибного царя», романа на вечную тему успеха ценой нравственного распада. И только спустя тридцать лет «лагерная тема» дождалась своего часа — свидетельство заветности, рыцарской верности ей. Но вот что важно: «Трубач» не состоялся бы без слияния с сюжетом о написании сценария в «Иппокренино», ибо только тогда писатель, условный Кокотов, раскрепостился и снял с себя комплекс «Трубача» лагерного, сделав его всероссийским, трубачем о темах главных, злободневных. Оставалось «насытить текст жизнью», «сделать литературу из жизни», что, добавляет автор, делать гораздо сложнее, чем «литературу из литературы».

Если Ю. Поляков есть и в Кокотове и в Жарынине, то верно и обратное, скажем мы в стиле парадоксов С.-Ж. Перса и оксюморонов «Гипсового трубача». Кокотов сочинял одновременно пошлые «женские романы» и свой реалистический рассказ, вместе с Жарыниным они добивались той меры правды жизни и искусства, которая порождает шедевры. А Ю. Поляков дал волю «разрастаться и ветвиться» вставным историям в своем романе, отдал все на откуп «вольной самореализации текста» и — ценное добавление — «отдался на милость самостоятельного слова». «Забубенный реалист», каким Ю. Поляков себя называет, пожалуй, остерегся бы так говорить, ибо знатоку так легко увидеть здесь след модернистов-футуристов, апологетов «самовитого слова». Да и свой, тогда еще не персовский афоризм из «Козленка в молоке», наверное, подзабыл: «Иногда проще избавиться от избыточного веса, чем от избыточного слова».

Тем не менее, зная об этой опасности сползания в модернизм, и, не дай бог, в постмодернизм, писатель проходит по краю пропасти, оставаясь в рамках стилистики чародейев слова из «южной школы» — Булгакова, Ильфа и Петрова, Бабеля, Олеси (хотя есть уступка и В. Хлебникову, под чьим влиянием автор называет Кокотова «писодеем», Жарынина «игроводом»). Ярче же всего это проявляется в иронической афористике псевдо-Сен-Жон Перса, чем, по его признанию, автор грешил в молодости. Можно, наверное, провести отдельное исследование по этим порой задорным, порой мудрым, порой хулиганским речениям, проследить их историю и роль в становлении языка прозы Ю. Полякова вообще и данного текста в частности, «персизмам», которые можно принять и за квинтэссенцию прозаического мышления писателя, и за эффектные украшения «дискурса» чересчур разговорчивого режиссера.

Однако то, что автор явно пристрастен к этой форме словоговения своего героя, удачно соперничающего с Кокотовым в знании жизни и искусства, очевидно. Слишком уж часто этот Перс мелькает на страницах романа, даже когда всем ясно, что это лишь

ширма для разглагольствований Жарынина: «Судьба подобна вредной соседке по коммуналке, то и дело подсыпавшей в твою кастрюлю dust». То, что это не случайный прием в книге Ю. Полякова, говорят вынесенные прямо на обложку избранные перлы этого якобы французского остроумия. Вблизи скульптуры гипсового трубача это создает впечатление, что он, трубач, трубит эти фразы совсем не пионерской умудренности, вроде: «Деньги — самый лучший заменитель смысла жизни» или «Дурной климат заменяет России конституцию». Такое соизмерение огромного романа с крохотным афоризмом свидетельствует о гибкости этого отнюдь не «гипсового» текста, а едва ли не набоковского, как утверждает М. Задорнов в другом обложечном «афоризме». «Гипсового трубача» Ю. Полякова можно, наверное, и сжать до афоризма, и «разжать» до огромного тома-«кирпича». Можно и заново отредактировать, добавив новые главы в это 2013 года издание, по сравнению с книгами 2009—2012 гг. (они и составили все четыре части новой книги), показывающее, что словесному совершенству данного текста нет предела.

Главное, что Ю. Поляков не боится быть большим, увесистым, реалистичным, позволяя смелое вторжение иных, нереалистических дискурсов. Как это произошло с инопланетянином-целителем. Или в последнем «синопсисе» с уменьшающей таблеткой, отдавая которую, любовник бегаёт по голому телу любимой, как муравей, а она его прячет в спичечную коробку от посторонних глаз. Огромного «Гипсового трубача»-2013 в «коробочку» афоризмов все-таки, пожалуй, трудно спрятать: слишком уж достоверны люди и коллизии, изображенные в нем, слишком уж прозрачны иные прототипы (например, Меделянский, автор детского «змеюрика», растиражированного им до степени коммерческого брэнда и полного умопомрачения). И это пример того, какой неисчерпаемой может быть проза, замешанная на самом «забубенном» реализме. А именно такое, реалистическое впечатление оставляет эта веселая книга с печальным эпилогом.

Владимир ЯРАНЦЕВ

КОРОТКО О КНИГАХ

Топилин В. Таежная кровь. Повесть. — Абакан, 2012.

Можно ли сказать, что писателем автор этой книги, таежный охотник, стал вынужденно, получив травму во время очередного похода в тайгу и вследствие этого оказавшись в инвалидной коляске? Талант В. Топилина в описании неповторимого мира тайги, ее «устройства» с точки зрения охоты на соболя и марала, ее звуков и запахов, — очевиден, заставляя вспомнить Е. Пермитина или С. Сартакова — земляка по Красноярскому краю. Потому и обязан своим творчеством автор прежде всего родному Чибике — таежному поселку на минусинском юге Красноярья вблизи золотых рудников и дикой тайги, «которая начиналась за домашним огородом». С другой стороны, сам писатель осторожно, с подлинно охотничьим чутьем относится к своему неожиданному дару, уже вначале повести оговариваясь: «Это повествование рассчитано на довольно узкий круг читателей (в основном охотников-промысловиков, людей тайги)», хотя и «городскому жителю» читать не возбраняется. Любого читателя взволнует рассказ о четырехдневном бездвижном лежании героя повести в тайге и его поистине маресьевская воля к жизни. Но не каждого — простодушные рассказы цикла «Длинная “лыжня” Чибикека», начинающегося с фляги самогона, жадно поглощаемого бывальыми охотниками. Эту меру очерковости, берущей читателя одной «крутой правдой» часто в ущерб художественности, которой В. Топилину порой недостает, ему, видимо, еще предстоит найти.

Лацис А. Почему плакал Пушкин? — М., Алгоритм, 2013.

Не стоило, наверное, особо выделять эту книгу из ряда других, в стиле «сенсационного литературоведения», на все лады разгадывающего «темные места» и тайны авторства Шекспира, Шолохова или «Слова о полку Игореве», если бы в очередной раз не был задет П. Ершов и его «Конек-горбунок».

Пусть даже это всего лишь перепечатка статьи 1997 г. вождя «неопушкинистов» А. Лациса, но опубликована она в довольно заметной и тиражной серии «Жизнь Пушкина», где изданы книги, например, П. Щеголева или И. Ободовской. Да и в ряду глав книги этого яркого антиершовца о загадках и расшифровках 10-й главы «Онегина», стихотворений «Во глубине сибирских руд...», «Поймали птичку голосисту...» и др. «Верните лошадь!» выглядит словно бы убедительней, бесспорней, с его-то даром журналиста-фельетониста и любовью к автору «Прогулок с Пушкиным» А. Терцу. Но стоит обратиться к работам «несенсационных» литературоведов, например, Т. Савченковой, чтобы аргументы Лациса и Ко насчет заговора Плетнева и Смирдина с «подставным» (вместо Пушкина — Ершов) автором или присутствия «Конька-горбунка» в библиотеке Пушкина на полке сомнительных, «мистифицированных» книг, или поздних изданий сказки с кардинальной («плохой») правкой Ершова, рассыпались в прах. Горше всего оттого, что за всем этим так и сквозит псевдостоличное чванство: сибиряк никогда не может написать ничего гениального, просто потому что он сибиряк.

Коняев Н. И. Бывает! Рассказы и повести. — Тюмень, «Сити-пресс», 2013.

Такой писатель мог появиться только в «лихие» 90-е, когда рушилась не советская власть, а весь уклад жизни, особо болезненно — в деревне. Н. Коняев и делает главными героями своей книги в основном людей деревенских, чтобы на примере их судеб показать всю противоестественность произошедшего. Писателю, однако, нет дела до политики, он не клеймит и не витийствует, а хочет, чтобы мир спасла от окончательной деградации красота человеческой души простых русских людей. Ради этого он готов подчас превысить меру «лирики», доходя до сентиментализма чуть ли не карамзинского, когда изображает мать, продавшую ради адвоката для сидящего в тюрьме сына дом и умираю-

щей с зашитыми в свое бомжеское пальто деньгами, или пожилую Серафиму, жалеющую маргиналов местного околотка, но по ошибке убивающую самого праведного из них. Вера в лучшее в человеке, независимо от политической погоды на дворе, и выливается в такое нерядовое название книги, подразумевающее, что все пройдет, схлынет и эта мутная волна, бывалый лагерник Мишуна станет образцовым семьянином, а прирожденный водитель Степа, случайно ставший страховым инспектором, вернется на свою стезю. Проза Н. Коняева обладает своим неповторимым обаянием, несмотря на «отголоски» (название одного из разделов книги) в ней А. Солженицына с его «не стоит село без праведника», или В. Шукшина с его «чудиками», или даже А. Чехова с его «скупными историями» о казусах человеческих душ и судеб. Не зря в книге столь дружески теплые предисловие (С. Луцкий) и послесловие (М. Рябий), убеждающие, что такой вот неустаревший гуманизм литературе сейчас остро необходим.

Скиф В. П. Молчаливая воля небес. Стихи. — Иркутск, 2012.

Русская поэзия, с ударением на первом слове, часто грешит публицистикой в духе славянофильства, ритуально, автоматически повторяя одни и те же патриотические лозунги и заклинания. У В. Скифа такого автоматизма практически нет, это стихи действительно русские, разве что с «поправкой» на Сибирь. Знатоки творчества поэта из Иркутска, как В. Лютый, автор предисловия к книге, находят в его стихах «парадоксальное соединение» Н. Рубцова и Ю. Кузнецова, лирики мягкой и сильной, хотя очевиднее в нем все-таки сибирское начало, так часто не ведающее меры в проявлениях своего таланта. А точнее — начало «байкальское»: «Несравненный Байкал! Водоносец планеты! / Ты наш истинный брат. Ты — космический ум», — пишет В. Скиф, признавая кровное родство с этим сибирским чудо-озером. Иначе как чудом не назовешь неожиданные в этой чисто русской книге стихи о Ф. Вийоне и Ш. Бодлере, перевод «Ворона» Э. По, зато вполне симптоматично — переложение «Слова о полку Игореве». «Парадоксально» и построение книги, четыре раздела которой занимают «календарные» стихи, с 2008 по

2012, рядом со стихами об иркутских художниках и некалендарными («разных лет»), где, пожалуй, больше замечательных строк, чем в «годовых». А вот в разделе «Письма современникам» можно найти стихотворение о настоящем вдохновителе творчества В. Скифа — В. Распутине, который «продавит... плотину вражеского круга», «излечит» Русь православием и т. д. Впрочем, и сам В. Скиф, этот «боец русского сопротивления» (В. Бондаренко) уже давно в рядах таких авторитетных писателей.

Дьячков А. Государыня рыбка. Стихотворения. — М., Водолей, 2013.

В стихах этой книги с каким-то не очень адекватным названием (ничего пушкински фольклорного, *веселого* в ней нет) ощутимо осеннее настроение, т. е. грусти и поздней просветляющей мудрости. Поэт часто вспоминает детство, мальчики и подростки с их особым миром и мировидением, их бабушки и дедушки, возвращающиеся, свершив свой жизненный круг, в детство — герои чуть ли не каждого стихотворения поэта. Собственно, без них стихи А. Дьячкова непредставимы: сама расстановка в них предметов того или иного пейзажа, интерьера, картины, эпизода, их раскраска, запахи, шорохи — «детские», как вечными детьми остаются поэтические гении, вместе с А. Дьячковым готовые сказать: «Который год мне пятый годик». Один из этих взрослых «детей», значимых для автора книги, — Б. Пастернак, чья поэтика «перемены мест» с главенством метафоры над бытием (Д. Лихачев) легко узнаваема в стихах А. Дьячкова, в его оригинальной образности: «Выходят гуси из воды, / Как из кургана наконечники» или «Где низаны волны на стержень, / Из-за острова сад выплывает на стрежень, / Рассыпается ситца игра». Характерно, что именно в Туле, где живет А. Дьячков, Б. Пастернак написал: «Какое горе родиться поэтом! Какой мучитель воображение!» Эти муки, которых добавляет и некоторое подражание поэзии Р. М. Рильке («несравненного Райнера слог»), автору книги облегчает несомненный реализм — главный «родитель» его стихов: «Если выйти на берег под вечер — / Подобрать пару слов свысока, / Выйдет — с помощью Божьей, конечно, / Как река золотая — строка».

В. Я.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 2013 ГОД

ПРОЗА

- Арутюнова Каринэ.** Дочери Евы. Рассказы. — 2.
Бабушкин Александр. Зачем-то нужен. Рассказы. — 1.
Базанов Владимир. Выдумки. Рассказы. — 6.
Балков Ким. Балалайка. Рассказ. — 3.
Башкуев Геннадий. Маленькая война. Повесть. — 2.
Березовский Николай. Два рассказа. — 4.
Боброва Галина. Пенсия. Рассказ. — 11.
Бобылева Дарья. Множественность миров. Рассказы. — 5.
Бригадир Юрий. Правила волчат. Повесть. — 5.
Ветров Антон. Возвращение домой. Рассказ. — 6.
Вишневский Евгений. Таймырский Робинзон. Главы из повести. — 12.
Волнистая Наталья. О легкости бытия. Рассказы. — 1.
Гаммер Ефим. Или Ада. Главы из романа. — 10.
Дергачева Виктория. Монологи. Рассказы. — 4.
Иванова Валерия. День ангела. Рассказы. — 1.
Карташов Алексей. Остров. Повесть. — 1.
Катуков Сергей. Два рассказа. Рассказы. — 11.
Кирилин Анатолий. Нулевой километр. Маленькая повесть. — 3.
Климычев Борис. Мраморная женщина. Главы из романа. — 8.
Копытов Олег. Долгая дорога. Рассказ. — 7.
Костин Владимир. Стрелец. Повесть. — 11.
Котюсов Александр. Бычье семя. Зоологическая быль. — 11.
Крамер Александр. О скитальцах и странниках. Повесть. — 7.
Красуля Марина. Кугуар. Повесть. — 10.
Кроних Григорий. Дневник Булгарина. Пушкин. Главы из повести. — 11.
Крюкова Елена. Девочка и смерть. Главы из романа. — 7.
Кулаков Сергей. Нить Ариадны. Рассказ. — 6.
Ландбург Михаил. На последнем сеансе. Роман. — 9.
Лебедев Валентин. Странные истории про странных старушек. Миниатюры. — 11.
Максимова Юлия. Или вот еще... Миниатюры. — 10.
Масс Татьяна. Дневник эмигрантки. Главы из повести. — 4.
Медведев Виктор. Шомша — это по-нашему! Репортерские байки. — 12.
Оганджанов Илья. Место силы. Рассказы. — 2.
Пашкевич Алесь. Сим победиши. Роман-парабола — 7, 8.
Петков Валерий. Два рассказа. Рассказы. — 11.
Петров Сергей. Дневник карьериста. Рассказ. — 10.
Плоткин Семен. Боевые записки невоенного человека. Повесть. — 2.
Роньшин Валерий. Аркадий Петрович Чесноков-Богданов. Очерк о жизни и творчестве. — 4.
Русаков Эдуард. Чистая правда. Рассказы. — 2.
Рыбин Александр. Мавзолей. Рассказ. — 1.
Сивков Дмитрий. Два рассказа. Рассказы. — 12.
Синявская Зинаида. Пазлы. Повесть. — 4.
Смирнов Алексей. Хищная оттепель. Повесть. — 9.
Старосельская Сусанна. Счастливый жребий. Почти документальная повесть. — 5.
Стахеев Сергей. Сто десять метров с барьерами. Рассказ. — 1.
Стяжкина Елена. Два рассказа. Рассказы. — 12.

- Тихий Денис.** Умляуты. Рассказы. — 3.
Топорков Валерий. Бабочка над океаном. Повесть. — 9.
Ханзина Валентина. Безобразная. Рассказ. — 11.
Хотиллов Владимир. Царапина. Повесть. — 8.
Цунский Андрей. Горячая вода. Главы из повести. — 3.
Шляпентох Дмитрий. Конец Истории: благословенный Иов. Повесть. — 7, 8.
Шмараков Роман. Чужой сад. Рассказы. — 3.
Шульпяков Глеб. Музей имени Данте. Главы из романа. — 6.
Щигельский Виталий. Бессонница. Рассказы. — 5.

ПОЭЗИЯ

- Ахпашева Наталья.** О вселенских и личных невзгодах. Стихи. — 1.
Берязев Владимир. Пепел над океаном. Стихи. — 12.
Богданова Елена. Несбывшееся землетрясение. Стихи. — 11.
Бруштейн Ян. Севера. Стихи. — 4.
Григоров Амирам. Три огня над водой. Стихи. — 8.
Дугаров Баир. Азийский аллюр. Стихи. — 6.
Зафесов Юрий. «А стрела все летит и летит...». Стихи. — 7.
Зубарева Вера. Лампа и луна. Стихи. — 8.
Измайлова Виктория. Вечные мальчики. Стихи. — 10.
Казарин Юрий. Ледяная простуда. Стихи. — 7.
Кирюшин Виктор. Деревце над обрывом. Стихи. — 8.
Ковалев Василий. Отогретое время. Стихи. — 9.
Комаров Константин. Поэзия — последняя атака. Стихи. — 11.
Костромин Василий. Птичье утро. Стихи. — 12.
Крюков Владимир. От многого света. Стихи. — 5.
Кудимова Марина. Детская травма. Стихи. — 6.
Куралов Иосиф. «Про черный уголь, небо голубое...». Стихи. — 5.
Миллер Лариса. Для божьей маленькой коровки. Стихи. — 1.
Михайлов Станислав. «Он любовался их беспечной жизнью...» Стихи. — 12.
Мутанов Галым. Поминальный обед. Стихи. — 11.
«На цветок медоносный летит пчела...». Ольга Шилова, Ольга Аникина, Мария Дубиковская. Стихи. — 3.
Павловская Анна. Волчья шуба. Стихи. — 6.
Плитченко Александр. Свет бородинский за Уралом. Стихи. — 4.
Расторгуев Андрей. «Белый кит» и другие стихотворения. Стихи. — 9.
Румянцев Дмитрий. «Звездочка» за прилежание. Стихи. — 1.
Скиф Владимир. Палица. Стихи. — 11.
Сурнина Ирина. Златоцвет и Чернобров. Стихи. — 4.
Улзытуев Амарсана. Из цикла «Утро навсегда». Стихи. — 7.
Улыбышева Марина. Из обрезки и жести. Стихи. — 2.
Царев Игорь. Лихоборы. Стихи. — 3.
Чебанок Константин. Понтийские песни. Стихи. — 4.
Чепров Сергей. Золотой завиток. Стихи. — 2.
Чкония Даниил. Из кельнского дневника. Стихи. — 5.
Шемшученко Владимир. На вселенском пути каравана. Стихи. — 3.
Югай Лета. Ходит по небу пастух. Стихи. — 12.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Акимова Марина.** Тимченев в кубе. — 2.
Алейников Владимир. Саю ваю. — 7, 8, 9, 10.
Белковец Лариса, Белковец Сергей. История германского консульства в Новосибирске. — 6, 7, 8.

- Березовский Николай.** В Болгарии русский солдат. — 12.
Зябликов Алексей. Провинциальная столица. — 7.
Игнатова Елена. «Духовка». — 12.
Кисельников Александр. Новейшая история России (1985—2011 гг.): Записки современника. Главы из книги. — 5.
Лейфер Александр. «Грибной суп» и другие новеллы. — 12.
Мельник Александр. Открытие Байкала. — 11.
Минаков Станислав. Наш Языков. — 5.
Подсвиров Иван. Тайна Григория Федосеева и его «Последний костер». — 1, 2.
Поздняков Борис. Гражданская война и чехи в Сибири. — 10.
Шамир Израэль. Повесть о принце Йошицунэ. — 12.
Щукин Михаил. «Белый фартук, белый бант...». Судьба гимназии и гимназисток. — 3, 4.

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Берязев Владимир.** Языки стихающего шторма. — 3.
Бондаренко Владимир. Подробности иного бытия. — 12.
Витовцев Николай. «Пирамида» ведет на Алтай. — 5.
Горшенин Алексей. Поэтическая «прелесть смысла». — 1.
Демидов Олег. Булгаков и имажинисты. — 6.
Киндикова Нина. Проблема периодизации литератур Сибири. — 8.
Куняев Сергей. Николай Клюев. Главы из биографического повествования. — 5, 6.
Кутенков Борис. Безумный утешитель. — 7.
Лейфер Александр. Делай, что должен... — 2.
Марьин Дмитрий. Подводя итоги. — 2. В. М. Шукшин: *anamnesis morbi* в письмах. — 11.
Минаков Станислав. Ярослав Смеляков: «Чугунный голос, нежный голос мой». — 3.

К 70-летию Александра Плитченко. **Горшенин Алексей.** Многостаночник. **Городецкий Евгений.** Дорога к Богу. **Плитченко Егор.** Горный город. **Садыров Анатолий.** Четыре славных Александра. **Овчинников Иван.** Саша. — 4.

- Никифоров Владимир.** К 70-летию Эдуарда Русакова. — 2.
Новикова-Строганова Алла. Вознести сына человеческого: прощальная повесть Н. С. Лескова «Заячий ремиз». — 3.
Проскурина Елена. Автобиографическая одиссея Гайто Газданова. — 11.
Чех Александр. Владимир Высоцкий: грани поэзии, или Ревность муз. — 10.
Якимова Людмила, Деревянко Анатолий. «Велик, скромн, честен и чист, как ребенок». — 9.
Яранцев Владимир. Лабиринты и отражения-5. — 1. Лабиринты и отражения-6. — 6. Эта «маленькая» Кострома. — 7. Разгаданная тайна или «суммированная случайность»? — 9. Памяти Бориса Климычева. — 10. Литература Сибири или сибирская литература? — 11. Всегда на «посту». — 12.

ЛИТЕРАТУРА НОВОСИБИРСКА

- Берсенева Елена.** Коротко ли долго. Стихи. — 9.
Бирюков Дмитрий. Черный квадрат. Главы из повести. — 4.
Кабанов Илья. Дорогие россияне. Миниатюры. — 3.
Козодой Иван. Что нам стоит дом построить. Главы из повести. — 10.
Метельков Антон. «Ночь-лисица съест луну...». Стихи. — 1.
Пивоварова Юлия. От Васи к Наде. Стихи. — 10.
Поздняков Борис. Два рассказа. Рассказы. — 7.
Резанов Владимир. Была деревня Соколовка. — 9.

Северов Дмитрий. Вода не бывает пустой. Стихи. — 5.
Стасевич Виктор. Сахе. Рассказ. — 2.
Титов Владимир. Южные окна. Стихи. — 7.
Фаустов Михаил. Капитанова дочка-2. Повесть. — 6.
Чех Александр. Катунь. Стихи. — 8.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Ачаир Алексей. Борис Савинков. Предисловие Владимира Росова. Поэма. — 10.
Адамович Алесь, Быков Василий. Диалог в письмах. Предисловие Михася Тычины. — 10, 11.
Тимченев Андрей. Птицы. Стихи. — 2.
Чичибабин Борис. «По полю русскому в русское небо...». Стихи. — 2.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Агеева Людмила. Волнует и объемлет. — 3.
Григорьева Ольга. Блок-пост Александра Лейфера. — 3.
Иванова Екатерина. Безумная абстракция. — 9.
Казаркин Александр. Уходящая натура. — 1.
Коровашко Андрей. Оренбургский сюжетный моток. — 11.
Марьин Дмитрий. Три цвета времени Станислава Вторушина. — 5.
Федорчук Екатерина. Оценить «величие замысла». — 4.
Яранцев Владимир. Энциклопедия переходного периода. — 2. Хорошее дополнение. — 3. Свиток мгновений, анафоры магия. — 10. Не бояться быть большим. — 12.

О КНИГАХ — 2, 6.

О ЖУРНАЛАХ — 3, 9.

КОРОТКО О КНИГАХ — 11, 12.

АВТОРЫ НОМЕРА — 1—12.

Содержание журнала за 2013 год — 12.



АВТОРЫ НОМЕРА

Березовский Николай Васильевич родился в 1951 г. на Сахалине. Работал в геологоразведке, на заводе, в газетах. Окончил Литературный институт им. Горького. Публиковался в журналах «Юность», «Октябрь», «Сибирские огни» и др. Автор ряда книг прозы, стихов, публицистики и критики. Лауреат многих литературных конкурсов. Член Союза писателей и Союза журналистов России. Живет в Омске.

Берязев Владимир Алексеевич родился в 1959 году в Кузбассе. Окончил Литературный институт им. Горького. Автор поэтических сборников «Окоем», «Золотой кол», «Могила Великого Скифа», «Посланец», «Тобук», «Кочевник», романа в стихах «Могота» и др. Живет в Новосибирске.

Бондаренко Владимир Григорьевич родился в 1946 году в Петрозаводске. Окончил ленинградский лесотехнический и Литературный институты. Работал завлитом в театрах Москвы, в настоящее время главный редактор газеты «День литературы». Известный критик и литературовед, публицист и общественный деятель, автор многочисленных публикаций в периодике и десятков книг. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Вишневский Евгений Венедиктович родился в 1937 г. в г. Рязани. Математик, специалист в области математического моделирования и компьютерной графики. С 1961 года живёт и работает в Новосибирском Академгородке. Автор двенадцати художественных книг, драматург, теле- и радиожурналист, путешественник.

Игнатова Елена Алексеевна (настоящая фамилия Родионова) родилась в 1947 г. Окончила филологический факультет Ленинградского университета, работала учителем в школе, экскурсоводом в музее Петропавловской крепости, преподавателем русского языка на филологическом факультете ЛГУ, сценаристом на киностудии «Ленфильм». Статьи, стихи и проза печатались в самиздатских журналах «Чась» и «Обводный канал», в самиздатском альманахе «Московское время», в журналах «Континент» и «Грани». В 1989 стала членом СП СССР. Живет в Иерусалиме.

Костромин Василий Юрьевич родился в 1956 году в г. Вихоревка Братского района Иркутской области. Учился на Восточном факультете ДВГУ. Автор сборника стихов «Произносила золото оса» (Иркутск, 2002). Живет в Братске.

Лейфер Александр Эрахмилович родился в 1943 году в Омске. Окончил отделение журналистики Казанского государствен-

ного университета. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Знамя» и др. Автор многих литературоведческих и публицистических книг. Председатель Омского отделения Союза российских писателей. Живет в Омске.

Медведев Виктор Андреевич родился в 1944 г. в Кировской области. Окончил филологический факультет Новокузнецкого пединститута. Работал в газетах, на радио и телевидении. Автор романа «Пласт Безымянный» и нескольких публицистических книг. Член Союза журналистов России. Живет в Новокузнецке.

Михайлов Станислав Геннадьевич родился в 1962 году в г. Полевской Свердловской области. Окончил Алтайский государственный институт культуры. Стихи публиковались в журналах «Сибирские огни», «Крещатик», «Новая Юность», «Интерпоэзия» и др. Автор поэтической книги «Июлия». Живет в Новосибирске.

Сивков Дмитрий Сергеевич родился в 1968 г. в г. Орск, окончил журфак УрГУ. Работает обозревателем газеты «Шалинский вестник» и корреспондентом «Областной газеты». Публиковался в журналах «Журналист», «Библио-поле», «Веси»

Стяжкина Елена Викторовна родилась в 1968 г. в г. Донецке, Украина, училась на историческом факультете Донецкого национального университета. Автор книг прозы: «Великое никогда» (Донецк, 1993), «Кухонный вальс» (Донецк, 2003) и др. Публиковалась в журналах «Знамя», «Радомысл». Живет в поселке Шаля Свердловской области.

Шамир Израэль родился в 1947 г. в Новосибирске. Писатель, переводчик, публицист. В «Сибирских огнях» публикуется впервые. Живет в Израиле.

Югай Елена Фёдоровна (Лета Югай) родилась в 1984 г. в Вологде, окончила филологический факультет Вологодского государственного педагогического университета (2007) и Литературный институт им. М. Горького. Автор трех поэтических сборников: «Паж» (1999), «Сиреневый лес» (2001), «Июнь» (2004). В «Сибирских огнях» публикуется впервые. Живет в Вологде.

Яранцев Владимир Николаевич родился в 1958 году в г. Калинин. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Гуманитарные науки Сибири», «Сибирские огни». Кандидат филологических наук. Живет в Новосибирске.